



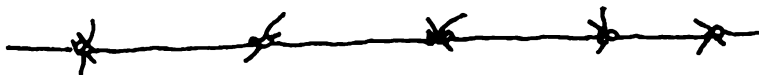
ГОДЫ ТЕРРОРА



ГОДЫ ТЕРРОРА



ГОДЫ ТЕРРОРА

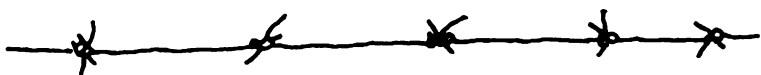


КНИГА ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ



Памятник жертвам политических репрессий в Перми

ГОДЫ ТЕРРОРА



Часть вторая

ВОСПОМИНАНИЯ

ПЕРМЬ
2000

ББК 63.3(2) 615—49

Г 59

Ответственный за выпуск

А. СУСЛОВ,

кандидат исторических наук

Редактор-составитель

Н. ГАШЕВА,

журналист

Корректоры: **И. Тетерина, Л. Рябых.**

Оргкомитет:

ДЕВЯТКИН Н. А. (председатель)

ПОПОВА Е. М. (секретарь)

ГАБДРАХМАНОВ Р. Р.

ЖИДЕЛЕВА А. Я.

ЗЕКЦЕР И. А.

СУСЛОВ А. Б.

ШЕПЕЛЕВ С. А.

ШМЫРОВ В. А.

**КНИГА ПОДГОТОВЛЕНА ПЕРМСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИСТОРИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО, ПРАВООЩИТНОГО
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «МЕМОРИАЛ»**

В книге использованы фотографии из личных архивов авторов

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий. Часть вторая. Воспоминания.— Пермь: ИПК «Звезда», 2000.— 272 с.

ISBN 5-88187-097-2

ЛР № 070868 от 03.03.98 г.

© Пермское областное отделение международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы держите в руках вторую часть Книги памяти жертв политических репрессий. Это — воспоминания. Воспоминания разные. Здесь вы найдете и достаточно подробные мемуары, и коротенькие записки, касающиеся какой-либо страницы жизни автора. Объединяет их главное — все они освещают эпизоды трагической истории нашего края, нашей страны; все авторы, так или иначе, попали под удар чудовищной репрессивной машины. Это касается и тех, кто провел годы в тюрьмах и лагерях, и тех, кому, по мнению сталинистов, было обеспечено «счастливое детство»: пострадали их родители. Тем, кто не жил в те суровые времена, полезно будет пополнить свои представления о советской действительности живыми свидетельствами ушедшей эпохи. Они могут стать откровением для тех, кто до сих пор черпал свои знания только из баек о «радостной атмосфере 30—50-х» да из идеологически выверенных фильмов тех лет.

Вышедшая в 1998 г. первая часть Книги памяти в основном состояла из очерков, вышедших из-под пера ученых-историков и журналистов. Они внимательно изучали историю политических репрессий в Пермской области по документам. Но это, несмотря на научную достоверность, все равно был взгляд со стороны. Во второй части Книги памяти представлены свидетельства «изнутри», очевидцы рассказывают о том, как репрессии коснулись их лично.

Не обо всех авторах мы имеем полные сведения, в примечаниях отражено то, что известно составителям.

Публикуемые воспоминания лучше любых научных изысканий подтверждают, что в огромном большинстве преследовались совершенно невинные люди. Основанием для ареста часто было неосторожное слово, анекдот, конфликт с начальником или соседом по коммунальной квартире. «Неудачная» национальность или «иностранный» фамилия, как правило, становились поводом для обвинения в связях с зарубежными шпионскими организациями. Истребительная машина действовала с безумием и жестокостью маньяка. Но в этом безумии проглядывает трезвый расчет: запугать, сломить малейшую попытку свободомыслия, создать нацию покорных рабов.

Многим авторам нелегко было вспоминать о пережитых страданиях, о годах страха и всеобщей подозрительности, о нищете и полном бесправии. Нередко нам задавали вопрос: «Стоит ли продолжать вспоминать этот кошмар?»

Мы уверены, что стоит. Надо! В этом наш долг, наша дань памяти пострадавшим от государственного произвола. И предупреждение всем живущим сегодня и формирующим так или

иначе завтрашнюю жизнь. Корни многих отступлений от демократических принципов в ходе реформ 90-х годов уходят в наше прошлое. Разве не укорененная издревле рабская психология заставляет нас «проглатывать» все, что готовит нам власть? Разве не привычка перекладывать всю ответственность на вождей обуславливает наше безответственное отношение к государственной политике по принципу: «А что я могу сделать?» Каждый из нас, граждан, в ответе за все, что происходит в нашей стране. Без этого нет и не будет гражданского общества, подлинной демократии. Пока мы не научимся заставлять власть считаться с нами, представлять наши интересы (для этого и выбирали), а не свои собственные, власть может обращаться с нами, как с рабами. И ничто не помешает тогда некоторым сегодняшним властителям построить новое полицейское государство, пусть не коммунистического типа.

За два года, прошедших после публикации первой части Книги памяти, оргкомитет получил многочисленные отклики и предложения о том, чему посвятить очередные тома издания. Выход этого тома — наш отклик на многочисленные просьбы опубликовать воспоминания репрессированных.

Следующий этап — публикация списков погибших и выживших, всех, кто стал невинной жертвой органов ВЧК—ОГПУ—НКВД—МГБ—КГБ или пострадал за инакомыслие. Но здесь надо набраться терпения. Слишком кропотливое и ответственное дело — подготовка сведений о репрессированных по политическим мотивам. Поспешим — получим издание с множеством ошибок и неточностей. Чем меньше их будет, тем лучше исполним мы свой долг. Сотрудники «Мемориала» работают над созданием компьютерной базы в течение трех лет. Уже обработана большая часть архивных материалов. Администрация области поддерживает и финансирует эту работу и намерена довести начатое дело до конца.

А. М. КАЛИХ,
председатель Пермского областного отделения
международного общества «Мемориал»

А. Б. СУСЛОВ,
член правления общества «Мемориал»,
руководитель авторского коллектива

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ

Мы — жертвы репрессий.
Вы, кажется, так
Теперь называете нас.
И, судя по прессе,
Рассеялся мрак
И пробил положенный час.

С пакетов молчанья осыпался клей
И хрустнул на ваших зубах!
Да только не стало,
Не стало светлей
В нечитанных наших гробах.

Когда спозаранку стучали нам в дверь,
Вонзая в рассвет голоса,
Мы вместо прощанья шептали:
— Не верь!—
Целуя родные глаза.

И капли в следы нам вколачивал дождь,
И тлели распятия рам,
И шурился в спины нам
Бдительный вождь
С портретов по красным углам.

Но в лагерных буднях
И в камерной мгле
Мы гнали сомнений мираж,
И верили свято, что нет на земле
Судьи справедливой, чем наш.

Но не докричаться — кричи не кричи,
Не выжить — молчи не молчи!
И, бросив щиты, обнажили мечи
Улыбчивые палачи.

Лучиною тлела надежда в груди,
Но вновь успевала сгореть,
И черной звездой плыла впереди
Свобода
По имени Смерть.

Но были мы вместе с любимой страной,
Как с материком острова.
«Вы жертвою пали в борьбе роковой...» —
Вы помните эти слова?

С пакетов молчанья осыпался клей
И хрустнул на ваших зубах!
Да только не стало,
Не стало светлей
В неслучившихся наших гробах.

Э. Касперович *

На грани жизни и смерти

Жизнь и смерть от века гуляют в обнимку. Прадед мой погиб на войне с турками в Болгарии. Не знаю, в каком он был звании, чем отличился, но прабабке, оставшейся с четырьмя детьми, продали льготно, в рассрочку, землю и пожаловали ее во дворянство. Одна из ее дочерей, Мария Соколовская, моя бабушка, вышла замуж со своим наделом, и это дозволило ей вместе с дедом, Барановским Степаном Михайловичем, до того все еще отработывавшим панщину, явить на свет четверых детей — Ваню, Мишу, Сашу и Аню. Саша — моя будущая мать.

Жили в застенке Корысть Старобинской волости Слуцкого уезда. Дед был трудолюбив до самозабвения. С вечера, чтобы утром не проспать, клал под голову полено, пахоту затевал — прикипал к плугу. Вся его безземельная родословная словно бы стояла за спиной и наблюдала ревниво, завидуя выпавшей удаче — возможности жить и работать по собственному разумению.

Доля крестьянская известна: намолоти хлеба на прокорм, засыпь семена, вывези, если осталось, на рынок да продай, чтобы купить на вырученное какой-нибудь серп с гвоздем для хозяйства или леденцов с бубликами для детишек. Это, так сказать, красная нить, а вдоль нее столько всего, что и не перечислишь: скотина, одежда, строенья. Из кожи лез дед, чтобы быть не хуже других, хоть поначалу и не получалось: ртов много, рабочих рук мало. Нанимать и до революции никого не нанимал, все больше своей двужилвной хребтиной. Почему — не скажу; было у него двадцать десятин с ельниковым покосом и выгоном, вероятно, мог бы, если бы пожелал, но то ли помнилось и удерживало свое стародавнее, то ли выделяться не хотел. Не знаю.

* Эдуард Адамович Касперович (1935—2000) — писатель, журналист.

Зато был у него чудесный сад. Он заложил его сам; сам доставал в округе и прививал черенки и, как видно, многого достиг, потому что позже, уже на Урале, не раз говорил: «Ничога не шкадую (то есть не желаю), аднаго сада... Спалашуць...» Сидел в его сердце этот сад, как сокровенный роман, написанный и изъятый. Когда я побывал на том месте, где теперь усадьба тети Ани, она показала мне лишь одно сохранившееся дерево, усыпанное крупными алыми малиновками. Ни на одном из минских базаров таких ароматных плодов я не встречал. Было что «шкадаваць».

Подходили годы революций. Первая разочаровала пустотой ассигнаций. Собрал однажды в кучу вырученные на ярмарке миллионы зеленых керенок и — в печь. Но разошлась весть о другой, большевистской. Вначале было тихо, а потом началось. Слуцк захватили мятежные части Довбор-Мусницкого. Вслед за ним, легионерами, явились немцы. Затем территория уезда была освобождена Красной Армией. Не прошло, однако, и года, как вновь надвинулись, а потом откатились польские войска.

Как это бывало уже не раз, неприкаянную белорусскую землю безжалостно утюжили с востока на запад, с запада на восток; надо было быть в такой ситуации не просто гибким и расторопным — прямо-таки мужественным, чтобы сохранить детей, тягло и себя. Корысть раз пять переходила из рук в руки. Красноармейцы были голодные и разутые. Соскочит с лошаденки без седла, зайдет в хату — одна нога в лапте, другая в ботинке — и прямо-таки стесняется попросить поесть под прицелом затаенных ребячьих глаз. Потом, преодолев робость, бросается к корыту с вареной для скотины картошкой, набирает ее в подол рубахи и, благодарствуя, убегает делиться добычей с товарищами.

Поляки были иными: обмундированные (не поспешила Антанта), холеные. В подворье вступали степенно, интересуясь, сколько в хозяйстве «крув», то есть коров, или свиней, чтобы обобрать «культурно». Красноармейцы, видел дед, были советливее, их не боялся; эти — с замашками панов и чужаки.

Беспокойная, впроголодь, в режиме проходного двора жизнь даром не прошла: заразилась тифом и скоростижно умерла Мария, оставив на попеченье деда всех четверых. Старшему было четырнадцать, младшей — полтора года. Как говорится, хоть стой, хоть падай, а лямку тяни.

Через год сумел жениться. Родился еще один сын — Коля. При перераспределении земли лишние десятины отрезали — оставили по числу едоков (была еще жива прабабка) — пятнадцать. Устинья, вторая жена, шумела, почему не шестнадцать, но дед успокоил: все правильно, по справедливости. Претензий у него к новой власти не было, помощники подрастали, разо-

ренное хозяйство налаживалось. Старший, Ваня, был охоч до селянской «працы», об ином не мечтал. Михаил рос иным: прочтет отец страницу из Евангелия — он запомнит с первого прочтения и — вопросы, вопросы. Хотел выучить и того и другого, да как? Где средства взять? Но Михаила все-таки отпустил учиться в Слуцкую школу-семилетку.

Шла вторая половина двадцатых. Разворачивалась агитация за то, чтобы быть культурным хозяином. Состоялся первый всебелорусский конкурс на лучшее крестьянское хозяйство. Пять премий по 75—100 рублей были вручены единоличникам. Деду тоже не хотелось плестись позади. В какой-то год за передовой способ ведения хозяйства отметили и его. Витала в воздухе и обсуждалась идея кооперации. Ежели бы облегчить пахоту и молотьбу — почему бы и нет?

Михаил выдержал конкурс в Ленинградское летное училище. В ту пору это было почти то же, как если бы сейчас пройти на космонавта. С деда сняли налоги (была такая льгота для тех, кто вырастил стране красного сокола), привечали в сельсовете. Бывало, загудит над застенком какой-нибудь аэропланишко — бабы крестятся и окликают:

— Стефанка, твой ляциць!

Как было не гордиться ему, вековечному крестьянину, тем более что, приезжая на каникулы в летной форме (сохранилось фото: молодой, бравый, с мотылями защитных очков надо лбом), сын проходил по улице как какой-нибудь, как теперь бы сказали, инопланетянин. С ума сходили свои и окрестные, безоглядно зачарованные невесты, а он и глазом не вел — не помышлял о женитьбе. Зато все, что потом рассказывал за семейным столом, — как оно там, над землей, какими люди кажутся, — в мгновение ока разносилось окрест на сорочьем хвосте новостей.

К той поре Михаил уже был партийным: со знанием дела говорил о возможностях нэпа и освобождении Шанхая, Сакко и Ванцетти, МОПРе и телефоне. Хмельного в рот не брал, мечтал о коммунистическом царстве свободного труда, читал стихи, напевал строевые песни. Вникая в то, как разворачивалась жизнь, дед подписался на заем индустриализации и задумал построить вместо неприглядной своей хибары нормальный дом. Вероятно, это была его роковая ошибка, не надо было «выпендриваться», но такова уж природа человека: не хочется ударить лицом в грязь перед соседями.

Тем временем подули иные ветры: льготы отменили, летом двадцать девятого пошло нарастающее налогообложение. С вечера до зари стучат, стучат отец с сыном цепами, едва на ногах держатся; отвезут утром, рассчитаются, заполучив бумажку, а через пару дней новая писулька: еще давай. Если бы он

был политически более подкован, может быть, и раньше понял, что к чему, но он не видел ни тактики, ни стратегии, просто верил, что советская власть за него: и в обиду не даст, и не обманет.

В конце концов подвели деда к черте: исполнит очередное требование — останется даже без семян. Сел он на присбу, скрестил, чтобы не дрожали, мозолистые руки и задумался. Все, очевидно, делалось не зря, что-то намечалось. Но — что? Ему-то как быть? С голоду подышать? По миру идти? Где было знать, что еще в двадцать восьмом в дальних пермских лесах застолбили для него делянку, что не надо бы уже ему думать ни о посевах, ни о молоденькой белой кобылице, которую растил на смену.

В ту осень затаилась Корысть, как перед нашествием. Раньше, бывало, собиралась молодежь по домам на веселые вечерки. Девчата — с прялками (по две ручайки напрядали за вечер), парни — в заломленных набекрень фуражках с модными высокими тульями. Пели долгие белорусские песни, танцевали польки-краковяки под гармошку со скрипкой, приглядывались друг к дружке, знакомились. Теперь в воздухе витало нечто гнетущее, скрипка в руках местного музыканта Тодора все чаще вводила в минор.

Предчувствия не обманули. После неких неведомых верховных распоряжений началась срочная сортировка селян по категориям: бедняки, середняки, кулаки. Деда отнесли к кулакам. В Ленинграде Михаилу велено было сдать оружие и партбилет. Ему следовало отречься от семьи и отца, порвать с ними связь. Момент нравственного выбора. Долг под диктовку времени или — совесть человеческая. Михаил выбрал второе, но, честно говоря, я не осуждаю тех, кто, попадая в такие капканы, решил иначе: Твардовский, Василевский, Заслонов. Не знаю, может быть, вышел бы впоследствии в какие-нибудь Сигизмунды Леваневские дядя Миша, но мое уважение к нему только выросло оттого, что, отринув все возможные грядущие воинские звания и дальние героические перелеты, воистину наступив на горло собственной песне, он не отказался от родных и остался Человеком.

Изгнанный из училища, Михаил вернулся домой в первых числах марта. Несколько дней спустя со двора увели скот и велели собираться. К вечеру поставили охрану, чтобы никто не убежал. Бежать, собственно, никто и не собирался, хотя могли: польская граница в двух шагах, на заставе пограничником родной брат мачехи. Тем не менее, решили: будь что будет, а — на своей земле. Категоричность эта в моем изложении может показаться сочиненной, но фальши тут ни на грамм. Чем внимательней вглядываюсь я в своих предков, тем больше они нра-

вятся мне нравственной своей высотой. Понимаю: это не только их заслуга, это все — от народа, к какому они принадлежали, это все — его, веками провеянное и утвержденное, и хотя мне, их наследнику, атеисту и грешнику, угрюмо знающему, что впереди не бессмертие души, а небытие, стыдно порой оглядываться на прошлое свое, где так много утеряно всего святого, иногда все-таки хочется, пронзительно хочется припасть к глубинам того колодца, где честь и совесть не замутнены. К деду заявился активист сельсоветчик из Зажевич — парень коренастый, глазастый, рыжеголовый. Сказал так:

— Пра цябе, Сцяпанка, здаецца, бабулька надвае казала: магчыма будзе выкрэсліць са спису. Га? У калгас прыем, за сярэдняга сойдешь! Як ты?

Быць вычеркнутым из списка... Кому из таких, как он, не мечталось тогда о такой привилегии! Миша вернется в свое училище и будет снова летать, Ваню женит, малолеток подымет. Голова закружилась от предложения.

Выдержав паузу, дед спросил:

— Чаго ж ты хочаш?

— Выдай за мяне Сашу.

— Не ведаю,— ответил,— треба яе спытаць.

Пошел к юной своей, красавицей расцветшей дочери, «спытал»:

— Любишь?

— Не, тата,— отвела глаза.

Не стал уговаривать. Вернулся к незадачливому жениху и отрезал:

— Не.

Наутро ругань, слезы, проклятья — картина, которую нетрудно представить. Вещи грузили на телеги. Вереница подвод была на ползастенка. Вдоль перед самой отправкой на необъезженной дедовой кобылице бешено промчался уязвленный рыжеголовый парень. Затем он грубо развернул ее и, поддавая ногами, взметывая и опуская жгучую плетку, погнал назад еще стремительнее. Кобылица не выдержала напряжения и осела белым облаком, повалилась боком на изъезженную дорогу. Соскочив, активист злобно пнул ее в исхлестанный бок и, словно бы даже довольный содеянным, пошел объясняться к кучке стоявшего поодаль вооруженного начальства.

Думаешь иногда: кем они были, те безымянные, до сей поры укрываемые палачи, без суда и следствия бившие из наганов в затылки своих беспомощных жертв, как они дорастали до жизни такой? Да такими вот и были, так и дорастали. Если сон разума рождает чудовищ, то безнаказанность неконтролируемой власти — злобу и жестокость.

В ходе первого подъема из Корысти убрали двух братьев

Корневских, Корбутов, однофамильцев Барановских... Затем дошла очередь и до других, все были чем-то, как-то неуютны, все противились и не становились по-солдатски во фрунт. Забегая вперед, скажу, что из тридцати семи коренных семей застенка в конце концов не осталось ни одной — всех то ли выселили, то ли арестовали, все почти сгинули, не считая некоторых из детей, так или иначе, правдами или неправдами сохранивших связь с родиной предков. Подруга матери, Люба Керножицкая, осколок того административного взрыва, очутилась, например, в Амурской области, там сумела выкарабкаться из леса в контуру, выжила, впоследствии даже стала депутатом Сивакского избирательного округа. Встретились две пожилые женщины — мать моя и она — начали вспоминать... Говорят и плачут. Кого ни назовут — нет, нет, нет.

Некоторое время Любовь Ивановна работала делопроизводителем, к документам относилась с понятной бережливостью. Передо мной одна из тех давних порыжелых бумажек. Датированную августом 1932 года, выдал ее Талданский лесорабочком: «Справка дана спецпереселенке Керножицкой в том, что она в зиму 31/32 года была преподавателем ликбеза, неосвобожденной, к данной работе относилась добросовестно, обучила двадцать человек неграмотных, что и дана настоящая справка». Щадя «грамотность» неведомого мне председателя рабочкома, я расставил за него запятые, исправил некоторые ошибки, но дело не в том. Сказать хочу о другом. Сотни тысяч таких Керножицких несли крупницы своей души и культуры, знания свои, свой язык в медвежьи углы страны: в Нарымский и Северный края, на Дальний Восток, в Казахстан. Просматриваешь сейчас сборники говоров Сибири ли, Приамурья — диву даешься, сколько там белорусизмов. Встречаешь их в словесной ткани и таких, казалось бы, чисто русских писателей, как Залыгин, Распутин. Все это вроде как и приятно, а вместе с тем и горько: не через радость — через боль чаще всего шла такая переплавка языковых стихий.

Но я отвлекся. Что же наш опустыненный застенок? Его заселили ударниками из Гомельской области; колхоз был-таки организован, все в итоге получилось, как намечалось, насилие победило. Нравственные да и экономические потери, они ведь не видны на первых порах, прозрение приходит позже.

Надо сказать, ушлые гомельчане быстро сообразили, что обещанной манны небесной никто им не приготовил, надо работать, причем даже пуще, чем прежде, потому что земли были похуже, чем у них, а налоги, теперь уже общеколхозные, росли. Под разными предлогами вскоре они начали уезжать назад, хозяйство залихорадило. Так и дальше пошло-поехало...

Из Корысти подводы пошли на Слуцк. Сборный пункт был

устроен в бывшем коммерческом училище, где в ту пору размещались школа-семилетка, Дом культуры и комитеты профсоюзов. Людское половодье ждало своей участи. Добавилось войск охраны. На железнодорожном вокзале началась погрузка. Женские вопли; выворачивающий душу плач детей; залихватские, с вызовом, переборы гармоней. Организаторы знали пункты отправления, но молчали. Тайна над бездной отчаянья щекочет властолюбивые души. Впрочем, и в них тоже, в стрелочников, трудно мне бросить камень: делали, что велели, и были искренни. В том и трагедия...

— Загинемо, лю-удцы!

— Антыхрысты, каб вас!

— Была улада (власть) царская, стала пролетарская...

— Дзякуй, партыя, што мы такія вартыя (достойные)!

Иных «острословов» тут же выхватывали из общей массы и уводили отвечать по более крупному счету — за контрреволюционную болтовню (перенос в первую категорию и к стенке), иным доставались всего лишь «пинки» прикладов по хребтине. Но все видели — и вольные, и подконвойные — власть не шутит.

Задраенные снаружи деревянными задвижками и замками, телятники дернулись и покатали на восток. Было как раз Восьмое марта — праздник. В вагонах сумрак и смрад. Оправлялись в признанешанные ведра в углу, вырезали «очки» в «половицах». Не выпускали, вернее, не открывали дверей сутками. На каких-то запасных путях стояли тоже сутками. Иногда конвоиры вызывали двоих и под охраной уводили набрать кипятка. День ото дня становилось холоднее: за Москвой лютовала еще зима. В перестук колес вплетался разрастающийся кашель: казалось, это не состав, а сквозная рана людская.

Не выдерживали напряжения и навечно вытягивались престарелые. В безумии отчаянья исступленные матери бросали в продуховые окна вагонов оголенных мертвых малышей, а в освободившееся тряпье укутывали живых...

Скоро уже не было сил для причитаний, и даже голубоглазый, типа Алеши Карамазова, священник уже не крестился, а, как мне рассказывали, всего лишь повторял безумолчно: «Канчина свету, канчина свету»...

Сейчас это может показаться нагнетанием страстей (как можно!), но я — увы! — пишу не художественное произведение. В школе, в шестом классе, я учился с тихой широкоглазой девочкой — Галей Савич. Потом она работала на одном из минских заводов. Мы встретились. Отец ее, Виктор Ануфриевич, из хутора Залядьё под Игумновым (Черневшем), из семьи, в которой было 17 детей. Женился же он на Анне Филипповне, у нее тоже ни много, ни мало — пятнадцать братьев и сестер. Дума-

ли, и у них самих будет не меньше, растили уже пятерых. Но трое умерли по дороге, в колючем от мороза вагоне, двое — по приезде на место. Галя родилась лет через шесть, перед тем смертоносным тридцать седьмым, когда отца забрали и не вернули... Сама она, призналась мне с грустью, тоже могла бы родить дюжину, а — зачем? У нее один сын.

Семерых детей везли с собой на Урал Колесники. Половину потеряли в пути — погибли от переохлаждения; другие умрут попозже, в тридцать третьем. Выживет из всех один — Василь, работавший впоследствии начальником лесоучастка.

То был неестественный в своем жестокосердии отбор. Куда тебе до него, языческая Спарта! Не с чем мне и сравнить эту безжалостность. Разве только с кровавыми вакханалиями библейских времен — уничтожением непокорных народов...

Тех трагедий, того холода никто не замечал, гибель малышей была как бы узаконена, о ней не писали газеты, не вещали дикторы радио. Мораль человеконенавистничества расплзлась понизу, сама собой...

Тяжел был тот смертный путь. Можно приводить на этот счет много деталей. Как сначала вырезали ножами, а потом затыкали тряпьем бортовые «оконца», как иногда все-таки выдавали на станциях по ведру баланды на вагон, как решались бежать через дыру в полу и не бежали. «Врастать» в социализм нельзя было этим людям; лучшим в их положении было бы полное исчезновение, дабы не мутилась ими, нечистыми, «чистота» задуманного общества.

В одном из вагонов ехал и мой будущий отец, Адам. Был он старшим среди детей первой дедовой жены. Вместе с ним высылали его родного брата, Мечика, и малолетних сестер — Стасю и Ядю. Деда, Виктора Адамовича, продержали в тюрьме, как говорили, за язык. А может, и еще за что, гадать не буду. Впрочем, прегрешенья его, как видно, были не так чтобы и велики, потому что вскоре его воссоединили с семьей.

Генеалогия рода с этой, отцовской, стороны тоже, хочешь не хочешь, повенчана с историей белорусской земли. Предок некогда был образован и ходил во дворянах, но примкнул к повстанцам Кастуся Калиновского. После разгрома движения семью его «опустили» до безземельного крестьянина, а самого собирались судить. Тут, однако, произошло нечто неожиданное: «бунтовщик» то ли скоропостижно скончался, то ли покончил с собой. Скорее всего, второе.

Наследники его, помня, что некогда были «людьми», изо всех сил выкарабкивались из нищеты. Дед долгое время был лесничим, затем начал брать землю в аренду — у помещика Фризендорфа, у некоего Судника, у самого князя Радзивилла. Все хотел подзаработать и купить своей, своей земли.

Этот второй мой дед не был похож на первого совершенно. Тот — труженик до мозга костей, этот — с приглядом: что бы такое проверить, на чем бы таком что-то иметь за счет «оборота» — купли-продажи. Развернуться ему некак было, но знаю: при другой социальной системе он непременно вытолкнул бы сыновей в менеджеры, промышленники, буржуа, потому как любил оглядываться, как там, «у Амерыцы», понимал резон в повышении производительности труда. Мне, помню, очень хотелось уяснить, были ли у деда, и какие, купеческие приемы, я выспрашивал у отца все до мелочей, до подноготной. К сожалению, так ничего и не уяснил. Понял только, что и он был еще на процентов семьдесят, а то и побольше, все тем же тружеником чистой воды. Правда, сыновей и жен, как и прочую родню, не жалел — работали все до упарки. Отец начал пахать, как только научился подымать и опрокидывать на изворотах плуг, брат — то же самое. Правда, один «прием» я все-таки выудил: вырастила дедова семья племенного быка. Бык — на загляденье. К нему водили окрестные хуторяне и крестьяне своих коров и телок, за что хозяин брал деньги.

Он быстро смекнул, что сулит кооперация, обеими руками и горлом был за нее, позже — за колхоз, очевидно, в своем понимании, но ему сказали: извини подвинься, хотя и выбрали сначала в некий руководящий орган. Несмотря на все это, прямо-таки не знаю, причислять ли его к истинным кулакам. Вернее всего, все-таки это был тоже обыкновенный труженик-средняк, не более того. Дети молоко у мачехи подворовывали, яйца тайно в куриных кладках подбирали — какое там богатство! Впрочем, история рассудила по-своему — что ей мое запоздалое мнение! Спасибо хоть по второй категории провели, живыми оставили.

Двадцать дней спустя после отправления, 28 марта 1930 года, железнодорожный состав спецназначения остановился на станции Менделеево (это между Пермью и Вяткой). С грохотом распахнуты двери и — нате вам: белым-белые снега, синим-синяя тайга.

— Вы-ы-гружайсь! — кричала снизу охрана. — Прибыли.

Поодаль ждали подводы — по две семьи на сани. Покойников реквизировали, как мусор. Крик, слезы. Некто из ОГПУ зычно разъяснил: все, кто дотянул досюда, отныне уже не кулаки, а спецпереселенцы; для начала будут выданы сухие пайки; осталось сделать последний рывок — до места назначения.

Как оказалось, лошадей подали мало для такой прорвы народа. Ехали только больные, старики и дети, остальные шли пешком по еще сыпучему снегу. Ревом оглашалась зимняя дорога. И здесь порой дети, то ли мертвые уже, то ли еще живые, падали под копыта и скрипучие полозья. Их никто не подбирал,

возчики орали, погоняя лошадей, конвойные покрикивали. Чувства притупились. Души окаменели. Не до слезинки ребенка, когда такое мероприятие.

Свидетели из других эшелонов рассказывают, правда, по-иному. У них мертвых подбирали. Дневные переходы стоили жизни десяти-пятнадцати детей и стариков. Их отпевали в деревенских часовенках по пути следования. Не успевали и помолиться за упокой, как раздавались зычные команды кончать брехню и идти дальше. Страшным, жутким бывает рядящееся в воинствующий атеизм бессердечье человеческое. Вскоре и остатки безвинных часовенок были начисто стерты с лица земли.

Думаешь иногда: к чему была эта безумная, растлевающая всех и вся жестокость? Нельзя было, к примеру, если уж решили высылать, сделать это хотя бы в апреле? А если как раз и хотелось жертв, то почему бы не подумать о тех, кто волей-неволей впитывал это бездушие — о возчиках, конвоирах, ротозеях-мальчишках вдоль дорог, просто гражданах страны, причастных к демонстративной безжалостности? Семена зла ох живучи. Переливания крови, и того порой бывает мало, чтобы избавиться от них.

XXI век на дворе, а мы и поныне не в силах назвать цифру своих заключенных — стыдно и страшно. Не все, конечно, но многое, очень многое — отсюда, из бездумного жестокосердия тридцатых годов.

В Карагае было объявлено, что лошади устали, поэтому вещи следует оставить, их пришлют по почте. Хитрость это была преднамеренная или коварство? Скорее всего, и то, и другое. Делалось таким образом. Груз, предназначенный в пункт назначения А, отправляли в Б, а тот, который следовало послать в Б, везли в А. Никто из спецпереселенцев чужого не брал, имущество оказывалось как бы бесхозным, и что оставалось хозяевам положения, как не распределять его промеж себя. Позже свои сапоги и поддевки многие узнавали на всяких уполномоченных, а поди докажи! Мне рассказывал один из поселчан, как два года спустя выменивал у командированного из области туза свою шубейку.

Безнравственная операция по изъятию вещей идеологически преследовала, очевидно, несколько целей. Во-первых, окончательно отлучала собственников от их собственности, как бы давая урок пролетарской оголенности, а во-вторых, побуждала сразу же включаться в работу, потому как других средств пропитания не предоставлялось — не выменяешь фаянсовую тарелку на тарелку супа.

Все это можно осознать; оправдать — вряд ли.

Белорусский пейзаж равнинный. Здесь, в глубине России, дорога то уходила вниз, то подымалась на возвышенности, с

которых видны были уходящие к горизонту леса. Это была так называемая парма — покрытая хвойным лесом тайга Среднего Урала, Пермская земля.

Ночевали в попутных деревнях. В приготовленные пустые избы набивались так, что не шелухнуться. Матери моей запомнилось, как один из трех молодых витебчан до полуночи играл что-то страстно на скрипке, так что сердце разрывалось от тоски. Я напел ей мелодию полонеза Огинского. «И правда, — удивилась мать, уходя взглядом в тот студеной вечер, — что-то похуже».

Мучительно было всем, но могли ли они знать, горевые ссылки первого подъема, что о таком отношении к ним будут только мечтать последующие, высылаемые через год-полтора. Тех отправят без ничего, тысячами высадят на голые берега рек, в мошкору и бескормицу. Кампания только разворачивалась, многое в верхах виделось в розовом теоретическом свете. Предстоящие пробуксовки в организации колхозов вызовут раздражение, репрессивный аппарат заработает в полную силу, начнут брать всех сколько-нибудь, в чем-нибудь несогласных, включая не только середняков, но и ниже, всех так называемых подпевал и уклонистов.

Впрочем, и в этот, первый раз не столько зажиточность, сколько бедность бросалась в глаза. «Кулак» Шевчук в сопровождении старухи и сына Федора (понеыне живет в одном из уральских поселков) нес, например, за плечами семь пар белорусских лыковых лаптей. Снашивалась пара — не спешил с ней расставаться, смотрел, нельзя ли починить. Жизнь, правда, вносила коррективы: обнаружилось, что местные, из бересты, лапти более крепкие, теплые и надежные. Заключались первые товарообменные сделки, налаживались контакты.

Очередную списочную проверку и перетасовку семей провели через сотню километров, в Пешнигорте, невеликом селе неподалеку от столицы Коми-Пермяцкого национального округа — Кудымкара. Коренное, идеологически соответственно подготовленное население смотрело на прибывших «кровопийцев», как на диких зверей, иные боялись даже приближаться. Это внедренное пропагандой чувство будет витать в коми-душах еще года полтора, пока и здесь не начнется раскулачивание. Тогда разом все станет на свои места, народ без лишних объяснений поймет, что за людей прислали в их студеной край, и отчуждение исчезнет.

Бесконечная вереница ссыльных прошла еще одну сотню километров и очутилась в Кочевском районе. Прибывший контингент разместили по деревням — в Зельгарте и Пузыме, Марпальнике, Сьюлково, Ягбыше. Много их было, таких деревень, разбросанных среди тайги, и если даже каким семьям не хвати-

ло жилья и они оказывались под открытым небом, под елками, в буданах из коры и хвойного лапника, им все равно было относительно неплохо, потому что вокруг все-таки жили люди, у них можно было что-то попросить, что-то на что-то выменять, то есть, попросту говоря, выжить.

Избы у коми-пермяков высокие и просторные, чистые, в две половины (зимняя и летняя), разделенные сенями. Были еще и с дымоволоками, и курные; социальное расслоение и здесь было как на ладони, но от голода никто не умирал, все жили в меру сил и с достоинством.

Спецпереселенцам выделили зимние половины. Лицом к лицу сошлись две культуры, два уклада, два народа, до того и не подозревавшие о существовании друг друга. Много было поначалу несуразностей — и бытовых, и языковых, но постепенно углы пригладились, любопытство уважилось. Жизнь, она ведь, по сути, едина: жилье, пища, одежда, любовь...

Прошла очередная перепись оставшегося в живых наличного состава. Нетрудоспособным и детям стали выделять на месяц сухие пайки. Определился комендант, выдававший пропуска. За продуктами ходить надо было за десяток и больше километров, в старинное село Большая Коча, знаменитое тем, что здесь, несмотря на резную деревянную статую Христа в часовне и женский монастырь, буквально до конца 20-х годов ежегодно в честь Фрола и Лавра на берегу Онолвы закалывали до восьмидесяти голов скота. Мясо затем варили, православные священники освящали его, и при огромном стечении народа начиналась трапеза. Таким образом, язычество держалось крепко.

Под расписку трудоспособным выдали топоры и пилы, под аванс — лапти и оборы. Всех трудоспособных погнали на работу. «Кто не работает — тот не ест, чего же ты хочешь!» — можно попрекнуть меня за это «погнали». Все верно, не возражаю. Я всего лишь хочу сказать, до чего не просто было человеку от плуга и земли, не бездельнику, разом, по приказу, идти и заниматься незнакомым, нелюбимым, казавшимся бессмысленным делом. Но, как бессмертно заметил Некрасов, «в мире есть царь, этот царь беспощаден, голод названье ему».

Врала, как оказалось, пословица, что с одного дуба не дерут два луба. Драли, и еще как! Учились подрубать, валить и раскряжевывать вековые сосны, жечь из сучьев костры, обманывать десятников. Ваня, старший мой дядька, смирился первым: «Ничога, не пропадем!». Младшие не соглашались, маравали по-своему. Михаил думал, как выручить семью, Саша мечтала об оставшемся на родине женихе — Адаме Чернушевиче.

Разумеется, спецпереселенцам было разъяснено, что в воп-

росах оплаты труда они приравниваются к вольнонаемным рабочим, будут соответственно снабжаться продовольствием и промтоварами, что они, как и все другие труженики, имеют право на социальные льготы и медицинское обслуживание, переписку; дети их — на образование наравне с детьми остальных граждан и т. д. Всему этому хотелось наново верить, конкретные шаги начальства подтверждали сказанное, и основную массу такие речи успокоили.

Весной были указаны места поселений. Их было восемь в районе: Янчер, Станамус, Сюлайка, Буждым, Сергеевский, Мараты, Коврижка, Усть-Онолва. Следовало буквально в одно-два лета в назначенных местах выстроить рабочие поселки, каждый на 200—300—500 семей. Спецпереселенцы в основном были белорусы, русские, украинцы, донские казаки — всего около 16 тысяч человек. Таким образом, население района, насчитывавшее, согласно переписи 1926 года, 19,3 тысячи человек, достигло, как минимум, 32 — 35 тысяч. То есть фактически удвоилось.

Расселяли мигрантов и в других районах. В самом северном, Гайнском, где условия были очень трудные, возникли белорусские поселки Пугвин Мыс, Чуртан, Дозовка. В Дозовку, правда, рассказывают свидетели, больше всего было доставлено на баржах украинцев — около 10 тысяч человек. Это уже был июнь 1931 года. Люди оказались на голых берегах Весляны, без ничего, и хотя и строились, и бились за жизнь, за два-три последующих года осталось там в живых всего ничего — около 50 семей. Их перевезли в Шордын.

Забегая вперед, скажу заодно, что пустые дома поселка вместе с кладбищем гектара в два простояли нетронутыми до 1948 года. Все это, в общем, никого особо не беспокоило, но переставали спелые леса, и в 1948-м на то место привезли пароход вербованных. Вылезли костромичи да ярославцы, приехавшие подзаработать, прошлись чуток в глубину от пристани, да все и увидели: пустые глазницы домов, море крестов. И — деру на пароход: «На погибель нас привезли!» Это было воспринято как забастовка, происшествием занимались работники райкома и другое, потайное, начальство. В конце концов решено было эпизод не раздувать. Пароход отправили вверх по Весляне, в Усть-Черную, через некоторое время вытребовали из округа 100-сильный ЧТЗ, за ночь бульдозер сравнял могилы, собранные в кучу кресты сожгли и — ажур — черной памяти как не бывало, можно начинать заново. Подошел через некоторое время пароход, рабочие спокойно выгрузились, ничего страшного в этот раз не увидели, расселились по домам, и начались ударные лесоразработки. Леса у нас поныне трещат под игом топора, как некогда трещали люди.

Надо сказать, что в первые годы высылки работа организовывалась более или менее разумно. До 1932 года на заработанный рубль давали по 540 граммов муки, норма выработки составляла 1,9 кубометра леса на человека. При среднем прожиточном уровне 20—22 рубля зарабатывали в полтора раза больше, жить можно было. Тут еще выросли, как грибы, поселки с банями, больницами, клубами, детсадами, магазинами. Возводили их полные световые дни — спешили укрыться в домах от предстоящих лютых холодов. На Урале морозы не в пример белорусским. На что в юности крепкий сон, и то, помню, просыпался ночью от треска бревенчатых срубов.

Впрочем, говоря о заработках, не мешает сделать небольшую оговорку. В бухгалтериях велись так называемые лицевые счета. Заработать можно было неплохо, получить — увы! Как обычно, часть заработка срезал подоходный налог, кроме него шел шестипроцентный культсбор, делались отчисления на детсады, на займы индустриализации. Четверть суммы (позже процент понизили до татаро-монгольской «десятины») отнимало содержание комендатуры. Было с чего впоследствии вчетверо повышать оклады работникам НКВД...

В первую же весну Михаил надумал бежать в Минск. «Проще всего, — говорил, — быть флюгером. Вопрос в том, чтобы — пропеллером». Дороги были перекрыты сторожевыми постами, но он сумел одолеть 200 километров проселочных дорог и сесть на поезд.

Не знаю, как это у него получилось, но он добился приема у Червякова и стал доказывать ему, что отец — середняк: ни мельницы у него, ни молотарни, ни... Червяков слушал и молчал («Он все понимал», — рассказывал мне позже дядя Миша). Потом сказал так:

— Михаил Степанович! Я допускаю, что вы правы. Я верю: вы правы! Но кто мне поверит, если я поверю вам на слово? Где доказательства, что вы говорите правду? Сядьте на мое место. Вы бы поверили?

— Не знаю, — ответил Михаил. — Только разве бы я добивался этой встречи, если бы не был уверен в себе?

— Вот и я — не знаю. Что я могу? Впрочем, вот что: езжайте в свой сельсовет и возьмите честную справку об имуществе отца, его наделе. Я вас приму без очереди.

Разумеется, я далек от сентиментальности, потому как не могу судить, был ли это отработанный прием (связаться с сельсоветом можно было в два счета) или искренняя, без задних мыслей беседа. Не знаю также, на каком языке говорили они — русском ли, белорусском, но смысл диалога передаю так, как рассказывал мне дядя Миша. Лукавить ему передо мной было ни к чему. Окрыленный, прощелкал он своими хромовыми са-

погами по лестничному маршу правительственного здания и помчался на Слуцкое шоссе ловить попутную подводку.

Трудно сказать, как он вел себя в сельсовете. Зная его гордый и прямой характер, думаю, не попросил, а потребовал: «Дайте мне справку! Меня Червяков послал!». В общем, канителился с ним не стали: вызвали милиционера, арестовали и дали два года лагерей. Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить — так это было на земле.

Много было в ту пору таких отчаянных ходатаев. Один из поселчан рассказал о своем деду с Витебщины — Василии Ивановиче Кацере. При царе Василий Иванович слыл (и был) большим каретным мастером. Заработав денюжат, купил семь десятин земли, держал двух лошадей и четыре коровы (семья большая, иначе не прокормишь). До сих пор удивляются родичи, почему выслали,— никого не нанимали, не эксплуатировали. Вероятно, считают, из зависти: мастер на все руки, дед напридумывал себе много разной вспомогательной «техники», облегчавшей крестьянский труд. Почему было и не завладеть ею?..

Ветеран русско-японской, Василий Иванович на берегу Камы, в деревне Пятигоры, куда его в конце концов доставили, стукнул лбами милиционеров сопровождения, отключив их на время, сел в лодку, помахал рукой семье и уплыл. Через год сообщил письмом, что устроился работать в колхозе кузнецом. Вызволить из ссылки никого не сумел. Старшего сына, Сидора, с орденом Боевого Красного Знамени, отправлял, дескать, даже в Москву. Сидор попал на прием к Калинин. Говорил, видать, тоже что-то вроде того, что и Михаил, но Всероссийский староста разъяснил, что спецпереселенцам на Урале живется уже неплохо, что со временем они будут жить даже лучше, чем жили, и это звучало так искренне и убедительно, что Сидору оставалось только пожалеть, что он в колхозе, а не в ссылке.

Между тем, моя будущая мать получила письмо от жениха. Удержать ее было невозможно. Как мотылек на пламя, взметнулась и полетела навстречу: за плату местный возчик взял ее на телегу как дочку и довез до станции. А там затерялась, чтобы встретиться с любимым, как и сговаривались, в Москве. На Курском вокзале договорились: он едет за своим дядькой Корбутом на Урал (соответствующие сельсоветские документы были у него на руках), забирает там двух ее малолеток, сестренку Аню и брата Колю, и возвращается, а она ждет его в Замошье, у двоюродного брата Никифора. Надо сказать, к тому времени уже разрешалось возвращать детей кому-либо из родичей. Кто-то в верхних эшелонах власти то ли устыдился, то ли смилостивился. Бывает и такое. Сохранять малышей в необжитой глухомани по-прежнему было не просто, многие продолжали умирать от недоедания.

Жених забрал детей, вернулся с мечтой о свадьбе, но к той поре его Саши уже не было на воле. Задержанная в Старых Дорогах, была она сначала препровождена в Бобруйскую тюрьму, оттуда — в Минскую. Здесь жених ее и нашел. Вольный, просил отпустить; писал и говорил, что они хотят пожениться. Не трудно себе представить чувства молодых, полных любви и жизни, но... тяжелы тюремные засовы. Сейчас, глядя как бы со стороны на этот «грешный» с точки зрения морали той поры узелок, не могу понять, почему бы правоохранительным органам и не пойти навстречу молодым? Мало им было горя и слез? Да пусть бы жили и радовались! Нет! Сашу отправили в Москву, в Бутырку; затем перебросили в Усть-Пожву, на пароходе повезли вниз по Каме и вверх по Чусовой до Свердловска, где она потом работала в типографии сначала переплетчицей, затем печатницей. Дело ее рассматривалось в рабочем порядке; как несовершеннолетнюю решено было то ли оставить на производстве, то ли отправить по месту прежнего жительства, к семье. Она выбрала второе, мучительно добиралась до знакомой своей станции Менделеево, 200 километров шла пешком, побираясь по дороге, как нищенка, чтобы прокормиться. И дошла. Одиннадцатимесячная ее одиссея окончилась.

О, сколько их было в ту пору, таких беглянок! Их вылавливали по стране, как рыбешек, выскальзывающих из сетей. С нашего поселка убегала Люба Шуневич. Попалась и вернулась. Убегала Лида Вечер — тот же результат. А вот, например, Лина Клепицкая оказалась более удачливой — вышла замуж, осталась в родимой своей Белоруссии, родила сына и дочь...

Тем временем там, где бронзовел стволами могучий сосновый бор, а Онолва впадала в реку Косу, на ее левобережье подымался рабочий поселок. Четыре улицы, восемь рядов домов. Дом делили на две половины, селили по две семьи, нарезали по четырнадцать соток огородов, разрешили держать по корове на три двора, по плугу на десять хозяйств...

Впрочем, приведу лучше текст документа: «Нормы снабжения кулацких семей хозяйственным и производственным инвентарем (на одну семью): лошади — 0,5; коровы — 0,4; сбриуи, сани — 0,5 комплекта; плуги — 0,25; бороны — 0,1; косы — 2; серпы — 2; мотыги — 2; заступы — 1; топоры — 2; пилы поперечные — 1; продольные — 0,1» и т. д.

Вскоре, однако, семьям позволено было держать лошадь, корову, овец, свиней, коз, птицу. Было также разъяснено, что хозяйства на местах поселений на два года освобождаются от налогов, сборов и заготовок сельхозпродуктов.

Все это, понятно, вызывало доверие, люди работали от души. Сужу об этом хотя бы по тому, как и какие были воздвигнуты в те годы строения. Один из зерновых складов, мимо которого я

бегал еще в детстве, в середине 80-х прямо-таки восхитил высотой, стройностью, какой-то даже элегантностью. Один из старожилов, Антон Лонгинович Татур, говорил: «В прошлое лето из области некая этнографичная экспедиция приезжала, узбирались, обвязывались веревками и ремонтировали крышу. Говорили, вроде как памятник матерьяльной культуры».

В людях трудно убить возвышенное, тягу к красоте. Собиралась бригада и начинала творить. Так когда-то и Кижы рубили — без проекта, без госконтроля, а вышло чудо на века. Татур называл мне тех, кто строил, — не записал. Жалею теперь. Как моя мама говорит, «кабы той розум, што застаюся ззаду»... А теперь вот уже и Антона Лонгиновича нет. Безмясистой осталась красота белорусская на коми-пермяцкой земле, в России.

Удивительными, по-моему, получились в поселке пожарная пятиярусная наблюдательная тригонометрическая вышка. Просторен был (на двадцать пять пар танцующих) клуб; в немецкий угол срубили комендатуру; возвели столовую и больницу, где еще предстояло мне родиться, школу, промтоварный магазин. По такому же типовому проекту возводили и другие поселки, например, Янчер с его Подлесной, Центральной, Донской и Витебской улицами, скотным двором, молотильным током...

3 июля 1931 года вышло Постановление Президиума ЦИК СССР. Лишенные избирательных прав кулаки и члены их семей могли быть восстановлены в гражданских правах по истечении пяти лет с момента выселения при условии, если они проявят себя честными и добросовестными тружениками и на деле докажут, что прекратили борьбу против колхозного движения, против мероприятий советской власти.

С этим постановлением жители поселков были широко ознакомлены; вроде как все складывалось неплохо. Были даже организованы так называемые неуставные сельхозартели во главе с уполномоченными, назначенными из числа самих спецпереселенцев; работали кружки ликбеза и красные уголки; дети пошли в школы...

Почвы в поселке бедные, подзолистые. Мало того, огороды надо было сначала прокорчевать, каждый квадратный метр земли полить собственным потом, ибо это адский труд. У елей, правда, корни расплываются поверху, как щупальца спрута, а сосна уходит в глубину. На нашем песчаном суходоле больше было кондовой сосны. Пни подкапывали, подваживали со всех сторон, призывали на помощь соседей, сбивались в «талаку». Много отняло это и времени, и сил, но дело было сделано: «воля и труд человека дивные дива творят». Да и «галава не тольки для таго, каб на ей шапку насыць»...

По Онолве, с ее верховий, в большую воду сплавляли плоты. Один плот — что-то рублей десять. Так было на протяжении

многих лет. Но вот взялись за дело мой отец с братом. Они соорудили плавучий поезд в пять плотов и успешно прогнали его вниз по реке. Полагалось платить в пять раз больше. Низовое начальство раскричалось: «Обворовываешь государство! Кулацкие замашки!». Крутили-вертели, половину суммы все-таки выплатили, но расценки с ходу были неимоверно подняты. Так сказать, знай сверчок свой шесток!

Плотов отец больше не гонял. Да и другие тоже.

«Не высовывайся», «не выделяйся», «не шебурши», «не забегай вперед, не отставай — толкись посерединке», «будь как все», «тебе чего, больше всех надо?»... Все это — следствие, а завязка была там, в тех 20—30-х. Стаханов впоследствии гремел на всю страну, а те, что его попрекали, были порой молчаливо авторитетнее среди рядовых рабочих, и не случайно он впоследствии запил, этот славный наш шахтер. В мириадах вариаций аналогичная ситуация повторялась, торможение шло невидимо, под звон литавр, но — неуклонно.

Получив щелчок по носу, отец, тем не менее, не утратил жизненного любия. Приехали из области представители химлесосплава, стали опрашивать, кто бы мог построить дегтекурку. Выполнить этот заказ, думаю, могли бы многие, но, очевидно, не решались: в оплате — обманут, в случае неудачи — репрессируют. Само начальство тоже не торопилось брать на себя ответственность, вероятно, по той же причине. Деготь необходим был для сапог и телег, для всех, и вот отец вызвался смонтировать эту самую дегтекурку, перечислив, что ему для этого нужно: кирпич, железо, жечь...

Заказ был в итоге выполнен и оплачен, поступок не только замечен, но и оценен, так сказать, с идеологической стороны. Отец стал как бы потенциальным кандидатом на выдвижение, что впоследствии и произошло. Вскоре ему доверили склад промтоваров, одновременно назначили продавцом.

События, между тем, разворачивались трагические. Издавна округ нуждался в хлебе. В 1925 году в эти студеные края было, например, завезено его 50 тысяч центнеров. Но наступил 1932 год, и все переигралось. Раньше, по заведенному издревле правилу, местные жители поступали так: с осени складывали рожь в скирды, с обмолотом не спешили, а когда выпадал снег и устанавливались морозы, расчищали возле скирд площадки, заливали их водой и молотили цепами по льду. Старомодно, зато без хлеба не жили, от голода не умирали.

8 июля в центральных газетах было опубликовано постановление «Об уборочной кампании 1932 года». В целях борьбы с потерями зерна, с затяжкой уборки, плохой организацией труда было указано «применять так называемый конвейерный метод уборки и отказываться от скирдования всего скошенного хле-

ба». Постановление как постановление, с благими, казалось бы, намерениями, однако...

Гремел клич: хлеб — государству! Во имя этой первой заповеди молотьбу в округе наладили, как велено было, осенью, красные обозы один за другим пошли в райцентры и дальше, в столицу, в Кудымкар. Забирали все, почти подчистую, вирус рапортомании уже разгорался. Из округа были вывезены 247 631 центнер зерна, 35 500 центнеров картофеля, 13 000 центнеров овощей. Это при том, что население многих районов удвоилось.

Я просматривал местные газеты того черного года. Терминология жесткая: «саботажник», «призвать к порядку», «обуздать кулацкие настроения!», «привлечь головотяпов», «кулака глядят по шерстке, окрсуд, загляни!», «корпосты и селькоры — на посту не спать!», «классовый враг не дремлет» и т. д. Это уже не касалось непосредственно спецпереселенцев, но как было устоять колхозникам перед такой обработкой! Сотни уполномоченных, активистов, работников райаппарата в ходе непосредственных встреч с людьми были еще суровее, иногда размахивали и оружием, и, оглядываясь сейчас на ту взвинченную обстановку, никак не можешь понять: ну для чего это делалось? Видно было невооруженным глазом, что округ остается без хлеба, что чем-то, как-то надо будет кормить рабочих, чтобы они давали продукцию, да и местное население тоже.

Давление шло сверху. Административная система сдавала экзамен. Трудно сказать, о чем думали руководители государства. Что надо накормить города и стройки — это понятно. Что собрать хлеба следовало не меньше, а, может, и больше того, чем собирали до образования колхозов, — тоже очевидно. Но, думается мне, не созрела ли уже тогда, в 1932-м (наряду с миллионами пудов экспорта), мысль о том, чтобы перейти на свободную продажу хлеба (до нее — два года). Шут с ними, с миллионами умерших от голода, главное — подтвердить правильность взятой линии, выбить козырь у противников, парализовать мир. Иначе к чему бы такое безмозглое попрание элементарного житейского опыта, такой безжалостный вывоз хлеба перед голодной зимой?

Своеобразный «шмон» наводился и в поселках лишенцев. По стародавней крестьянской привычке многие семьи, экономя, выкраивали часть получаемых (согласно заработкам) круп и муки и оставляли их на зиму, на холода — естественное человеческое желание подстраховаться. Белка — зверек, и то сушит на зиму грибы, прячет орехи. Но что дозволено зверю, не разрешалось человеку. В Чуртане прошло второе раскулачивание. В ходе пристрастных обысков весь честно заработанный хлеб был изъят и заперт в складе. Там его съели мыши, но люди не получили ни зернинки. Люди умирали.

Одновременно, как раз перед голодным годом, норму выработки на человека подняли более чем вдвое — до пяти кубометров. Для обессиленного человека была она на грани возможного.

Своеобразный удар по кулацкой психологии был нанесен и в моем родном поселке Усть-Онолве. Некоторые неугомонные лишенцы находили где-нибудь в лесу полянку, взбороновывали ее, сжигали поверху кучи хвороста для золы и засевали, чтобы под осень сжать и обмолотить. Понятно, как эти поползновения квалифицировались. Вдвойне понятно, что кем-то куда-то об этой преступной самодеятельности сообщалось. Были организованы спецотряды из комсомолии и ответственного руководящего состава; они обшаривали окрестные таежные пространства и, находя недозволенные куртинки пшеницы или ржи, вытапывали их, как посевы дурманного мака. Дубик, старик, отец троих подрастающих сыновей, со слезами на глазах на колени падал перед молодостью: «Гэта ж збажына! Не трэба! Лепш сабе забярыце!».

Куда! Все были страх какие политически подкованные. Дубик бил лбом о землю, а незаконную его «нивку» вымолачивали кто лаптями, а кто сапогами. Знать бы им, молодым, что, нравучая таким макарком или даже, как им казалось, воспитывая закоренелого собственника, в себе они вытапывали нечто не менее дорогое — святую любовь к земле и ее дарам, уважение к чужому, пусть и бесправому, труду...

Между тем, с Украины и Белоруссии, из нечерноземных областей в округ засылались все новые партии лишенцев, не столько уже кулаков, сколько «сопротивленцев», не желавших вступать в колхозы. Обходились с ними жестоко. На диких берегах рек обессиленные дорогой массы людей ссаживались на верную гибель. Дизентерия, желтуха, малярия («трасянка»), цинга косили прибывших без разбору.

Ни в одном открытом печатном органе тех лет обо всем этом ни намека. Вероятно, что-то осталось в спецархивах ОГПУ. По соответствующему письменному ходатайству и знакомству в 1984 году мне удалось посидеть несколько дней в окружном гражданском архиве. Там тоже в основном все глухо. Один за другим просматриваешь, скажем, протоколы окружкома — ни звука о том, что происходит, что гибнут люди. Наконец коротенький документ:

«Протокол № 11 заседания закрытого Президиума Коми-Пермяцкого ОКРИКа от 11 июня 32 года (секретно).

Слушали: 1. О массовом заболевании цингой в спецпоселках Гайнского района. Докладчик окрздрав Черняк.

Постановили: 1. Поручить т. Иванову в течение 24 часов выяснить

имеющиеся запасы противочинготных продуктов (картофель, лук, грибы, консервы) и дать райисполкомам указание о переброске этих продуктов в Гайны. Дать телеграфные указания северным районам о немедленной заброске продуктов в спецпоселки.

Председатель Буркин.
Секретарь Алексеев».

Приятно рассекретить такой документ: он один, можно сказать, реабилитирует руководство тамошнего окрисполкома. Значит, все-таки были в нем люди, в ком еще теплились человеколюбие и совесть! Цинга посреди лета и хвойных лесов... Представить такое страшно. Но впереди был 1933-й, он пострашней.

Дошли до меня и другие, подтверждающие сказанное, данные. Оказывается, еще в 1929 году, когда в округ прибыло всего 700 адмссельских (терминология тех лет), заместитель начальника окрадмтдела Соколов писал в облисполком: «Положение ужасное, почти все из них абсолютно ничего не имеют, ни средств, ни одежды, есть совершенно голые. Есть случаи побегов, некоторые идут на преступления, чтобы попасть в тюрьму».

К 5 мая в округ, тем не менее, прибыло 1900 семей из Белоруссии и с Дона. Окружной комитет ОГПУ сообщал: «Своих запасов продовольствия ссылка не имеет. Если не снять с продовольствия, то десять тысяч человек уничтожат все местные ресурсы». Все понималось, все осознавалось. Тем не менее 12 мая 1931 года было «дано согласие» на получение еще 2100 хозяйств. Чекисты тут, собственно, были ни при чем. Административный пресс и их поджимал сверху все суровой и жестче. Рассуждать, сочувствовать не полагалось. Требовалось слепо выполнять команды, не более того. Тех, кто смел заглядывать вперед, убирали с постов. Шла очередная репетиция репрессивного аппарата, уяснение того, кто есть кто, подбор самых верных, самых исполнительных.

В моем рабочем поселке повальных людских отсеков не было. Тонули на сплаву (Сулим), гибли на лесоповале, сходили с ума от горя (мать Калевича), но это уже были большей частью несчастные случаи, они повсюду сопутствуют жизни и производству. Но были в поселке и специфические смерти. Трудоспособная Сокольчиха, мать нескольких детей, не вышла, например, на работу, спасая метавшегося в горячке мальчишку-сына. За это ее посадили в студеной карцер, и вскоре она умерла от скоротечного воспаления легких.

Должен сказать, белорусов спасали трудолюбие и нечеловеческая выживаемость в самых что ни на есть экстремальных условиях. Недавно заезжал ко мне земляк-однопосельчанин Алесич.

«Как,— спрашиваю,— выжили, Василий Маркович, в том тридцать третьем?»— «Случайно,— ответил, озорно улыбаясь.— Сообразилка помогла, а не то бы... Под весну люди мерли как мухи. До делянки под Пуртымом семь километров. Вот уже солнышко, ручей заговорил. Сядет кто после дороги, напьется, да уж и не подымется. Телегами потом разъезжали и собирали трупы»...— «Но вы-то — вот он!» — «О, это дело хитрое,— ответил.— Хи-итрое...»

В бригаде Алесича было пять человек. Нормы уже не в силах были выполнять, кормежка — соответствующая. Единственное, что оставалось,— воровали у лошадей. Лошади ценились больше людей, им выделяли по пять килограммов овса. Но тут вышла закавыка. Хорош овес для здорового организма, а обессиленному намертво запирает задний проход. Первым умер донской казак Захарчик, вторым отошел тоже донской казак, Харченко. Смерть подступила к Алесичу. И тут он придумал: выстругал из березовой ветки прутик с крючком, снял штаны, встал раком и попросил двоих оставшихся выковырять из его заднего прохода ссохшееся содержимое. Эту же операцию проделали затем и двум другим парням, и все трое в итоге остались живы.

Трудно и больно обо всем этом писать, но — надо. Надо для того, чтобы знать, где и что мы растеряли, как жили и выжили. Утаивание не прибавляет оптимизма. Не дай нам Бог, как говорится, еще когда-нибудь докатиться до того, чтобы у современника или потомка возможностей выжить было меньше, чем у первобытного, в звериной шкуре, человека. Тот хотя бы мог менять свое местоположение, не был привинчен к резервации, мог охотиться...

Впрочем, на осваиваемых колымских приисках, в Котласе и Соловках, в растущих, как грибы, лагерях грядущего архипелага ГУЛАГ было куда тяжелей. Сознание прямо-таки отказывается все это постигать...

Как реагировало местное начальство на то, что совершалось? Да никак. Оперявшаяся бюрократия 8 января рассматривает вопрос «О ликвидации Кочевского райсельхозсоюза, о слитии в аппарат Райзо»; отдает под суд с заключением под стражу до суда инспектора Юркина («за безответственность, разгильдяйство, за невыполнение директив и приказов»). Строго и холодно констатируется также, что «темпы лесоразработок упали...» Вывод: «нагрузить ледяные дороги!». Одновременно «предупредить участки ни в коем случае не допускать перерасхода продуктов, выдавая таковые в соответствии с выполнением работ».

В поселках все-таки что-то выдавали, иначе лесоразработки были бы свернуты. В худшем положении оказалось местное

население, коми-пермяки. У них все забрали, а ждать помощи было неоткуда. Многие потянулись за спасением к переселенцам, контакты были налажены, но большинство из отправлявшихся в путь (выходили обычно на грани жизни и смерти) умирали по дороге. Отец рассказывал, как шел весной по одной из таких дорог: трупы вытаивали на каждом километре.

А что же там, где провели хлебную реквизицию, в Чуртане? На тот же вопрос: «А вы как выжили?» — восьмидесятилетний, беззубый с тех тридцатых старик Комаровский, из семьи хуторян из-под «знаменитых» Куропат (в трех километрах была его Малиновка), глянул на меня с поволокой, сказал:

— И правда, всю жизнь возле смерти, а живу. Сначала тут, в Куропатах, начиная с восемнадцатого, стреляли, возами трупы возили, потом там... А выжил. Лошадь своя помогла, ее овсяные килограммы.

У организма свои пределы. Бывает, надо добавить буквально каплю, и будет жить. «Каплями» такими как раз и были для нас перемешанные с опилками лепешки. Но к весне все равно отощали до предела. Опасаясь эпидемии, отцу с его лошадей дали 400 граммов хлеба, подсобников и велели очищать поселок от трупов. Сил, чтобы выносить окоченевшие тела, не было. Выпрягали лошадь, цепляли мертвецов петлей за ноги и выволакивали. Умирали больше семьями, домами. На кладбище траншею-могилу копали обычно с утра пятнадцать-двадцать человек. К вечеру иногда оставалось по пять-шесть. Бросали и их в общий навал, прикрывали обрезками досок, горбылем и забрасывали землей.

Жизнь человеческая, в общем, не ставилась ни в грош. Незаменимых, считалось, не было. Сам я ни в чем этом не виноват, но какое-то невыносимое чувство утраты томит иногда сердце до такой степени, что невозможно уснуть. Сколько бы еще могли сделать доброго на земле те загубленные мальчишки и девчонки! Они бы Родину пошли защищать в сорок первом.

Зато мыши в запертом на железный замок складе были сыты и плодились, как никогда.

Страшная судьба постигла в нашем районе поселок с аппетитным названием Коврижка. Поселили в нем полтысячи семей. Погибли почти все — человек сто пятьдесят осталось. Свидетели рассказывают: люди были тут, как сонные мухи. Вроде бы и движется, но вдруг остановится, осядет и уже не подымается. Одни распухали, другие, наоборот, усыхали, а конец был один — смерть, смерть, смерть. Дело доходило до каннибальства. Умирающих сначала спускали под пол (хоронить не доставало сил), потом мертвые лежали рядом с живыми...

Матери моей в канун страшного 1933 года предложили мес-

то поварили в общественной столовой. В ту пору эта должность означала жизнь и могла помочь распорядиться чьей-то жизнью. Сужу я об этом, так сказать, не со стороны. Где-то в конце 50-х появился к нам невысокий — грудь в орденских планках — военный. Прошелся во всей красе по улицам и отправился в лес-промхоз, где жили родители. Здесь ему показали наш дом, и он пошел напрямик, ускоряя шаг. Я видел, как они встретились — он и моя мать. Мать всплеснула руками: «Шурка? Осмоловский?». Он бросился к ней на грудь и все порывался целовать ее руки. Оба плакали и ничего не говорили.

Оказалось, мать спасла его, пацаненка, и еще нескольких таких же мальчишек от голода в том 33-м. Если что-то оставалось в котле, раздавала им, стоящим в сторонке в немом ожидании. «Бывало,— рассказывала,— себе не оставишь, а им плеснешь: больно смотреть в глаза голодному ребенку».

Отец «выкарабкивался» по-своему. В ту пору как раз складывалась командно-административная система. Чтобы приказы сверху доходили донизу и выполнялись на самом что ни на есть глубинном уровне, нужны были всевозможные бракеры и десятники, мастера, бригадиры, начальники котлопунктов, продавцы и кладовщики, заведующие клубами, банями, радиоточками... Нетрудно было сообразить, что проще «руководить», чем «морнуть» в лесу по пояс в снегу. Для этого, правда, надо было быть более или менее образованными, знания приобретали зримый практический смысл, и все, кто мог, кто выжил, ринулись в школы, затем — в училища и техникумы.

Возраст не позволял отцу мчать за молодежью, но что касается энергии и исполнительности — этого у него хватало. В 1932-м он уже был так называемым заведующим кустом, то есть руководил швейной, сапожной и колесной мастерскими, парикмахерскими, столярней, пекарней и катальней. Должность соответственно вознаграждалась.

Долго не мог успокоиться, не принимал нутром новых административных структур мой дед, Виктор Адамович. Мог остановить посреди дороги самого коменданта и начать нравоучения. Дескать, что же это вы делаете? В парикмахерской заведующий — раз, кассир — два, уборщица — три, сторожика — четыре. Этак-то, мол, прогорит советская власть: «Больше трацице, чым зарабляеце». Следует, говорил, отдать бритые двум-трем компаньонам, брать с них налог, и дело в шляпе: и людям хорошо, и государству тоже. Над его стариковскими предложениями посмеивались (мелкобуржуазное сознание — известное дело!), но не трогали.

Если и доставалось от кого, так от сыновей. Себя, говорили, и нас заодно погубишь со своими дурацкими рассусоливаниями.

Была и еще в те годы одна тропинка для спасения — побег. Многие из тех, кто чувствовал себя сносно, уходили через леса: кто на запад, к Вятке, кто на восток. Отправились и сгнули пожилые отцы семейств белорусы Костейко и Ефименко. Прихватив жену и сына, подался к железной дороге молодой Иван Свирщев. На станции Менделеево его прищучили. Предъявил «справку» из колхоза — так, мол, и так... А у жены справки не оказалось, не предусмотрели. Что делать? Начали выкручиваться, чтобы хоть кого-то спасти. Дескать, они не муж и жена, просто... Ребенок ее, а не его... Разбирались-разбирались — ее отправили назад, а его отпустили на все четыре стороны. Подумал и решил податься в свой Копысский район, в деревню Светичевку. Там была его родина, там у отца с матерью на десяти десятинах выросло шесть сыновей. Добрался. У дядьки днем отсиживался на печке, вечером спускался толковать, как быть дальше. Решили, что надо устроиться на работу где-нибудь подальше от Белоруссии. Уехал на Кольский полуостров: на Нивстрое дали документы (сделал себя моложе, чтобы отсрочить призыв в армию); можно было начинать трудиться не как изгою, а вольному. Поработав, рассчитался и — в Ростов-на-Дону, к брату. А там тоже голод. Вернулся с братом назад. Вышел на стройке в передовики. Без отрыва от производства проходил допризывную подготовку, горланил марши. Первым взяли брата. Сделали запрос на родину. Из сельсовета ответили: не сослан, но сын лишенца, то есть призыву в армию не подлежит. Месяцы летели. Срок призыва Янки приближался. Он видел: дело — табак. Сотни вариантов перебрал, а потом собрался — и на Урал, в свою комендатуру. Дескать, прибыл временно отсутствовавший. Это была зима голодного 33-го. Простили. Пошел в лесорубы. Нивская кормежка позволяла по инерции выполнять план. Тянул. А мать умерла.

Забегая вперед, расскажу до конца об этой рядовой горевой судьбе. В 1937 году взяли у Янки отца и расстреляли (через 20 лет реабилитировали). Сам он убежал в лес, тайком интересовался, не спрашивают ли его, и, убедившись, что до него дела нет, воротился. В 1942-м ушел на фронт.

Его 17-ю гвардейскую дивизию Калининского фронта с ходу бросили в бой. «Немцы, — рассказывал, — окопались и клали наших, как снопы. А приказ один: «Вперед!» И я бежал, но повезло: за танком. Однако ж все равно садануло под лопатку, насквозь, но позвоночник не задело. Два месяца полевых госпиталей, и снова в бой. В руку ранило. Опять госпиталь». Это был уже 1944 год. На трое суток дали ему отпуск «домой». День пробыл у жены и — назад, в запасной полк, затем снова на фронт. До Гродно дошел, до Польши. В роте связи в конце

войны был шофером. Демобилизовался в 1946-м, заехал на родину, в Белоруссию. Вернулся на поселение — жены нет, погибла на лесозаготовках... Наново женился. Еще родились сын и дочь...

До недавнего жил Иван Михайлович в Перми, на улице Якуба Коласа... Оптимист по природе, на жизнь не жаловался, а мне все равно грустным-грустно оттого, как крутили судьбу его человеческую десять отнятых отцовских десятин. Шут бы с ними, с десятинами, но человека — зачем?

Когда отошли голодные годы, вроде как все постепенно стало налаживаться. Мечталось об освобождении. Были проведены оргнаборы на промпредприятия Соликамска и Березников. Радио вещало об успешном строительстве канала Москва — Волга, о том, что, согласно Постановлению СНК «Об улучшении жилищного строительства», высота жилых помещений доводится до 3—3,2 метра против действующих 2,8 метра, улучшается качество квартир. Были, правда, и другие, потайные цифры. О них никто не знал. В поселках планировались на человека 1,5 квадратных метра жилья, но даже эти нормы, особенно для северных районов, не выполнялись. Через два года после высадки первых людских эшелонов в Гайнском районе, например, жилья было в 10 раз меньше нормы, в Кочевском и Косинском — в 20.

Казалось, страхи позади, жизнь в конце концов наладится.

Невозможно было не поддаться этому бодрому настрою. Выработка в лесосеках росла. Внедрялись американские «Компис» и лучковки. Раньше двое перепиливали хлыст, теперь — один. На тыльной стороне правых кистей от этих пил вырастали профессиональные «гузы», но все, кто работал, старались не ударить в грязь лицом, быть на хорошем счету у руководителей лесопунктов и комендантов. Производство в стране, тем не менее, становилось фетишем: не экономика для человека, а человек для экономики...

А что же свое, белорусское, национальное?

Дольше всего, пожалуй, держался язык, но был он не в чести. Предпочтение, естественно, отдавалось тем, кто свободно говорил по-русски. Старики не сдавались, а молодежи это было ни к чему. Какое-то время стихийно и тайно отмечались свои, чаще религиозные, праздники; в клубе на самодеятельных концертах исполнялись народные песни. Мечик Славинский привез из Белоруссии цимбалы. Зал замирал, когда он выходил с ними на сцену, звуки музыки напоминали о родине.

Удивительна была нравственная обстановка поселка. Не было ни воровства, ни разбоя, предельная уважительность к женщинам и друг к другу. В ларьки и магазины уже тогда ящик за ящиком слали дешевую водку, но к ней относились с презре-

нием, пьяниц не было. Время и обстоятельства, словно бы испытывая на прочность оторванные от родной почвы души, казалось, дивились этой устойчивости. Тем не менее, никому из комсомольцев, учителей, других такого рода работников не позволялось якшаться накоротке с непотребным классово чуждым элементом. Кара следовала немедленная: снимали с должностей, исключали из комсомола. Считалось, что такое общение заражало идейно чистых работников мелкобуржуазной психологией. Но жизнь брала свое. Многие, лишаясь, соответственно, доверия и привилегий, все-таки шли на «преступления», женились и выходили замуж, заглядывали, несмотря ни на что, на потускневшие белорусские вечерки.

Что до контактов с рядовым местным населением, то тут связь была постоянная и взаимопроникающая, в духе обоюдного творческого любопытства. Думаю, так же, как спецпереселенцы благодарны коми-пермякам за их добросердечие, так и коми-пермяки не помянут худым словом не по своей воле прибывших к ним незваных гостей. Простые люди земли не чинят зла друг другу, понимают: места под солнцем хватит всем.

Впрочем, сделаю и оговорку. При всех высоких словах не покидает и ощущение без вины виноватого. Главное богатство края — лес — спецпереселенцы (конечно, с помощью и местного населения) вырубали и сплавили, а округ так и не получил за это стоящей компенсации. Все, как в прорву, все по дешевке, если не задаром, все во имя грядущего общего блага. Теперь на местах былых могучих сосновых боров чаще всего встречаешь только жалкое мелколесье, хотя от тех первых заготовок прошло уже более шестидесяти лет и, казалось бы, можно готовиться к рубке по второму кругу. Так и хочется сказать лесам, как людям: «Простите нас, простите...».

В мае 1934 года вышло постановление ЦИК СССР о порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков. Краевым и областным исполнительным комитетам было разрешено в качестве особой меры поощрения досрочно восстанавливать в правах переселенцев, в первую очередь из молодежи, доказавших свое лояльное отношение к советской власти, проявивших себя на производстве и активно участвующих в общественной жизни. Все это, понятно, были всего лишь слова. Да только ведь «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». В те годы как раз опробовалась до сей поры неизжитая манера разговора с людьми от имени власти, когда в перспективе обещались кисельные берега и молочные реки, в то время как настоящее словно бы игнорировалось. В самом-то деле, как можно было распушить поселки, если они давали товарный лес!..

1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Киров. Обвинили правых. Ссылный элемент — правый. Следовательно, он тоже повинен в убийстве Кирова?! Предлог — лучше не придумашь, а вывод однозначен: наказать. Прошли очередные выборочные аресты, в чистом таежном воздухе запахло гарью.

В ту пору особо остро чувствовалось, что ты спецпереселенец, не работаешь, а выполняешь трудповинность; что не человек ты, а гужрабсила, приравненная к лошади. Впрочем, лошадь находилась в более выгодном положении, чем человек. Согласно резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 29 июня — 1 июля 1934 года о коне, предписано было «воспретить... использование на тяжелых работах жеребых кобыл после шести месяцев жеребости и за два месяца до выжеребки и на пятнадцать дней после выжеребки на всякой работе». Полагалось «выделять 20—25 центнеров грубых кормов на голову», «ввести к началу 1935 года обязательную паспортизацию всего конского поголовья»...

Женщины в поселках могли только мечтать об этом, но — держались. Они были просто женщины, они не читали Достоевского, который задолго до того, обдумывая высокое, писал, что «тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы». Как далеко нам было и есть до этого, Федор Михайлович! Дорости бы до того, «чтобы только жить», а там посмотрим...

От непосильной работы у многих женщин прерывались месячные. Может, и это тоже планировалось, чтобы не рожали, не смели называться людьми? Как знать! Воистину, «да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила!». Обтопчи вокруг сосны двухметровую толщу снега, спили ее, красавицу, поперечной пилой, подтолкни, а как она грохнется в пуховик, найди и обрубви сучья, прошкурь в трех местах, раскряжуй по мерке на сортименты, снеси в кучи ветки... А за все — ложка крупы, кружка кипятка и сахара кусочек. Откинет на затылок платок — пар трубой, и в глазах темно от слепящего белого снега.

Но — дождались!

С 1 января 1935 года была отменена карточная система на хлеб, муку, крупу. Продажу печеного хлеба следовало организовать через сеть государственных и кооперативных хлебных магазинов.

Отца освободили от должности заведующего кустом и направили в районный центр организовывать хлебопечение. С поручением справился, довел выпечку до нужных тонн. Затем его вернули на прежнее место...

Сыграли в поселке первую свадьбу Алеша Михневич и Маня Статкевич. Весной 1935-го рискнули пожениться и мои отец с

матерью. Мать к тому времени вновь работала в лесу. Комендант обещал зарегистрировать брак после перевыполнения очередного квартального плана. Старалась. Перевыполнила. Зарегистрировал.

Затем свадьбы пошли одна за другой: Усов, Вечерка, Белевич, Дубик... Рисковали? Может быть...

Тем временем страна разметнула крылья энтузиазма. Были ударники — стали стахановцы. Бригады лесорубов брали обязательства: 600 кубометров на человека за сезон, 700, 800, 1000! «Тысячники» особенно гремели. Работали на износ, от темна до темна, но зарабатывали, поощрялись и ходили в почете как люди, понимающие запросы и требования момента.

В общем, казалось, все было прекрасно: продолжалась та самая «перековка», о которой говорили Горький и другие писатели. Отца моего тоже тянули в такую бригаду. Говорили: «Брось заниматься чепухой. Настоящее дело — здесь! Нас первых освободят». Соблазн был велик, но отец оказался «несознательным» и отказался. Это его спасло. Начинался год 1937-й, один из страшнейших в российской истории...

И вот, как это ни дико звучало, было «обнаружено», что под видом передовых бригад в округе сколачивались контрреволюционные организации, налаживались связи с японской и прочими разведками и т. д., и т. п. Молодых, полных сил и возвращенного желания работать мужчин брали одного за другим и отправляли в райцентр. Двенадцать человек (деревянный кляп в рот с узлом повязки на затылке, руки за спиной и приговор) расстреляли там же, на месте, в подлеске, других уводили и увозили в Пермь: Руль, Ефимец, Дубик, Острейко, Рагозенко, Вечерка, три брата Домбровских, Говоровский, Секержицкие... Сколько их было! Все — с концами...

Когда расправились с «тысячниками», принялись за рядовых. Латыш Берзин (с сыном его, Володей, я учился) был старым и согбенным, едва ноги передвигал, но умереть среди своих ему не позволили. Взяли также старика Бейдина, тоже латыша. Впрочем, что ж! Самих латышских стрелков не жалели, что уж говорить о рядовых смертных. Пытки делали свое дело, цепочки разветвлялись, охватывали, подобно раковой опухоли, все новых и новых поселчан. Брали и «за что-то», и ни за что. Ольхимович в Янчерском клубе, прицеливаясь кием, чтобы разбить выставленный треугольник шаров, пошутил: «А ну, пстрыкнем (щелканем) по колхозу!». Взяли и в расход. Власть не терпела независимости. Мало было быть слепым, глухим и немым. Надо было еще и ходить на полусогнутых.

Поселок оставался без мужиков. Дольше всех, пожалуй, держался Дорожко — председатель неуставной артели. Демонстрируя «идейную» неприязнь к арестовываемым, даже для боль-

ных и слабых не разрешал запрягать лошадей. Одновременно жена его доносила на кого только могла и бесновалась на очных ставках. Но взяли и ее Дорожку, и он запоздало кричал напоследок:

— Всех, всех лошадей запрягайте! Запрягайте!..

Сильные добры. Здесь сила добавляла злобы. Принародно рушилось в Отечестве нечто от людских первооснов. Нам еще долго расхлебывать этот кровавый посев.

Когда собрали очередной, человек в 300, этап и из Кочевского КПЗ направили под конвоем сначала до Кудымкара, затем до железнодорожной станции Менделеево и наконец доставили в Пермь, тюрьма оказалась переполненной. Конвой повел колонны в Вознесенские казармы. Очередные двое скончались на этом отрезке. Их оттянули в снег. Конвоиры били в спины прикладами, глацали затворами. На другой день в казармах, в тесноте, задавили девятерых. Свидетели говорили мне, что в те дни непосредственно в Перми сидело около 40 тысяч человек.

Следователи «потели» днем и ночью. В ходу была железная линейка для тех, кто не ставил подписей. У Ивана Лебедки от ее ударов побежала кровь из ушей...

Говорили:

— Ты хотел подорвать железнодорожный мост через Каму?..

— Як же ш я мог адтуль?

— Запираешься, сволочь?! Кто главный был в твоей контрреволюционной группе? Кто?!

— Не ведаю.

— А на самолете за границу драпануть? Это ты «ведал», контра? Кто главный?..

Многие из спецпереселенцев, прошедших этот ад, между тем, признавались, что с ними обращались еще как бы даже по-божески. С удивлением рассказывали, что партийцев, особенно высокопоставленных, пытали прямо-таки зверски, многих, даже на уровне министров, поспешно расстреливали.

Бойня была страшная. Жизнь человеческая не ставилась ни в грош. Приезжал, скажем, в Гайнский район представитель НКВД и собирал внеочередной пленум. Первый секретарь отчитывался: «План лесозаготовок выполняется, люди работают самоотверженно»...

— А на Чуртане сколько у вас пушек? Пулеметов?

— У нас и ружей-то нет.

— А ты знаешь, что у тебя семьдесят процентов контрреволюционного элемента? Что готовится восстание? Вы окружены! Где ваши враги? Где бдительность?

Так наезжали на места (и в Белоруссию тоже) Маленков и прочие подручные вождя, так, копируя их повадки, действовали

и низовые клеветы. Кровавую жатву собрали со всего округа. Руководителей районов брали прямо на пленумах, «черные вороны» подводили к подъездам райкомов. Затем арестантов пытали, добиваясь признаний, и расстреливали — в полях за перелесками при Кудымкаре, в самом городе. Призывники копали ямы будто бы для туалетов, «туалеты» затем заполнялись трупами...

Такова вот она и была, та самая черная, как благостно утверждают иные сталинисты, работа, которую проделал во имя нашего (для той поры будущего) поколения их гениальный вождь и учитель.

Впрочем, были вещи и пострашней. Мне рассказывал человек, служивший в годы войны возле Перми в охране. Вместе с ним уходил на вахту сравнительно молодой, но уже седой мужчина. Однажды он рассказал, отчего побелел. Служил в войсках НКВД, в Белбалтлаге. Послали на спецздание. Приговоренных к смерти грузили на открытые баржи, выводили в открытое море и расстреливали. Кто отказывался стрелять, присоединяли к жертвам. Сам он от потрясения потерял сознание, его демобилизовали и — в охрану. В одну из зим (земля промерзла до трех метров, не вкопаясь) эшелон смертников ушел и из Перми. К тому времени, правда, казнь была усовершенствована. заключенных гнали в черный проход плашкоута, будто бы загоняя в трюм. Через какое-то расстояние, в темноте, они падали в «окно» и исчезали в ледяной пучине.

Кому-то же надо было это все понапридумывать! Вытянуть бы их сейчас на всенародный свет, как создателей фашистских душегубок!..

Мой дядя Миша сидел «в толпе», в двадцать четвертой камере, на четвертом этаже тюрьмы под номером первым. Дядю Ваню, который к началу того кровавого шабаша работал товароведом-экспедитором райпотребсоюза и, естественно, выезжал по работе за пределы района (ему даровали это право за борьбу с бандитизмом), взяли в особый оборот. Выезжал, значит, с кем-то контактировал, а раз контактировал, значит, готовил заговор. Для чего сжег тысячу гектаров леса? Не сжег? «Так это был твой брат, или кум, или кто-нибудь из вашего же рода».

Дядя Ваня со своей неприкаянной честностью был один на один с жестоким коварством следователей. Он стоял на «конвейере», у него отекали ноги. Его запирали в узкий железный шкаф и держали в такой позе сутками; кормили соленой селедкой, а потом не давали пить; били до полусмерти...

Незадолго до его кончины я был у дяди Вани в Караганде. Удивило спокойствие его души: ни тени обиды на то, что произошло, какая-то просветленная горечь, не более того. Сказал мне: «Сейчас думаю: может, и надо было подписать. У следователя замы-

калась цепочка, мне, может быть, дали бы послабление»... Сожаление задним числом, что не пошел на компромисс... Впрочем, тогда, раньше, он был молод и ближе к нравственности народной, а ко времени встречи со мной голова его была седым-седая от пережитого. Когда в июле 1956 года ему и его жене Кате прислали реабилитационные бумажки об отсутствии в их действиях состава преступления и отмене постановлений троек УНКВД, Катя рыдала три дня подряд, а он оступело молчал...

Не буду говорить, как удалось дяде Ване выкарабкаться из лагерного ада. Несколько раз бывал он у жизни на краю, но дотянул, был оставлен на поселении в Кировской области, поднялся до агронома. В хозяйстве его ценили и уважали. После реабилитации его овощеводческая продукция демонстрировалась на ВДНХ...

Этот жизнелюбивый, деятельный, любящий землю и людей человек при ином стечении обстоятельств мог бы сделать для родной своей Белоруссии, для страны в тысячу раз больше. Впрочем, он ли один! Из дали лет все отчетливей проступают миллионы таких безжалостно загубленных судеб.

А что же отец?..

Он до поры держался: видимых «врагов» вроде как у него не было, со всеми был ровен, лишнего не болтал. Правда, и близкий его товарищ, Иван Березовский, техник-строитель Кочевского райисполкома, тоже был не лыком шит, но пришли, взяли, в присутствии понятых произвели «отчуждение имущества»: пальто мужское за 60 рублей, пиджак за 20, фуфайку за 25, брюки за 17, «кустюм» (так в акте) за 60, сапоги хромовые за 100, полевую сумку за 10, гимнастерку за такую же цену, телку трехмесячную за 150 рублей и швейную машину за сотню. Всего на 552 рубля. Привожу дословную опись, чтобы показать, каково было к тому времени «обогащение» типичного спецпереселенца. Вещи были изъяты, жену Юлию с двумя детьми (старший сын, Слава, погиб позже в годы войны) оставили ни с чем, без мужа и отца. Дело Ивана Павловича военным трибуналом Уральского военного округа 31 августа 1956 года было пересмотрено, «производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления». Где похоронили, естественно, не сказали, как ни добивалась этого работавшая к тому времени учительницей жена.

Отцу велено было принять неуставную артель. Оступиться в ней было раз-два, хотелось каким-то образом отбояриться, но тогда говорили так: «Не тем, кто может, поручаем, а кому доверяем». Проигнорировать доверие значило тоже наскрести себе на шею.

Прибыл отец на так называемую Митьку, зашел на животноводческую ферму. К той поре уже и спецпереселенцы поняли,

что такое артель: старайся не старайся — обдерут как липку. Вывод был однозначен: шевелись через пень-колоду и ладно. Стояли мартовские холода. До первой зелени — месяца три, а коровы не поднимались, вот-вот должен был начаться падеж. В этой отчаянной, грозящей неминуемой тюрьмой обстановке отец развил (куда было деваться!) бурную деятельность: велел, во-первых, приподнять коров на веревках и подвесить под стропилами, чтобы хоть разогнули колени; для измельчения и запарки соломы с крыш организовал сечкарню; наладил переработку хвойного лапника. Не знаю, как удалось ему тогда вдохновить людей; вернее всего, им передался страх возможной расплаты. Как бы там ни было, веревки с буренок через неделю сняли, и они не упали.

Началась посевная. Поля в бригаде сплошь мелкоконтурные, покатиные, среди лесов. На одном из них пара истощенных коней таскала сеялку с овсом. Пока крутились на угоре, работа шла нормально, а едва спустились вниз, чтобы засеять небольшой низинный «карман», лошади увязли, колеса сеялки отяжелели от налипшей глины — ни туда, ни сюда. Работники стояли в растерянности, не рискуя проявлять инициативу: она была опасна. И вот тут подошел мой отец. «Что, — сказал, — весь день будем стоять? Работы тут на час!». Вывернул из-под ремня рубаху, открыл крышку сеялки, набрал овса и пошел разбрасывать его вручную. Втроем они мигом сделали дело, повернули сеялку на угор, очистили колеса и покатали на очередное поле.

Когда под осень отца арестовали, на первых же допросах выяснилось: ему вменяли в вину игнорирование передовой сельскохозяйственной техники с целью подрыва экономических основ государства. Следователи, однако, не спешили, ждали уборочной. Урожай мог быть, понятно, всякий, но в тот год овес на злуполучном участке выколосился небывалый. Это спасло от немедленной расправы. Но в НКВД ошибаться не могли. Следствие упорно продолжалось. Дорожиха показала, что на двухлетнем сыне арестованного (то есть на мне) видела какое-то уж больно аккуратное пальтецо; такого не купишь в поселковом магазине. Значит, есть потайная связь с внешними контрреволюционными силами!

Не знаю, откуда оно взялось, то бесхитростное пальтишко — то ли мать сшила, то ли дядя Ваня достал. Мать вызывали на допрос, размахивая взведенным наганом, исступленный райотделовец кричал, что она лишится своего ребенка, если не скажет правды, не признается, что муж ее — враг народа!

К счастью, показаний, порочащих отца настолько, чтобы по-решить его на месте, не оказалось, и его тоже отправили в Пермь. Мать учила меня звать отца в печную трубу, чтобы было

слышнее, что я и делал до хрипоты. Отец каким-то образом передал из тюрьмы вышитый им для нас с мамой носовой платок: «От твайго атдаленага папы»... Он мог бы стать последней весточкой родного моего человека, но...

Заключенных регулярно пропускали через медкомиссии. Очередная такая комиссия была устроена незадолго до замены Ежова Берией. И вот тут отцу повезло. Оказалось, что у него плохие коренные зубы, то есть его как производительную единицу не было резона отправлять через всю страну на Колыму — умрет от цинги прежде, чем себя окупит. Отбракованный, он вернулся в камеру. Здоровые покатали на Восток и исчезли навсегда...

Нераспределенных по лагерям спецпереселенцев начали выпускать. Потери были невосполнимо велики, да куда денешься!

Говорю я в основном о людях своей Усть-Онолвы. То же самое, с небольшими вариациями, происходило и в других поселках. Супруги Колосы жили, например, в Пугвине Мысе (Гайнский район). Данил Иванович просидел полтора года в одной камере с моим отцом, на долю Анны Афанасьевны тоже выпало столько горя, что не описать.

В Гайнах были три небольшие деревянные камеры предварительного заключения. Все оказались забытыми до отказа настолько, что ни присесть, ни почесаться; вши и м...вошки расплозились по стоящим во фронт «врагам народа». Много было татар и местных, но больше белорусов.

Нечеловеческое обращение с арестованными было, как видно, в чести у карателей. Усугубляя ситуацию, они запирали двери, закрывали высокую форточку. Дышать становилось нечем. Слабые теряли сознание, хоть и продолжали стоять.

Выручала иногда единственная среди райотдельского НКВД женщина — лейтенант Любимова. Была она среднего роста, худенькая, светловолосая. Сердце ее не выдерживало издевательств — пересиливая себя, приоткрывала форточку или дверь и подавала воздух. Делала это незаметно, да поди скройся «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Любимову обвинили в сочувствии арестантам. Она выхватила из кобуры свой наган и застрелилась.

В те же дни к любимому своему Дане, так же, как и моя мать к отцу в Кочево, мчалась с передачей Анна Афанасьевна. Сорок километров пешком, на всех парусах! Чтобы хоть увидеть на прощанье. Домчалась, ноги едва держат, а конвоиры:

— Надоели вы нам! Мотай отсюда!

В Перми камера в тюрьме была на сто двадцать квадратных метров. Сидело в ней сто пятьдесят человек. На железных кроватях сверху укладывались по трое, под кроватями — по двое. Людской мясорубке не было, казалось, ни конца, ни края.

И вот — послабление...

Вернулся дядя Миша. Прибыл отец. Я уже, было, позабыл его и принял за чужого. Тем не менее, осмелев, обхватил за шею и сказал:

— А я знаю, почему ты пришел.

— Почему?

— А ты услышал, как я тебе в трубу кричал: «Папа! Папа! Вернись!»..

*Н. Плешкова**

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Наш предок — Ананий Павлович Соснин, 1840 года рождения. У него было два сына: Соснин Иван Ананьевич (его в 1930 г. раскулачили вместе с семьей, и о нем мы ничего не знаем), Соснин Степан Ананьевич (1860 года рождения, умер в 1936 г.). Это наш дедушка. Он проживал в деревне Притыка Оханского района Пермской губернии (в то время). Дедушка женился на сироте. Она была бойкая, работающая, экономная, хорошая хозяйка.

У них было четверо детей: Василий, Петр, Мария и Анна. Дети подрастали, росло и хозяйство. Дедушка старался дать каждому образование. Учились в Оханске. Подросли.

Мария Степановна вышла замуж в г. Оханске. Один из внуков у нее в настоящее время служит в армии генералом, а дети — дочь и сын — умерли в 1998 г. Прожила она 93 года.

Анна Степановна закончила в Оханске педучилище, вышла замуж за военного и уехала с ним в г. Новосибирск, а затем в г. Кемерово. Работала учителем. У нее было трое детей. Дочь работала тоже учителем, а затем заведующей горно. Другая дочь и сын работают на заводе инженерами. В 1995 г. Анна Степановна умерла, прожив 87 лет. Мужу ее в настоящее время 97 лет (1902 года рождения).

Василий Степанович последнее время жил в г. Свердловске и прожил 83 года.

Наш отец — Петр Степанович. Когда дети у дедушки разъехались, нашему отцу было 20 лет. Решили его женить, так как для ведения хозяйства нужны были рабочие руки. Невесту выбрали из д. Тютки Оханского района. Маме было 18 лет. Выросла она в большой семье. Мать ее умерла рано, в 60 лет. Осталось пять сыновей и две дочери: Федор, Василий, Иван, Андрей, Петр, Евдокия и Татьяна. Сыновья впоследствии все переехали в г. Пермь.

* Нина Петровна Плешкова (р. 1926).

Евдокия вышла замуж в д. Острожка. И у каждого из них была своя судьба. Отец маму очень любил, но бабушка ее держала очень строго.

Дом был двухэтажный, пятистенный, низ каменный, а верх деревянный. На первом этаже в одной половине была кухня, а во второй ставили на зиму ульи. Верхний этаж был тоже разделен на 2 половины (2 комнаты). Возле дома стояла конюшня, сарай для коров, овец, кур, свинарник, и все это было под одной крышей. Рядом колодец, кузня, баня и ближе к реке — пасека. Было 2 лошади, 2 коровы, 4 овцы, 2 свиньи, десяток кур. По дому хозяйством управляла бабушка. У нее во всем был полный контроль. Сколько надоили молока, сколько сняли сметаны, сколько получилось масла. Мама выполняла подсобные работы и на огороде. Она до солнышка поливала 4 длинные гряды огурцов, полола, окучивала картофель. С дедушкой ходила к пчелам брать мед. Доставалось и мужчинам. За всем надо досмотреть, убрать, почистить. За пчелами ухаживал дедушка, они его любили, не жалили. Дедушка до работы был жадный. До обеда загонял в мыло одну лошадь, а после обеда — другую. Но он был умный: сам собрал молотилку. В кузне он делал сам все предметы для хозяйства: борону, вилы, плуг, грабли, лопаты и все прочее.

Сажали много огурцов. Их продавали в г. Оханске, нужны были деньги: купить обувь, одежду. Купили американскую жнейку со сноповязалкой. Сеяли хлеб, но своего хлеба на всю семью не хватало, приходилось подкупать. Сеяли лен, сами обрабатывали его. Мама на ткацком станке длинными зимними вечерами ткала полотно. Из него шили одежду, полотенца. На краях полотенца мама вышивала красивые узоры. Из овечьей шерсти катали валенки, пряли ее и вязали носки, чулки и варежки для зимы.

Все хозяйство вели сами, батраков не нанимали.

Дети у мамы пошли один за другим. Отец имел образование 4 класса. Мама в школе не училась ни одного дня. Хотя она очень тянулась к учебе.

Дети подрастали, старшие водились с младшими. Без работы не оставляли ни одного. Это были честные, добрые, работающие люди. Все свои добрые качества они прививали и нам.

На сенокос ездили на лошадях. На работе ходили в лаптях. Отец сам умел плести их. Возле дома у дороги была лавка — магазин. Товар дедушка привозил из г. Оханска: нитки, иголки, булавки, мыло, баранки и прочую мелочь, без которой нельзя было обойтись в деревне.

Мама была совсем неграмотная, не знала ни одной буквы, а деньгам счет вела хорошо. Она и торговала в лавке час в день.

В годы германской войны отец был на фронте. Немцы в то время применяли газы. Отец был «кукушкой» на наблюдательном пункте. С фронта он пришел больным — расширение легких. Нельзя было курить, простывать, поднимать тяжести.

По праздникам мама ходила в церковь в д. Острожка. До церкви шла в лаптях, а ботинки надевала лишь тогда, когда заходила в церковь. За всю жизнь она не износила и одной пары ботинок. Ее ботинки я износила, когда училась в Перми в годы Отечественной войны в педучилище. Когда папа был на фронте, бабушка эти ботинки у мамы спрятала, чтобы мама не вышла без мужа на праздник в деревню.

Все в нашей семье трудились от мала до велика. Старшие помогали взрослым, а младшие смотрели за самыми маленькими. В деревне раньше, как и теперь, одни трудились, а другие пьянствовали и не хотели работать.

В 30-е годы начали организовывать колхозы. Дедушка сначала вступил в колхоз, но потом сказали, что вступать можно по желанию. И он тут же вышел из колхоза. Вступая в колхоз, надо было все хозяйство, весь инвентарь и скот сдать в колхоз. Дедушке в то время было уже 70 лет, наживать все заново он уже был не в силах. И он вышел из колхоза.

В марте 1930 г. на собрании «решением деревенской бедноты» было решено нашу семью раскулачить и выселить из деревни. Дедушку арестовали, бабушка гостила в Оханске у дочери. Наш дом был под наблюдением, к нам никого не впускали и не выпускали. Вечером легли спать. У дедушки с бабушкой была кровать, у мамы с папой — тоже. А мы все спали вповалку на полу на войлоке. Одежда была шубные, покрытые сшитыми половиками. Кровати были деревянные, их сами делали. В двенадцать часов ночи пришла «тройка»: милиционер, Сана Белая и мужчина. Сана приехала в деревню незадолго до раскулачивания. Ее отец и два брата нигде не работали, а пьянствовали. У Саны даже платья не было ходить в школу. Зато после нашего раскулачивания она гуляла по деревне в кашемировых (лучший сорт шерсти) платьях. Объявили приговор и дали на сборы 30 минут. Мама, как услышала это, подошла к ножной машине, взяла с нее каток ниток и парализованная опустилась на стул. Нас стали будить. Поднялся крик, плач. Отец собирал нас один (Ивану — 16 лет, Павлу — 14 лет, Алексею — 10 лет, Ольге — 7 лет, Нине — 4 года, Людмиле — 1,5 месяца). Одели нас наспех, кое-как, на скорую руку, в старые валенки (новые были отданы в катку), голодных посадили в сани, запряженные в наших же лошадей.

Маму вывели под руки. И повезли. Везли две недели. Мороз. Пурга. Останавливались только ночью, чтобы покормить лошадей и дать им отдохнуть. Ехали выселенцы со всех сто-

рон: с Украины, Белоруссии, Эстонии, Дона, Кавказа, Кубани, Татарии — не привыкшие к уральским морозам. Грудные дети замерзали, и их выбрасывали прямо в сугробы. На остановках Ваня с Павликом бежали по деревне и просили милостыню, этим мы питались. Ваня с Павликом больше бежали за санями, чем ехали, чтобы не замерзнуть. Алексей стал замерзать. Его часто спрашивали, не холодно ли ему, он отвечал, что нет. Решили достать его из саней, а он и на ногах не стоит. Взяли его под руки и вели до тех пор, пока ноги не отошли.

Ольга, Людмила и я тоже простыли. У Ольги два года не проходили нарывы. Привезли нас в село Покча (5 км за Чердынью). Это была перевалочная база. Оттуда нас отправили в деревню Федорцово Красновишерского района. Распределили по квартирам. Мы с Людмилой заболели. Особенно тяжело болела я. Люся стала поправляться, рано пошла, получила осложнение и умерла. А моей смерти ждали с минуты на минуту. И все же я выкарабкалась. Но я всю жизнь мучилась с ушами. Из ушей шел гной. И без конца мама возила меня по больницам: то в Чердынь, то в Пермь. В итоге правое ухо у меня совсем не слышит, а левое — неполноценное.

Весной Ваня пошел работать в Усть-Язьву на сплав. Заработал немного денег и решил из ссылки сбежать. Купил билет на пароход и поехал в Пермь. С ним сбежал и Павлик. Денег на билет у него не было, и он забрался на пароходе под лавку и так проехал всю дорогу. О том, что они там пережили, знает только один Бог.

А отцов наших собрали и отправили дальше в лес за 18 км. Привели в лес. Слева река Котомыш, которая впадает в реку Язьва, а с трех сторон болото. Справа за болотом — зона на 800 человек. Срок у них был от 1 года до 10 лет. Заключенные вели себя спокойно, побегов не было.

Нашим родителям сказали: «Вот лес, рубите его и стройте дома». Так началось строительство поселка Котомыш. Была заложена первая улица. Через год нас уже начали вселять в дома. В Федорцово у мамы родился еще сын — Анатолий. Мама старалась лишний кусочек дать нам, а сама ходила полуголодная, молока в грудях нет.

Толя все время плакал, и мы просили маму, чтобы она достала из ямки Люсю, а его закопала бы туда. Мама легко сходилась с людьми, помогала им, чем могла, и сердобольные женщины помогали нам выжить.

Вселяли нас по две семьи в дом, перегороженный на две половины. Но по мере строительства следующих домов начинали расселять. С нами жила семья белорусов. У них была девочка Хапка. Игрушек у нас никаких не было. Мама сшила мне куклу из тряпок. Набила ее опилками. Нарисовала карандашом

на голове глаза, нос, рот. Вот и все игрушки. Ночью Хапка брала эту игрушку. Утром, проснувшись, я ее у нее отбирала. Она плакала, что я ее взяла, а я плакала, не хотела ей отдавать. Вспоминая эту историю позже, я думала: неужели мать девочки не могла сшить ей такую же куклу?

Новые дома были сырые, по стенам бежала слезь, надо было делать печи. Кирпич тоже делали сами. На крутом берегу реки, в конце улицы, рыли сбоку ниши. Наверху копали яму. Наливали в нее воду и клали глину. И мы, мелюзга, начинали месить глину босыми ногами. У каждой семьи была своя ниша. Сделали станок, на котором делали кирпичи. Затем их складывали в нишу рядами наискосок. Снизу разжигали костер и замуровывали. Сначала сделали русскую печь. Она стояла слева в углу, но так как дом был разделен на две половины, то во второй половине печки не было. Сделали посередине дома голландскую печь, т. е. подтопок, но он в суровую уральскую зиму давал мало тепла. Зимой в доме всегда было холодно, и наше излюбленное место всегда было на русской печи.

По приезде братьев в Пермь им пришлось разделиться. Павел пошел к дяде Ване, а Иван к дяде Васе (это братья мамы). Павел выучился на газосварщика. Так всю жизнь и работал им. Ваня ездил с дядей Васей по деревням. Где и кем он только не работал, имея семь классов образования: и грузчиком, и скотником, дошел до счетовода. Когда сделали запрос в Притыкинский сельсовет, оттуда ответили, что он сын врага народа. Его тут же уволили. Он поехал в Пермь, поступил учиться на рабфак и по совместительству нашел какую-то работу, чтобы как-то существовать. После окончания рабфака получил специальность бухгалтера и устроился на работу. Квартиру он получил 6 кв. м на чердаке. По улице Карла Маркса, напротив ресторана «Кама», стоит двухэтажный дом. На первом этаже тогда была булочная, а на втором — Дом учителя. А если заходить со двора, там был и третий этаж. Поднимались по винтовой лестнице. Сначала заходишь в большую комнату — это была общая кухня. Печь с большой плитой. Налево — длинный темный коридор и четыре маленькие комнаты. Ваня тут и жил в одной из них до 1940 года, пока не ушел в армию. Павлик тоже жил с ним.

Как мы жили? 1931—1933 годы были неурожайными. Голод был по всей стране страшный, а особенно у нас, на выселке. Надо было обрабатывать огород (каждому дому нарезали по 8 соток земли вместе с домом, чтобы выжить). Стояли сплошные пни. Выкорчевывали их все вместе. Папа обкапывал весь пень, обрубал все корни, вставлял под пень бастрич, под него ближе к корню подкладывал чурку, и мы все начинали на бастриче качаться, пока не вытаскивали пень. Затем его весь распиливали, разрубали — это были дрова. И так, пень за пнем, очищали весь

огород. Нужно было вырастить хотя бы картофель, но и его надо было где-то взять, хотя бы на посадку. Первые годы и картофель был конфеткой. Когда мама чистила картофель для супа, то очистки не выбрасывала, а хорошо промывала, рубила их в корыте и спускала в тот же суп, чтобы погуще было.

За речкой стоял барак, в котором жила молодежь (видимо, тоже репрессированные). Возле барака стоял ящик для мусора. Мы с Ольгой ходили туда и выбирали из ящика очистки. Но однажды нам не дали их выбирать (посыпали хлоркой). Сколько у нас было слез! Нам так было обидно, что мама еле успокоила нас. Анатолия кормить было нечем. Мама с Алексеем ходили на хутор, помогали хуторянам по хозяйству и приносили домой полкаравая хлеба и четушку молока. На молоке с водой мама варила манную кашу. Няньками были мы с Ольгой (5 и 8 лет). Сестра ложечку давала Толе, сама лизнет ложку, мне даст лизнуть и т. д. Толя не наедался и целыми днями плакал. Плакали и мы с ним.

Скоро на поселке организовали колхоз, но он долго не существовал. Года два после развала колхоза папа работал в лесу, собирал серу. Затем работал в лесу с заключенными. Они валили лес, очищали его, а папа на каждом бревне ставил клеймо. Его специальность называли бракер. Зимой этот лес на тракторе и на лошадях вывозили к реке Язьве. Весной река разливалась и бревна сбрасывали в воду. Плыл лес до Усть-Язьвы. Там его сортировали и строили плоты. Затем по реке Вишере и Каме буксиры везли плоты в город Краснокамск на строительство бумкомбината. В эти годы рабочим давали по 1 кг хлеба, а остальным членам семьи ничего — 1 кг на 8 человек. Ели все, что можно было есть: ягоды, грибы соленые, сушеные, жареные, вареные, пистики — полевой хвощ, щавель, лист липы сушили, толкли и пекли лепешки, даже опилки ели. Бегали к речке, на заливном лугу у реки рос осот. Нарвем, поболтаем корни в воде и едим их. А в основном ели картофель. Люди умирали целыми семьями. Однажды мы с мамой пошли в лес. На мосту через болото лежал мужчина на спине лицом вверх и полный рот травы. И вороны уже глаза ему выклевали. Один раз девочки пошли посмотреть на умершую женщину. Я пошла с ними. Женщина была полностью покрыта вшами величиной с зерно ячменя. Хоронить ее было некому. С тех пор я никогда не ходила смотреть покойных.

Мамин брат Василий работал в Перми связистом. Его направили вести связь по линии Пермь — Ныроб. Ехал он на лошади. Коновозчиком был его отец. Им, видимо, дали в командировку мешок муки. Но этот мешок они завезли нам. Очень хорошо помню, как дедушка с рыжей бородкой держал меня на коленях и гладил по голове (я была очень похожа на маму). Этот

мешок муки и спас нас от смерти. Везде в траву, где можно, мама добавляла хоть горстку муки.

Народ на поселке был разный, но жили и работали все дружно: никакого воровства, разбоя, ссор мы не знали. Горе у всех было общее: как выжить. Дедушка у нас жил в будке, метров пятьсот от поселка. Охранял амбар с зерном. Есть было нечего. Он сделал крысоловку, ловил крыс, обрабатывал их, а мясо варил в консервной банке и ел. В 1936 г. он заболел, пришел домой и на третий день умер прямо на наших глазах. Бабушка дома жила редко. Больше приходилось жить в няньках, то у коменданта, то у заведующего школой, то у начальника лагпункта, то в деревне Березовка, за Усть-Язвой. Где появится ребенок, туда ее и звали. Она вела хозяйство, была хорошей стряпухой, водилась с детьми, и везде ей доверяли во всем. Живя у заведующего школой, она стряпала по выходным дням. Я знала это и часто в воскресенья заходила к ней. Она даст мне булочку и говорит: «Уходи скорей». Я была рада и этому.

Поселок наш был длиной с километр, четыре улицы. Посреди поселка была площадь. Там стояла комендатура, детский сад-ясли, школа, пожарная часть, клуб, магазин, пекарня, амбар на столбах. Площадь очищали от пней по воскресеньям — это называли субботник. Кто не выходил на субботник, про того частушки пели в клубе на сцене. С поселка выходить без разрешения коменданта было нельзя.

После развала колхоза все работали в лесу или на сплаве. Женщины ходили по берегу реки и следили, чтобы не было заторов на реке, так как разбивать их было трудно и опасно. В поселке была начальная школа. Я даже помню своего первого учителя. Его звали Георгий Георгиевич, он был высокий, худощавый — типичный грузин. Во втором классе я заболела малярией. Утром в школу шла здоровая, а на третьем уроке, всегда в одно и то же время, меня начинало знобить, а потом трясло. Меня отправляли домой. Я забиралась на печку, закрывалась шубным одеялом и долго не могла согреться. Часа через два мне становилось жарко, я слезала с печки, ложилась на нары, лежала открытая, и мне было жарко. Болела два месяца. Чем только мама меня не поила. Один раз она начала меня кормить вареньем, и я увидела в нем таракана. Оказывается, ее научили засушить тараканов и скормить мне с вареньем. После этого случая я не стала есть варенье. Таблетки хины были большие, глотать их я не могла. Тогда мама их разрежала пополам и чуть не с ремнем заставляла меня глотать их. Электричества дома не было. Уроки учили при копилке. Маленький, с палец, пузырек, из тряпочки свит фитилек, вот и все освещение. Уроки учили в основном тогда, когда мама топила русскую печь. Она хлопотала по своим делам, а мы стояли сбоку и учили устные

уроки. В долгие зимние вечера мама управлялась с хозяйством засветло, а потом мы все залезали на русскую печь и она нам рассказывала о своей жизни дома в деревне Притыка. Часов в восемь вечера мы спускались, мама затопляла подтопок, готовила ужин, а мы садились за стол и при коптилке готовили письменные уроки. Спали мы на нарах — в углу было отгорожено. На зиму мама туда засыпала картофель, так как в подполье весной заливало яму водой. Весной садили туда теленка недели на две. Зимой эту загородку закрывали досками. На досках лежал войлок, и вот тут под шубным одеялом мы и спали. Простыней у нас не было. Наволочки цветные. Мыло было не на что покупать. Темное бельё стирали щелоком. В кипяток насыпали из загнеты золы и плотно закрывали. Получался щелок, которым и стирали бельё.

Ольга и Алексей уже учились в пятом классе в поселке Булатово, в 25 км от нас. Мы с Толей помогали маме чем могли: мыли полы, подметали, приносили дрова. Мама рано нас приучала к работе. Особенно много работы было летом. В десять лет я уже доила корову. (В это время была куплена телочка на две семьи. Выросла, отелилась.) Корова жила у нас во дворе. Доили через день. Научилась косить траву. Отец сделал маленькую легкую литовку для меня. Научилась жать траву серпом возле пней или в лесу. Мыла полы, они были некрашенные. Приносила с речки со дна песок, сыпала им мокрый пол, вставала на колени и начинала тереть пол голиком (старый веник). Потом хорошо промывала его водой, и он становился желтым.

Все лето мы каждый день ходили в лес то по ягоды, то по грибы, то за листом для веников, то собирали траву в болоте, когда колхозники уже выкосят свои луга и смечут сено в копны. Дома меня оставляли только тогда, когда нужно было мыть полы или стирать. Стирать бельё для меня было очень тяжело, особенно мамины платья. У меня не было силы стирать или выжимать их. Пока Толя был мал, мы ходили в лес с мамой вдвоем. В одном месте был сосновый бор, это километра три от поселка. Там росли белые грибы. Мы их и варили, и сушили, и жарили. Делали большие запасы на зиму. Солили грузди, волнушки и путики. Лучшая еда зимой — это соленые грибы с картофелем отварным.

Отец с нами жил мало. Когда в наших местах вырубали строевой лес, заключенных отправляли на 3-ю командировку, за 13 км, затем на Мысью, за 25 км, а после — на Вильву, за 40 км. Отца переводили вместе с заключенными. Домой он приезжал один раз в месяц, привозил зарплату. Мама с папой жили дружно. Мы не слышали, чтобы они когда-нибудь ругались или спорили. Нашим воспитанием полностью занималась мама. Ее слово для нас было закон. Ей никто никогда не перечил. Но и

мама нас страшно любила и жалела, и все свои силы отдавала, чтобы облегчить нашу жизнь.

Когда Ваня с Павлом уехали в Пермь, то в письмах к ним папа называл их только птенчиками. Мама была совсем неграмотная. На поселке организовали ликбез (ликвидация безграмотности). По вечерам она ходила в школу. Сначала их научили писать печатными буквами, а потом и письменными. Читала по слогам. Письма потом нам писала каракулями, но мы понимали. Но в жизни она была очень умная женщина, работающая, чистоплотная, ласковая. Со всеми находила общий язык, прекрасно готовила и стряпала, она стряпала даже в буфет на выборы. Ее стряпню разбирали в буфете в первую очередь. Учила нас шить, вязать, вышивать. В 1937 году зимой в шесть часов утра на поселок пришли десять грузовых машин. По два милиционера заходили в каждый дом, выводили под руки хозяина дома и вели к машине. В тот вечер обошли все дома. Остался Плешков Иван Владимирович, Останин и наш отец. Мы отца тоже собрали, приготовили мешочек с едой и ждали, когда за ним придут. Мы с бабушкой попеременно выходили на улицу и смотрели, кого уводят. В шесть часов вечера уже было темно, машины включили фары, все враз загудели — и двинулись. За ними бежали женщины и дети с криком и плачем. Это было страшное зрелище. Вернулся домой только один Хрущ, и то без ноги. Кого расстреляли, кто погиб в тюрьме.

В пятый класс я пошла учиться на поселок Булатово, за 25 км от нас. И только теперь я поняла, что он был построен тоже спецпереселенцами. Я жила на трех квартирах, и везде были только матери с детьми. Мужской пол уничтожили не только у нас, а повсеместно.

Училась я плохо. Во-первых, в первый год я очень скучала по маме, а во-вторых, я плохо слышала. И, в-третьих, один учебник был на два-три человека. Уроки учили по очереди, договариваясь. Художественной литературы не было. Кино было немое, и то нас не пускали. Электричества не было. Темнело зимой рано, хозяйка в пузырьке и то сэкономила керосин. Домой ходили только по воскресеньям, пешком, в лаптях. В субботу поздно вечером придем домой, мама нагреет воды, нальет в корыто, вымоет меня, выстирает белье, а в воскресенье с обеда опять котомку на плечи — и обратно. За квартиру приходилось платить. Иногда в лагпункт привозили на грузовой машине продукты для заключенных. Мама узнавала и просила шофера подвезти нас на обратном пути, конечно, не бесплатно. Машины были полуторки газогенераторные. Силы у них было мало, на небольшую гору выезжали с трудом. Приходилось нам слезать с машины и толкать ее сзади. Как только в газогенераторе кончался газ, шофер останавливался, открывал у газогенерато-

ра крышку и совковой лопатой кидал в него чурку доверху. Чурка всегда лежала в кузове. Мы проезжали двадцать километров, а дальше по просеке, по тропочке пешком. Но машина была редкостью, а в основном мы ходили всегда пешком. Приходилось ходить и в холод, и в пургу. А морозы иногда доходили до 52 градусов. Об освобождении в такие дни мы и не мечтали. Рот и нос мама мне прикрывала тряпочкой, чтобы легче было дышать. Из глаз — слезы, изо рта — пар, из носа течет. Все закуржавеет, тряпка стоит колом, а открыть нельзя — в носу ломит. Если учились в первую смену, то уходили из дому в воскресенье после обеда, а если во вторую, то в понедельник с утра. В субботу после второй смены (а темнеет в четвертом часу) мы выходили в шесть вечера. Брали с собой кто спички, кто лучину, кто бересту. Все это держали наготове. Боялись волков. Когда шли по тропке, боялись идти первым или последним. Выходя на тракт, боялись идти с краю. Продукты питания носили из дома на неделю. Хлеб покупали в Булатове. И так всю жизнь всего боялись: опоздать на уроки — боялись, волков — боялись, лишнее слово сказать — боялись, пропустить урок — боялись.

Весной река Колынва, через которую мы переходили, разливалась. Мост с обеих сторон заливало водой. Приходилось переходить реку по затору. Вода в реке была черная, видимо, брала начало в болоте, дна не было видно. Половину реки переходили по затору, а другую — по отдельным бревнам. Ступишь на бревно, а оно погружается в воду, успевай ступить на другое, и так далее. Оступишься — пойдешь ко дну. Выпрыгнешь на берег — мурашки по коже идут. А за плечами у нас еще и котомки. Хорошо, что еще мальчики всегда переходили первыми, а потом подавали нам руку и выдергивали на берег.

В 7-м классе я осталась на второй год. На следующий год открыли 7-й класс в деревне Нижняя Язьва в бывшей часовне, в 10 км от нашего поселка. Второй год я училась хорошо и закончила 7-й класс на «4» и «5».

В 1941 г. я получила в г. Красновишерске паспорт, в котором стояла 58-я статья. Но я в то время не знала, что это значит.

Летом 1941 г., после окончания 7-го класса, я подала заявление в Чердынское педучилище. В этом же году нас, четырех девочек, вызвали в город Красновишерск на комиссию. Шел набор в Краснокамское ремесленное училище. Но за день до комиссии я получила из Чердыни вызов, что меня принимают в педучилище без экзаменов. На комиссии меня освободили. И опять котомку на плечи — и в путь. Но уже за 50 км. Ходила домой один раз в месяц. Уже шла война. Из дому на себе много не унесешь. Питались в основном капустой. Хлеб мы исципы-

вали во время уроков. В городской столовой варили щи из мерзлой капусты и 2—3-х кусочков картофеля. Первую зиму жила в общежитии. Зимой нас заставили готовить дрова для общежития по 10 кубометров на человека. Разделили на группы. Учились почти одни только девочки. В группе 6 человек. Дали топор, пилу. Привели в лес по пояс в снегу. Показали, где дерево подрубать, куда будет оно падать. Деревья очищали от сучьев. Сучья складывали в кучу. Дерево распиливали на метровник. Складывали в поленницу сырые метровые кряжи. Приходил представитель, принимал работу. Ни стона, ни жалоб от нас никто не слышал, мы знали, что надо терпеть и молчать.

Когда я пошла учиться в Булатово, Ольга уже закончила 7 классов и уехала учиться в Пермь. Она поступила в строительный техникум и жила в одной комнате с Ваней, а осенью того же года уехал в Пермь и Алексей. Из детей дома остались я и Анатолий.

В 1937 г. Павел женился на девушке из детского дома. В 1938 г. у них родился сын Володя. В 1939 г. Павла призвали в армию, и жену с ребенком он привез обратно в Пермь на старую квартиру. Сноха устроилась на Дзержинский завод лаборанткой. На работу уходила рано, так как транспорта тогда еще не было. Володю в ясли носил Ваня или Алексей. И брали из яслей тоже они.

Павел служил в Армении, в городе Ленинкане.

В 1940 г. мы с мамой и Анатолием приехали в Пермь. В это время пришла повестка Ване идти в армию. Мы проводили его. Теперь Володю некому стало носить в ясли. И мы решили его взять с собой на выселку. Ему был 1 год 8 месяцев.

В то время у нас стало жить легче. Мы получали хлебные карточки, у нас была корова на две семьи, выращивали поросенка, были овечки, курочки, а главное — свой картофель. В лесу было много грибов, собирали ягоды: чернику, бруснику, морошку, землянику, малину. Варенье варить — не было сахара. Чернику сушили, а зимой варили кисели. Бруснику собирали осенью после заморозков. Тогда она сладкая и не портится. На чердаке стояли 2 длинных ящика. Один на колене трубы, а другой рядом. Ягоды зимой замерзали. Вкус замерзших ягод не меняется, когда они растают. Обычно мама толкла бруснику, немного сыпала сахара, а мы картофелем макали в ягоды и ели. Хлеба у нас всегда не хватало. Сырой картофель терли на терке и пекли на углях в сковородке оладьи — драники — и тоже макали в ягоды. Из картофеля мама делала и холодец: сварит картофель, истолчет, наложит на тарелку ровненько, а когда остынет, помажет сверху горчицей, разрежет на кубики, как холодец. Какие кисели она только не варила! Сахару было мало, так она сварит без сахара, выльет на тарелки, а когда ставит на

стол, сверху посыплет сахарком. Мы должны были черпать не сверху, чтобы сахар доставался всем поровну.

Начальнику лагпункта мама каждый день давала 1 литр молока для ребенка за 400 г хлеба. Но договаривалась, чтобы карточку хлебную он давал тогда, когда кто-нибудь из детей придет к ней в гости из Перми.

Отец с нами жил мало, и мы с Анатолием, как могли, помогали маме по хозяйству. Летом копали огород, садили картофель, окучивали, поливали. Ходили в лес, собирали траву серпом, носили ее домой, а возле дома сушили. Однажды мы насобирали в лесу много — воза три. Пересушили. Папа приехал домой, сбил плот, повыше положил слегы, чтобы сено не замочить. Заранее вбили колья, где мы должны были приставать. Папа ушел раньше. В назначенное время мы шестами оттолкнулись от берега и поплыли вниз по реке. Плот все время делал круги, но мы следили, чтобы не сесть на мель. Когда подплыли к месту, бросили отцу конец веревки. Он стал быстро закручивать за кол, но кол стало выворачивать (в этом месте был поворот и быстрое течение), но отец задержал плот. Сено выносили на крутой берег и сметали два зарода. Зарод метала мама, а я стояла наверху. Обычно зароды она метала красиво, а потом любовалась своей работой. Если лето было сырое, трава плохо просыхала, то стожары мама ставила суховатые, сено ложилось неплотно, и она его еще подсаливала. Сквозь зарод можно было протянуть руку, и его продувало ветром. А потом по первому снегу на санках сено перевозили домой.

Вырастили из телочки корову, и тогда коров разделили. Одну Плешковым, а другую нам.

Проучившись в Чердыни два года, я больше была не в силах ходить в техникум за 50 км. Однажды в техникуме я поймала чесотку. Меня отпустили домой на три дня. Вечером мама меня смазывала, утром мыла и грязное белье стирала, и так три дня. Через три дня я собралась идти обратно. А вечером пришел домой отец, а с ним его помощник — паренек с Данилова луга. Он работал у папы помощником. Утром мама нас накормила, и мы отправились. А ночью навалило столько снега, сплошная целина. Вышли в 6 часов утра. Он-то свободный, а у меня котомка за плечами и бидончик с молоком в руках. Он пошел впереди, прощупывая дорогу палкой. Сойдет с дороги, утонет по пояс в снегу и кричит: «Сюда не ходи». А темно. Так мы с ним прошли 26 км до поселка Данилов луг, где он жил. Время уже было 4 часа (шли 10 часов). Он дошел до дома, а мне еще идти километров 20 до Чердыни. Дороги я туда не знала, так как никогда по этой дороге не ходила. Я спросила у прохожих, не пойдет ли кто в Чердынь, а они ответили: «Вон видишь речку переходят 11 человек. Это и есть дорога туда». Я посмотре-

ла — в конце поселка переходят по льду люди, которые мне кажутся величиной с человеческий палец. Я уже страшно устала, но останавливаться нельзя. Уже темнеет, и я, согнувшись в три погибели, прибавила шагу. Догнать я их, конечно, не надеялась, ведь они шли с новыми силами, а я уже прошла 10 часов по целине. Я шла с одной мыслью, что впереди меня идут люди. Дошла до реки Колвы, перешла по льду, а в гору я не знаю как поднялась (Чердынь стоит на высоком берегу), вероятно, ползком. Пришла в общежитие в 12 часов ночи. Положила котомку и упала в одежде на кровать. Так и проспала в одежде и в обуви как убитая.

Прочувшись в Чердыни два года, я тоже решила ехать в Пермь. Это был 1944 год. Шла война.

Когда началась война, Павел прослужил в армии почти два года, а Ваня один год. И их с первого дня отправили на фронт. И были на фронте с первого и до последнего дня. Не посчитали, что они дети врагов народа.

Ваня воевал на западном направлении. Был в концлагере, сделал три побега. Жив остался чудом. В концлагере в столовой работал мужчина из Перми. Он и спас его, принося тайком ему объедки. Когда американцы их освободили, их снова отправили на передовую. С фронта он пришел больным. Через месяц у него лопнул желудок, сшивали. Потом вывели в бок прямую кишку, с которой он ходил 27 лет. И за два года до смерти вывели трубку из мочевого пузыря. Жена его умерла раньше на 6 лет. Детей у них не было. Последние два года за ним ухаживала я. Через неделю после смерти пришло извещение из военкомата, что он награжден орденом Жукова.

Павел шел по направлению к Ленинграду. Был в окружении 8 месяцев. Были легкие ранения, но остался живым.

Сколько слез пролила мама, сколько молитв она прочитала, пока от них не было известий. О войне они дома никогда ничего не рассказывали.

В 1944 г. по приезде в Пермь я поселилась в комнате Вани (7 кв. м). В то время в ней жили сноха, Алексей и Ольга. Я четвертая. Двое спали на кровати, один на ящике, согнувшись вдвое, и одна на полу. Скоро Алексей женился и ушел с женой на квартиру. Ольге на заводе дали комнату (6 кв. м) с подселением. Сноха осталась в той комнате одна, сестра взяла меня с собой.

В Перми меня не прописали, потому что в паспорте стояла 58-я статья — враг народа. Хлебную карточку не дали, и год я жила на иждивении сестры. Но мы в это время не жаловались, а молча, со слезами, переносили все, что приготовила для нас судьба. Мы в детстве ничего, кроме даров леса, не видели.

Во время зимних каникул я ездила к маме. Она подкапливала топленого масла, сушеных грибов, сушеного картофеля. Да

и что можно привезти зимой, когда от дома до поезда было 50 км? Сушеный картофель жевали вместо конфет.

Однажды сестра попросила меня купить арбуз. А я купила тыкву. Иду и радуюсь, что так дешево купила. Встречные спрашивают, где купила тыкву, а я думаю, почему они говорят про тыкву, ведь я купила арбуз. Раньше мы фрукты даже во сне не видели.

В 1945 г. братья пришли с фронта. Я рассказала Ване о своем горе. Он взял мой паспорт, сходил в паспортный стол, объяснил, почему стоит статья, и получил тут же мне новый паспорт. И я стала получать хлебную карточку.

После прибытия с фронта братья сразу поехали на Котомыш попроведать родителей и взять Володю: ему уже было 7 лет и пора идти в школу.

Они несколько раз ездили туда, чтобы помочь родителям заготовить сена для коровы. Когда уже все уехали оттуда, мама сено и дрова возила на корове и огород тоже пахала на корове.

Когда Володя закончил 4-й класс, стал проситься в гости к бабушке. Он ее называл мамой. Павлик предлагал ему путевку в пионерлагерь, но он настоял на своем. Мама Володе запрещала без взрослых ходить на речку купаться, но однажды он не послушался и с сыном директора школы тайком от мамы убежал на реку. В тот роковой день он и утонул. Нашел его папа. Семь дней фельдшер маму держал на уколах, усыплял ее, так как она рвала на себе волосы — зачем Володя приехал к ней умирать? На седьмой день его нашел папа, он плыл под бревном стоя. Как только маме сказали, она потеряла сознание. Собирали в Пермь. Павлик на машине увез сына домой. Похоронили его на новом кладбище у церкви. Впоследствии маму похоронили рядом с ним в той же оградке.

После этого сыновья уговорили родителей поехать жить в Пермь. Алексей купил старый дом. Родители зарезали корову, свинью и решили ехать. Отцу лес не понравился для дома, купили новый материал. Все свои сбережения они потратили на строительство нового дома. Отец сам строил, и помогали наемные рабочие. Хозяйкой дома стала сноха, Алексей был слабохарактерный и против нее ничего не мог сказать. Сделали три комнаты и кухню. Одну комнату большую и две маленькие. В большой жили сами. Одну маленькую сдавали, а другую маленькую — отцу с матерью, и с ними жил Анатолий — младший сын. В комнате родителей стояли кровать, ящик, на котором спал Толя, и стол со стулом. В сенках тоже сделали комнату, оштукатурили и сдавали квартирантам. Родители привезли центнер мяса. Каждый день стряпали пельмени или пироги. Через год мясо съели, и родителей отделили. Отец получал пенсию 40

рублей, а мама 4 рубля за уход за ним. Мы, дети, помочь им не могли. У меня тоже зарплата 40 рублей. Была неустроенность в квартирном вопросе.

Мы с сестрой вышли замуж. Пошли дети. Наши мужья-фронтовики пили, воспитанием детей не занимались. И все это снова легло на наши плечи.

Анатолий закончил нефтяной техникум, женился. Жил с женой на квартире.

Родители обо всех нас переживали. От такой неустроенности в жизни в 1959 г. маму парализовало, и на третий день она умерла.

Анатолий устроился на нефтеперерабатывающий завод. Два раза ездил в Челябинск на переподготовку, после чего от него ушла жена, так как после службы в Челябинске многие мужчины становятся недееспособными в жизни, в семье. Толя взял к себе отца. Отец очень скучал по маме, частенько выпивал рюмочку с сыном и покуривал, чего ему было нельзя. Прожив 6 лет после смерти мамы, он скончался.

В 1946 г. я закончила Пермское педучилище и была направлена на работу в Краснокамск в школу № 2. Но и там было мало радости. Квартиры не было, а требовать что-то я не могла (нас воспитывали в таком духе: терпеть, молчать и не говорить лишнего). Отгородили в классе угол (как делала раньше мама для новорожденного теленка). В дровянике (тогда топили печи в школе дровами) нашли железную старую кровать, вместо стола — старую урну, выброшенную деревянную скамейку. Матрац набили бумажной стружкой. Через год дали комнату 10 кв. м, в деревянном доме. С этим приданым через два года я и вышла замуж. Свекор меня любил, свекровь — нет, я была бедная, дать ей ничего не могла. Она надеялась, что мои братья построят ей хоромы. А они сами жили на квартирах и кое-как сводили концы с концами. Муж после армии работал на нефтеперерабатывающем заводе оператором.

Через 10 месяцев родился сын. Мужу дали комнату с подселением. В квартире жили три семьи. Печь на кухне топили углем. Туалет на улице. Но было паровое отопление.

Работать я перешла в школу № 6. Яслей не было. Сначала нанимала няньку, а когда сыну было три года, часто оставляла его одного или брала с собой на работу. Но урок вести он мне не мешал.

В 1954 г. мы переехали в Ново-Иваново, где жили родители мужа. Мне пришлось ходить на работу в Краснокамск. Расстояние 6 км. Дороги от города до деревни не было. Ходила только грузовая, крытая брезентом вахта, которая возила рабочих на Оверятский кирпичный завод. Дорогу перейти — нужны были болотные сапоги. Ходили все по нефтяной трубе с палкой.

Свекровь старшего моего сына не любила. Когда я уходила на работу, она его выталкивала за ворота (а ему было всего 5 лет). Вечером, приходя из Краснокамска, я шла по деревне и искала сына. Занятия во вторую смену кончались поздно, уже темно. Я заходила в магазин, брала хлеб, продукты, так как в деревне еще не было магазина.

В колхозе нам дали корову, которая с отелу давала 5,5 литра молока. Но я и этому была рада.

Вечерами, когда я готовилась к урокам, дети всегда сидели у моих ног на полу и рассматривали книги (детских книг мы им покупали много). Однажды я решила проверить Володю. С пяти лет он начал читать букварь. Написала на листе бумаги в начале строчки буквы, слоги. Он написал прекрасно. Я пошла в горно и попросила инспектора принять его в 1-й класс (ему было 6 лет). Она согласилась. Учился он прекрасно, был отличником.

Но жили трудно. В отцовском доме жить стало невозможно, и старики построили себе маленькую избушку. Старый дом пришел совсем в негодность. Ткну палец в паз, и он будет на улице. Печь битая — развалилась пополам. Дом сгнил. У родителей кровать поставить некуда, а у меня двое маленьких детей. Спали мы в конюшне. Постелем на остатки сена полог и спим. Но дело шло к осени. Приближался сентябрь. Пошла я обивать пороги в горком партии, чтобы отремонтировали дом. Добилась.

В 1959 г. у меня родилась дочь. Обрато в Краснокамск мы вернулись в 1966 г. Муж устроился на завод, а я поступила в школу-интернат. Проработала еще 13 лет. И 5 лет работала в детском саду, будучи уже на пенсии.

Я проработала учителем 40 лет и не имела ни одного замечания. Получала благодарности и почетные грамоты. Ветеран труда. Имею медаль за труд в годы Великой Отечественной войны.

Дети у меня хорошие. Я им дала кулацкое воспитание. Выполняют любую работу, мужскую и женскую, независимо от пола.

Старший — подполковник МВД. Закончил строительный техникум, школу МВД, Московскую академию МВД, заочно пединститут. Всю жизнь работал и учился. Сейчас на заслуженном отдыхе, но продолжает работать, воспитывает двух сыновей.

Второй — инженер копировальных машин. Сын его учится в университете на историческом факультете.

Дочь работает экономистом.

Растут три внука и внучка.

Вот так и доживают кулацкие дети.

1999 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...О войне я узнал утром 22 июня 1941 г. по радио. Как мне помнится, по радио выступал Молотов. Он сообщил, что фашистская Германия напала на СССР и с 4 часов утра бомбит города страны.

На 22 июня был назначен футбольный матч на стадионе «Химик», и я пошел узнать, будет ли игра. Спортсмены уже знали о войне и решили этот воскресный день провести в кругу семьи: вероятно, многие из них будут призваны на защиту Родины.

24 июня наш кассир была на городском комсомольском собрании, где им предложили наблюдать за населением Березников: не распространяются ли панические слухи, как реагируют на нападение Германии, сдаются ли радиоприемники органам НКВД. И о всех этих враждебных действиях против СССР доносить немедленно органам НКВД.

Числа 25—26 июня пошли аресты знакомых мне граждан Березников. Начальник отдела снабжения Бушуев сказал мне, что арестован начальник финансового отдела содового завода Семен Александрович Шиша, которого он знал с детских лет. Затем каждый день приносил известия о новых арестах: Химича П. Ф., ответственного исполнителя отдела снабжения треста СУТС; Трошина М. Я., старшего инженера Березниковского Промбанка; Постоловского Д., начальника отделения упарки хлорного завода «Сода»; Шпака Г., инженера хлорного завода; Фролова Д., слесаря силовой № 2 БСЗ; Голубевой А. И., медсестры поликлиники; Овчинникова, директора Усольского костного завода; Ковалева И. В., юрисконсульта калийного комбината; Мельникова Н. В., мастера РМЦ содового завода (моего брата).

И еще много березниковских граждан было арестовано в 1941 г. После ареста брата я понял, что репрессии эти — хорошо спланированная государственная политика, так как арестованы были дети купцов, служителей культа, дворянки, воспитанницы института благородных девиц, дети раскулаченных крестьян, лица, бывшие в германском плену в первую мировую войну. В основном им всем предъявлялась статья 58-10.

Я ждал ареста, и не ошибся.

* Герман Васильевич Мельников (р.1908). До ареста работал бухгалтером в тресте «Березникхимстрой», главным бухгалтером на строительстве калийного комбината.

Арест. Березниковская тюрьма. Суд

В 2 часа ночи 14 июля 1941 г. я услышал стук в дверь. Быстро одевшись, я разбудил жену и открыл дверь. На площадке стояли один человек в мундире НКВД, два человека в милицеевских мундирах, за ними я увидел двух соседей по квартире. Оперуполномоченный предъявил ордер на арест.

После обыска и оформления документов он сказал: «Возьмите с собой одеяло, простыню, пару белья и, если есть у вас маленькая подушка, то и ее». Посмотрев на спящих детей и поцеловав жену, дрожавшую в нервной лихорадке, я в сопровождении трех представителей власти вышел из квартиры.

Меня поместили в камеру № 13 в подвале дома № 13 по ул. Пятилетки. Я сел на кровать и старался осознать арест и все последствия от него для семьи и меня. Познакомился со всеми обитателями камеры № 13. Их было четверо. Все они были арестованы после 22 июня 1941 года. Всем им уже были предъявлены предварительные обвинения по ст. 58-10, ч. 2 Уголовного кодекса РСФСР. Я был поражен вздорностью этих обвинений.

Только на четвертый день в 12 часов ночи я был вызван на первый допрос. Следователем оказался А. И. Краев. «Вы, при обращении ко мне, должны говорить «гражданин начальник», сидеть на стуле с прямой спиной, положив руки на колени». Когда я сел на стул по правилам НКВД, я спросил: «Гражданин начальник, что за причина, повлекшая мой арест? Вероятно, опять мое непролетарское происхождение и три ареста в советское время моего отца?» — «Нет, отец ваш ни при чем. Дело касается вашей контрреволюционной деятельности». — «Моей?!» — «Да-да, вашей. По ст. 58-10, ч. 2 (военное время) УК. Слушайте ее содержание: «Призыв к свержению советской власти или распространение литературы того же содержания, или иные действия, влекущие за собой подрыв советской власти. Наказание от трех лет до расстрела». Вот вам предварительное обвинение по вашей враждебной деятельности». С этими словами он вручил мне лист бумаги с напечатанным на машинке текстом. Я взял обвинение и стал его читать. Краев наблюдал за моей реакцией. Закончив чтение, я сказал: «Это несерьезное обвинение. Три пункта обвинения не имеют призыва к свержению мной советской власти, это обычный разговор о двух кинокартинах «Петер» и «Чкалов». Что касается третьего пункта о мощности авиационных бомб, то это говорил инструктор горкома ВКП(б) у нас в дирекции БКК-1, делая доклад о международном положении». Краев жестко сказал: «Раз мы вас арестовали, то мы рано или поздно докажем вашу вину. Допрос окончен».

Допрос меня озадачил. Откуда следствию известны мои раз-

говоры на кухне наедине с женой? Версия, что жена передала органам КГБ эти разговоры, отпадала. Установлено в кухне подслушивающее устройство? Тоже сомнительно. Остаются соседи. С Вереникиными мы прожили дружно 7 лет, и никаких столкновений у наших семей не было. Оставалась еще одна соседка, поселившаяся в маленькой проходной комнате в начале 1941 года. Разговоры на кухне вполне слышны были в комнате новой соседки. Мне стало ясно, что донос на меня был сделан Еленой Дмитриевной Поленовой. Я был ее очередной жертвой.

Пошли утомительные допросы. Режим содержания ужесточился. Помимо обычных выводов на допросы, голодного «питания», нас всех, «контриков», поставили на «конвейер». Ни ночью, ни днем нам не давали спать. А если ты днем начинал дремать, в камеру врываются надзиратели и всех поднимают на ноги и держали в положении стоя минут 10—15. Еще в начале допросов я услышал крик нашего юрисконсульта И. З. Ковалева, идущий из соседнего кабинета: «Я вам не буду давать никаких показаний, пока здесь не будет прокурора, давшего ордер на мой арест!» — «А, не будешь? Вот мы сейчас покажем тебе прокурора!» Послышался шум падающего стула и, вероятно, Ковалева на пол. Мой следователь Краев выскочил из-за стола, на ходу бросил надзирателю: «Смотри за ним», — и устремился в соседний кабинет. Крики Ковалева и ругань сбежавшихся продолжались не менее получаса. Я с содроганием думал, что мой отец, брат Николай, да и я, не защищены от таких истязаний. В это время вошел Краев, сказал: «Вот это был допрос так допрос! А я вот с вами деликатничаю».

О себе я уже не думал. Не давала покоя мысль: что с семьей? Не репрессирована ли жена? Или к ней применили более «мягкие» гонения?

Между тем, бессонные допросы продолжались.

Краев: Говорили ли вы, что в связи с возникшими трудностями в Березниках — с хлебом во время финской войны и большими очередями — возмущенные люди пойдут громить горкомы ВКП(б) и горисполкомы?

Я: Возможно, и говорил, вспомнил аналогичные ситуации в Петрограде в 1917—1918 годах. Впрочем, спросите очередь, где я выступал.

Краев: После просмотра австрийской кинокартины «Петер» дома, на кухне, вы сказали жене, что при выходе из кинотеатра «Авангард» вы услышали мнение о картине одного зрителя, что в Москве он видел картину с другим концом: там молодой буржуа женится на бедной крестьянской девушке, а у нас, в Березниках, картину выхолостили, не желая показать благородный поступок молодого буржуа.

Я: Да, я пересказал мнение неизвестного мне зрителя жене и, вероятно, вашему сотруднику.

Краев: В изъятой у вас книге немецкого писателя Л. Фейхтвангера «Москва 1937 года» есть высказывания о культе личности И. Сталина. Ваше мнение по этому вопросу?

Я: В книге «Москва 1937 года» есть ответ самого И. В. Сталина. Писатель обратил внимание на облик безвкусовых памятников, картин и бюстов вождя: «Вчера я посетил выставку античной скульптуры и, что мне бросилось в глаза,— это был ваш бюст!» Иосиф Виссарионович заметил, что этим занимаются дураки и подхалимы, ему это тоже не нравится.

Краев: Вы распространяли панические слухи среди сотрудников калийного комбината. С какой целью?

Я: Если вы имеете в виду военные успехи Гитлера на Западе, то об этих успехах буквально кричала вся наша пресса: создание парашютно-десантных дивизий, разгром англо-французских войск у Дюнкерка. Вести о сосредоточении германских войск на границе прибыли вместе с рабочими, приехавшими в трест «Севералтжстрой» в порядке оргнабора рабсилы из Белоруссии (бывшей Польши) в декабре 1939 г. Затем в апреле 1941 г. евреи, бежавшие из Польши в Москву, сообщали, что Гитлер сосредоточил на границе с СССР уже 125 дивизий. Что касается моего распространения «панических слухов», то пусть покажут помещение, время, где я занимался «агитацией».

Краев: Как вы относитесь к займам?

Я: Нормально. Подписывался на облигации займа в размерах, установленных Наркомфином СССР.

Краев: Одобряете ли вы политику партии ВКП(б) в деревне?

Я: Деревни не знаю. Уехал из деревни 3 декабря 1926 г. в Березники.

Надо сказать, что новое обвинительное заключение, вероятно, не было утверждено Пермским управлением НКГБ и возвращено в Березники вместе с делом за недостаточной аргументацией моей вины, дающей право на привлечение меня по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР.

Между тем, следователь Краев развил бурную деятельность по допросу сослуживцев, моих знакомых. Опрошено было около 15 граждан, которые не подтвердили, что я агитировал против советской власти. Очные ставки тоже не дали желанных результатов следствию. Краев кричал: «Вы пустили следствие по ложному следу!». В одну из бессонных ночей Краев, шагая по кабинету, заявил: «Вот вы упорствуете, не признаетесь в своей деятельности против советской власти, а знаете, что сказал наш лучший пролетарский писатель А. М. Горький?» Я сказал: «Нет». — «Так я вам скажу: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Я ответил: «Вероятно, Горький пожалел об этом высказывании в своей загробной карьере». — «Как вы сказали?» — «Неужели, гражданин следователь, вы полагаете, что Горький, давший этот девиз об уничтожении своих идейных противников, будет популярен в будущем? Во время обыска у меня изъяли 13 книг, в том числе «Москва 1937 года», три журнала «Новый мир» с романом «Человек меняет кожу» Б. Ясенского. Я уверен, что эти книги вы уничтожите. Но разве можно уничтожить дух, гуманность мысли в книгах, которые прочел уже весь

мир?! Слава, признание Фейхтвангера, Бруно Ясенского и после их смерти будет расти».

В официальный протокол этот разговор с Краевым не вошел.

Прошло три месяца. В конце октября 1941 года меня привели на очную ставку с Воскобойниковым, моим подчиненным, старшим бухгалтером производственного отдела бухгалтерии Калийного комбината. Тот утверждал, что я рассказал анекдот, высмеивающий девиз партии ВКП(б) «Догнать и перегнать Америку!». Я отрицал его показания.

Все товарищи по камере уже были осуждены и этапированы. Я ждал суда в одиночестве до 28 ноября 1941 года.

Судья Смуров зачитал обвинительное заключение и спросил меня, признаю ли я себя виновным в предъявленных обвинениях. Я сказал: «Нет! В материалах следствия не было ни одной даты, места и бочки, с которой я проводил агитацию и пропаганду против советской власти». Смуров обратился к секретарю: «Пригласите свидетеля». Свидетель Воскобойников сказал: «Он рассказал анекдот, в котором И. В. Сталин представлен в смешном виде, в трусиках». Я спросил председателя суда, можно ли задать вопрос свидетелю. Получив разрешение, я спросил: «Как вы поняли этот анекдот, как политический или пикантный?» — «Конечно, как политический!» — «И второй вопрос: где и когда вы слышали от меня этот анекдот?» — «Числа 18 марта мы шли с работы через колхозный рынок и зашли в пивной ларек, где во время распития кружки пива вы и рассказали анекдот». Я сразу обратился к председателю суда: «Прошу вас занести в протокол судебного заседания показания свидетеля Воскобойникова, а именно, что анекдот он слышал 18 марта 1941 г., то есть не в военное время». Тут воспрянул мой защитник Гагин: «Уважаемый председатель суда, уважаемые народные заседатели, я поддерживаю ходатайство своего подзащитного». Далее в своей речи защитник сказал: «Уважаемые судьи! Материал следствия не выдерживает в некоторых случаях критики. Я имею в виду, что нет дат и мест пропаганды, всего один свидетель, к тому же его подчиненный. В этой ситуации я считаю недопустимым применить к Мельникову ст. 58-10, ч. 2 (военное время), так как это не подтверждается материалами дела, а в ходе судебного расследования свидетель Воскобойников показал, что анекдот ему Мельников рассказал 18 марта 1941 года, то есть в мирное время».

Судебная коллегия Молотовского облсуда учла, что следствие и судебное разбирательство не установили моей вины — агитации и пропаганды в военное время, поэтому определила вину по статье 58-10, ч. 1, т. е. в мирное время, и определила меру наказания: 10 лет заключения в трудовых колониях и ла-

герях и 3 года поражения в правах. Услышав приговор, я подумал: «Чашу придется выпить до дна».

Этап и Соликамская тюрьма

30 ноября 1941 года по команде я был подготовлен к этапу. На станции Усольская я стоял около здания депо, когда ко мне подошел один гражданин из нашего этапа и сказал: «А я вас знаю. Вы Мельников, брат Мити Мельникова. Я бывал в вашей квартире в Усолье несколько раз. Вы по какой статье осуждены?» Я ответил. Он сказал: «Плохо вам будет. А я уже отсидел 5 лет в лагере в Нижней Туре. Приехал домой в Ленву, а тут вскрылись дела, за которые я снова загремел. Держитесь пока около меня». Подошел поезд. Наш небольшой этап сел в последний столыпинский вагон с решетками.

В Соликамске нас уже ждал конвой с собаками. Начальник конвоя предупредил, что при движении колонны, если заключенные сделают шаг вправо, шаг влево, конвой будет стрелять без предупреждения. Позднее это предупреждение мне пришлось слышать не раз.

Знакомство с лагерной жизнью продолжалось. В помещении приема этапов при Соликамской тюрьме мы сдали в камеру хранения все крупные вещи: чемоданы, рюкзаки, мешки и т. д. Затем приказали раздеться донага и тщательно обыскали одежду и обувь. Смысл этого «шмона» — чтоб заключенные не пронесли в камеру нездоровые вещи. Когда обыскивали мою одежду, я увидел на столе гору денег, карты, перочинные ножи, лезвия, часы и другие вещи. В бане выдали с ноготок мыла и тазик теплой воды. Я был в затруднении: как эффективнее использовать эти ничтожные моющие средства? Но бывалые люди не терялись, а быстро с мылом помыли руки и лица, а оставшейся водой окатили туловище. То же сделал и я.

Мой ленвенский покровитель проявил расторопность и, войдя в карантинное помещение, первым безапелляционно объявил себя старостой камеры. Он положил свои вещи в угол, на нары, недоступные обзору в «волчок». Я свои вещи положил рядом. Однако староста сказал, чтоб я занял четвертое место, а не второе. Третье место заняли парни лет 26—28, вероятно, имевшие уже не первую судимость.

Не прошло и часа, как два молодых парня стали собирать бумагу для изготовления карт. Кто-то сделал клей из вареной картошки, кто-то готовил краску из резины. Нашлись квалифицированные парикмахеры, которые усердно и терпеливо правили лезвие перочинного ножа до бритвенной тонкости. Через несколько часов наша камера резко помолодела. Но я еще больше удивился, когда самодельные карты были изготовлены. Наш

угол нар оказался банкометным столом, и на нем лежали груды денег! Как могли пронести в камеру деньги при таком тщательном осмотре?.. Мне тоже предложили сыграть, но я отказался, сославшись на отсутствие денег. На третий день утром, когда раздавался хлеб, одному заключенному не досталось пайки. Староста крикнул: «Хлеб не есть! Положить пайки перед собой, я сам проверю». Идя по ряду сидящих эков, он считал пайки. Вдруг его взор обратился на стоящего у «параши» узбека в солдатской шинели, державшего в руках свою пайку. Староста резко распахнул шинель, и многие увидели вторую пайку, зажатую под рукой. Староста крикнул: «Бей его!» И тотчас соскочили с нар несколько молодых ребят и стали избивать узбека. Били до тех пор, пока староста нескомандовал: «Хватит, затолкните его под нары и пускай он там отлеживается». Затем староста сказал: «Запомните! Хлебная пайка заключенного священна и неприкосновенна. Только она сохраняет жизнь человека в заключении. Узбек нарушил этот закон, за что и был наказан»...

Карантин закончился, и меня перевели в камеру политических. Едва я сделал два шага в новой камере, как услышал: «Герман Васильевич! Пробирайся к нам сюда, к окну». В камере было так много заключенных, что, как говорится, яблоку негде было упасть — везде сидели и лежали полуголые люди. Было душно и жарко. Добравшись до окна, я встретил двух очень близких по работе сослуживцев: главного бухгалтера Усовского подсобного хозяйства (азотчиков) Смирнова и ответственного исполнителя — товароведа треста «Севуралтяжстрой» Химича. Оба были уже больны, истощены. На другой день их хотели поместить в тюремную больницу. Утром я простился с ними, а их, еле живых, перевели в больницу.

Я стал знакомиться с соседями по камере. Большинство были латыши, меньше эстонцев, еще меньше литовцев. Прибалтийские товарищи по заключению были арестованы в июне-июле 1940 года и в декабре 1941-го, худые, изможденные, они были кандидаты в тюремную больницу. Русские эки выглядели лучше, так как были арестованы в начале войны. Большинство русских — бывшие военнопленные в Германии в первую мировую войну.

В нашу камеру стали помещать заключенных по всем подпунктам 58-й статьи, в том числе и по пункту 14 (дезертирство). В военное время побеги заключенных из лагерей и колоний суды стали рассматривать как дезертирство с трудового фронта. Так попали в нашу камеру три рецидивиста, которые стали терзать нашу сравнительно спокойную жизнь.

Среди заключенных в нашей камере были крестьяне (колхозники) Соликамского и Красновишерского районов, которым родственники делали продуктовые передачи. Со стороны реци-

дивистов были попытки распотрошить мешки с продуктами. Однако хозяева бдительно их охраняли. И все же, едва они отошли от своих мешков, уголовники быстро схватили два мешка, развязали их и все содержимое высыпали на пол. Что тут было! Полуголая голодная толпа, увидев горки рассыпанных ржаных сухарей, бросилась их хватать, жадно засовывая в рот. Увидев это зрелище, староста камеры Клейст, сидевший с 1938 года, бросился к барахтающимся людям с криком: «Разойдись! Покалечу!» И безумие кончилось. В камеру вошли надзиратели. После разбора этого события трое уголовников были посажены в карцер и больше в нашу камеру не возвращались. Я был потрясен увиденным. Староста Клейст считал, что голодный человек может пойти на любое преступление. Особенно я удивился латышам — это были профессора, доценты, юристы...

23 декабря 1941 г. меня вызвал надзиратель и сказал, чтоб я шел с ним в камеру хранения и взял свои вещи, так как назначен на этап в г. Пермь. Меня перевели в центральную часть монастырского храма, где была соликамская тюрьма. В храме уже стояла группа из восьми заключенных, в числе которых две женщины, знакомые: Мария Яковлевна Трошина, старший инженер березниковского Промбанка, и Анна Ивановна Голубова, медсестра березниковской поликлиники.

В столыпинском вагоне 30 декабря 1941 года мы прибыли в Пермь. В камере пересыльной тюрьмы было не много заключенных, и мы вместе с К. С. Старцевым, бывшим бухгалтером, с удовольствием ходили по просторной камере.

Вечером того же дня нас со Старцевым вызвали в комендантуру пересыльной тюрьмы, где заседала комиссия по распределению прибывших заключенных на работу в промколонию № 1 НКВД г. Перми. Расспросив нас о работе до ареста, главный бухгалтер промколонии № 1 Койфман сказал, что он берет меня и Старцева в бухгалтерию колонии.

Промколонию № 1

Каково было мое удивление, когда нарядчик 2 января привел меня в строительный отдел колонии! За чертежными досками стояли, сидели знакомые люди: Леонид Петрович Липатов, начальник проектной группы ЦИТАК по Пермской области (до ареста он работал начальником Краснокамской строительной конторы треста «Севуралтяжстрой»). По краснокамскому групповому делу, как я узнал позднее, было арестовано 9 человек, в том числе: Митин, главный инженер треста № 29, главный инженер дирекции строительства «Гознак» Колесниченко, начальник ЖКО Королев, старший прораб (фамилию забыл) и другие.

В строительном отделе работали технический директор Березниковского химкомбината Василий Федорович Чернов, арестованный в 1938 году, старший инженер Березниковского Промбанка Мария Яковлевна Трошина. Все знакомые дружески поздоровались со мной. В отдел пришел заместитель главного бухгалтера промколонии и передал мне все касающееся учета и отчетности по капитальному строительству. Я быстро сделал годовой отчет по капитальному строительству колонии. Главный бухгалтер Койфман был очень доволен.

Промколония № 1 НКВД организовалась на базе бывшей Екатеринбургской этапной тюрьмы. Тюрьма была построена в XVIII веке на Сибирской улице, за заставой, где начинался знаменитый Сибирский тракт. До войны территория колонии расширилась и ограничивалась кварталом: ул. К. Маркса, П. Осипенко, Газеты «Звезда» и Красноармейской. За пределами кирпичных стен были построены два бревенчатых цеха по производству резных гвоздей. Когда началась война с фашистской Германией, промколонию решили расширить, построили литейный цех, механический, инструментальный, очистки мин, деревообрабатывающий, склады, электростанцию, больницу (на 20 коек), два жилых дома и еще ряд сооружений, а также перестроили главный корпус колонии.

Для производства мин в промколонию были стянуты высококвалифицированные заключенные из разных отраслей промышленности. Консультантом по строительству вагранок был виднейший металлург Советского Союза Потаржинский, который летал с двумя охранниками и консультировал технологию металлургических заводов Ижевска, Магнитогорска, не говоря уже о Перми. Бывший главный технолог литейного цеха Горьковского автозавода возглавлял литейный цех промколонии. Бывший главный инженер Челябинского тракторного завода Рыжов был назначен начальником механического цеха. Технический отдел возглавил бывший начальник техотдела Лысьвенского металлургического завода. В отдел вошли три инженера с завода им. Сталина: Л. Брезгин, С. Красовский, И. Бабулин, прошедшие стажировку в США и осужденные за восхваление буржуазного строя. Организована была и химическая лаборатория, которую возглавлял В. Ф. Чернов, бывший технический директор Березниковского химкомбината. Созданы были службы ОТК, главного механика, энергетика, оснастки и инструментов.

В конце января 1942 года в промколонию прибыла новая партия заключенных. Это были руководящие работники химического завода № 98 г. Закамска: и.о. директора, член бюро ВКП(б) Молотовского обкома Зобачев, главный механик завода Михалев, начальник цеха Николаев, начальник ремонтно-меха-

нического цеха Сорокин, начальник центральной лаборатории Кунгурцев, сотрудники Московского химического института Келлер, Гультяев и Клинушкин, начальник производственного цеха. Все работники Закамского завода были осуждены на 15 лет. По рассказам вновь прибывших, арестовано было 30 человек из руководящих работников военного завода, уже в военное время. А поводом для ареста послужил вопрос Сталина на заседании Совета обороны: «Там, где-то на Урале, мы строили цехи по производству нитроглицериновых порохов, в каком они состоянии?» Член Совета обороны доложил: «Строительство находится в начальной стадии, сделаны только фундаменты». — «А кто виноват?» Стали искать виновников и нашли их...

Во время войны мы, ИТР (лагерные придурки), работали по 11 часов. Хлебный паек для бухгалтеров был установлен 660 граммов в сутки. Кроме того, утром каждый заключенный получал 100 граммов соленой рыбы (камбала, килька, сельдь и др.) и кашу — сечку из ячменя. В обед — суп (баланда) и разные каши: сечка, просо, горох. Вечером на ужин — каша-сечка. Рабочие получали 800—700 граммов хлеба, а бригада грузчиков, работавшая на станции Пермь II (бесконвойная), — 900 граммов, а иногда — дополнительные порции каши. В 1942—1943 гг. всегда хотелось есть. В эти годы мы очень мало знали о военных делах на фронте, о положении жителей блокадного Ленинграда. Большинство заключенных, осужденных по 58-й ст., жили в камерах отдельно от осужденных по другим статьям УК РСФСР.

В промколонии № 1 находились мужчины, женщины и подростки от 13 до 18 лет. Усилиями вольнонаемного состава и заключенных, а также спецпереселенцев, высланных в 1940 году из районов Западной Украины и Белоруссии, вскоре были налажены два производства: расширено производство резных гвоздей разных размеров, в том числе и сапожных, и производство мин разных калибров.

Мы считались «контриками», врагами народа, но в колонии в войну об этом не думали. Первой задачей всех, в том числе и «контриков», была борьба с фашистами.

Вскоре резко увеличилось количество заключенных. В камерах теснота была ужасная. Клопы и крысы были нашими сожителями. Потом пересыльную тюрьму переместили в другой район Перми, и промколония заняла ее камеры.

В октябре 1942 года в промколонии возникла вспышка сыпного тифа. Надо сказать, администрация колонии приняла энергичные меры для погашения эпидемии. У всех заключенных были изъяты меховые вещи: шубы, полушубки, шапки и т. д. Медсанчасть организовала санобработку заключенных. В одну из таких санобработок я простудился и провел в больнице 54

дня. Причиной простуды было распоряжение администрации задержать обитателей нашей камеры на дворе, пока камеру обработают горячей серой, а потом побелят ее. Процедура эта затянулась, а дело было в ноябре, и мы после бани выстояли на холоде больше 8 часов. Лечил меня очень высокой квалификации врач, академик Виноградов. Он был на фронте и поднял немецкую листовку. На него донесли. Ему дали 5 лет. Я жизнью обязан этому прекрасному человеку. Он сумел сделать мне операцию и двадцатиграммовым шприцем откачать гнойную жидкость.

В 1942 году я познакомился с бывшим директором ленинградской средней школы Матвеем Прокопьевичем Кругликовым, осужденным на 8 лет. Потом его «выдернули» на этап.

В середине 1943 года в промколонию был назначен новый начальник, Сергей Николаевич Самков. Он имел высшее образование, оказался очень энергичным, прекрасным администратором, но и жестким. Уже через месяц исчезли нары в камерах. Вместо них в мужских камерах появились двухъярусные деревянные кровати, а в женских — даже трехъярусные (из-за недостатка места). Выданы были каждому заключенному новые матрацные наволочки, привезена солома. Женщинам Самков объявил, что они могут одеваться в домашнюю одежду после выполнения производственной нормы. И мы увидели в промколонию женщин в шелковых платьях и в туфлях на высоких каблуках. Да и мужчины могли уходить из производственной зоны после выполнения дневной нормы. Однако Самков лишен был возможности улучшить питание, ибо оно было строго ограничено.

Культурно-воспитательная часть (КВЧ) при Самкове тоже работала. Откуда-то в колонию прибыли и певцы, и музыканты, организовали оркестр. Стали устраивать вечера самодеятельности. Кроме того, стали обучать подростков профессиям, нужным в промколонию.

Во второй половине 1943 года во всех камерах были установлены радиоточки, что позволило получать информацию о событиях на фронтах второй мировой войны, слушать новости и музыку.

В это же время я был назначен на должность заместителя главного бухгалтера промколонию. У меня произошло несколько стычек с Самковым. Он считал, что я подрываю его авторитет, не выполняю его распоряжений, грозил 10-дневным карцером. Однако потом он убедился, что я, наоборот, способствую выполнению планов законным образом...

В марте 1943 года ко мне приезжала жена. Я не видел ее со дня ареста. Мне разрешили часовое свидание. Я узнал о жизни семьи за прошлые два года. Самое страшное для жены было

время после моего ареста. Ее уволили с работы из лаборатории Березниковской ТЭЦ-4, а также выселили из квартиры. Жена была вынуждена переехать к своим родителям в г. Усолье. Продуктовых карточек ей, как безработной, не давали. А на работу не принимали. Только в декабре 1941 года добрые люди устроили ее кладовщиком эвакуированного завода. Многие знакомые и сослуживцы перестали с ней здороваться.

Между тем, промколония с напряжением выполняла план по изготовлению мин, но часто возникали трудности в снабжении сырьем и инструментами. В третьем квартале 1943 года в промколонию стали поступать по ленд-лизу продукты: сахар, сало-лярд, яичный порошок, консервы. По этому же закону получен был и инструмент для производства мин, а также автомашина «Студебеккер».

Промколония получила статус военного завода по производству боеприпасов с присвоением номера 74.

Хлебный паек всем работающим на производстве увеличен был до 700 граммов в день, стали выдавать сахар, в кашах и супах чувствовалось наличие сала-лярда. Начальник промколонии Самков для ведущих ИТР установил улучшенное питание.

Три события в 1943 году запомнились особо. П е р в о е: неожиданно освободили Василия Федоровича Чернова. По распоряжению министра химической промышленности СССР Первушина, Верховный суд пересмотрел дело Чернова, одного из виднейших специалистов по производству соды в СССР, и переквалифицировал статью обвинения. Вместо статьи 58 — обвинение в экономической контрреволюции — статья 109-я — злоупотребление по должности с наказанием — 5 лет заключения. К этому времени Чернов уже отсидел 5 лет и 3 месяца. Он вышел из ворот тюрьмы, где ждали его представители Березниковского содового завода.

В т о р о е: Леонид Петрович Липатов был этапирован в промколонию № 3 в г. Кунгур, где создавалось производство по выпуску мин крупного калибра. В конце 1943 года Липатов был освобожден и реабилитирован.

Т р е т ь е: бухгалтер, присутствующий при приеме этапа, вбегав в бухгалтерию, заявил: «В прибывшем из Краснокамска этапе находится Матвей Прокопьевич Кругликов!» Я спустился в привратку тюрьмы. Вид Кругликова взволновал меня. Он стоял в строю с опущенной головой, взгляд его, безучастный, безжизненный, был устремлен в землю — обычный для сильно голодных людей. Одежда была ужасна: на голове эзковская сильно поношенная шапка, телогрейка рваная, перепоясанная мочальной веревкой. Брюки ватные, но очень грязные. А на ногах лапти, сплетенные в одно лыко, без подковырки, и тонкие портян-

ки. А на дворе был март. Этот человек с высшим образованием, директор ленинградской средней школы, от голода, холода, тюремных издевательств, после трех месяцев выколки из льда круглого леса был на грани гибели. Конечно, мы тут же оказали ему помощь. После санобработки одели его в чистую одежду и накормили. Определили Кругликова на более легкую работу в цех очистки мин после отливки. В 1944 году, когда Матвей Прокопьевич уже оправился, он прочитал жителям нашей камеры (16 человек) курс истории России до 1917 года...

Многие промышленные колонии Пермской области продолжали выпускать боеприпасы для фронта. Пермский лагерь НКВД Ераничи, численностью до 5 тысяч заключенных, выводил рабочую силу на расширение завода им. И. В. Сталина (моторный завод № 19) и других заводов г. Перми. В Березниках, Кунгуре, Краснокамске, Чусовом, Соликамске и других городах заключенные работали на предприятиях, вырабатывающих продукцию для нужд фронта. В связи с оккупацией Донецкого угольного бассейна немцами потребовалось увеличить добычу в Кизеловском угольном бассейне. Надо было построить железнодорожную ветку от станции Баская до г. Гремячинска.

В начале войны в Гремячинске построили лагерь НКВД на 4 тысячи заключенных. Если нас в Перми как-то подкармливали, то в Гремячинске от голода, холода и других лишений умерло более 3200 заключенных. Было возбуждено уголовное дело. Начальник лагеря Коган получил срок с заменой наказания — отправкой на фронт...

Начальник Самков был очень жесток ко всем нарушителям производственной и бытовой дисциплины. Но кто честно выполнял производственные нормы, тот жил спокойно. Самков не знал других слов для провинившегося, кроме «Десять суток карцера!». А что такое карцер? Это паек хлеба в 300 г и кружка кипятка, суп-баланда через три дня по 0,5 литра, холодное помещение. После десятидневного пребывания там человек выходил с лицом темно-серого цвета. Тюремные правила запрещают наказывать заключенных более 10 суток. Однако Самков следовал в своей карательной политике такой тактике: через пять дней «отдыха» вновь давал заключенному 10 суток карцера. Обычно после 20-дневного карцера человек начинал болеть, и его отправляли в Пермскую областную больницу НКВД, где он и погибал.

Военные успехи на фронтах укрепляли уверенность в скором окончании войны и вселяли надежду на широкую амнистию для всех, кто считался «врагом народа». Между тем, в промколонии поступали новые партии людей, осужденных по статье 58-10: из управления строительства вторых железнодорожных путей Пермь—Киров были осуждены: Павлов — на

3 года, редактор многотиражки Фрадкин — на 6 лет, старший инженер техотдела Немиро — на 6 лет. Это резко понижало наш оптимизм. В 1945 году, как и ранее, мы трудились по 11 часов в сутки, и наша военная продукция отгружалась беспрепятственно.

О капитуляции Германии мы узнали 9 мая 1945 года. В 8 часов утра наш оркестр в привратнике тюрьмы исполнил Гимн Советского Союза, затем сыграл ряд маршей и перешел на танцевальные ритмы. Женщины приоделись и танцевали, ликование было всеобщее. Было воскресенье. У ворот тюрьмы стояло много граждан с передачами.

Отметив День Победы, промколония продолжала выпускать мины. Заключенные ждали амнистии.

Совершенно неожиданно для заключенных 8 августа 1945 года СССР вступил в войну с Японией (с Японией был договор о ненападении). Война была недолгой. Уже 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Амнистия объявлена. Она коснулась многих заключенных, имевших срок до трех лет. Некоторые, осужденные по бытовым статьям, получили снижение срока. Однако осужденные за рахищение социалистической собственности льгот не получили. Не получили и рецидивисты, имевшие несколько судимостей по одной и той же статье. Политические заключенные были амнистией обойдены. Правда, освобожден был Павлов, имевший срок 3 года. Но это было исключением...

Поток жалоб и просьб хлынул в высшие судебные инстанции о пересмотре дел осужденных по ст. 58-10 за антисоветскую агитацию. Но ответы были однозначны: «Для пересмотра дела нет оснований».

В середине августа 1945 года стало свертываться производство. Женщин этапировали в женские колонии НКВД, находящиеся на территории Пермской области.

Я снова заболел и 13 декабря был положен в нашу больницу с крупозным воспалением легких. Это время (декабрь 1945 года) совпало с отъездом из промколонии вольнонаемных сотрудников еврейской национальности. Они ехали в родные места на запад и на юг СССР, на территории, бывшие под оккупацией немцев. Уехал в Одессу главный бухгалтер Семен Григорьевич Койфман. На его место назначен был Александр Семенович Синицин, ранее работавший в Березниковской колонии. Он не знал промышленного учета, и я ему был очень нужен. Он получил разрешение от Самкова на то, чтобы вольнонаемные работники на мои деньги (премплату) на колхозном рынке покупали мне молоко и сливочное масло. Болел я тяжело. Кроме основной болезни, на теле у меня были нарывы, причиняющие боль при каждом движении. Надо сказать, что медицинский пер-

сонал, как вольнонаемный, так и из числа заключенных, окружил меня заботой и вниманием. Сам начальник Самков, узнав о моем тяжелом состоянии, приказал выделить отдельного санитаря по уходу за мной, что и было сделано. Все эти заботы и внимание поставили меня, хоть и слабого, на ноги. 31 января 1946 года меня выписали на работу. Но я практически не мог активно трудиться, так как правая моя рука была сведена, а пальцы не двигались. Мне было поручено общее наблюдение за бухгалтерией, а в отсутствие главного бухгалтера я подписывал все документы.

Вскоре после окончания войны был отменен 11-часовой рабочий день. Промколония № 1 подготавливала производство по выпуску мирной продукции...

Неожиданно в промколонию прибыл по этапу Александр Петрович Старостин, один из четырех братьев-футболистов из спортивного общества «Спартак». Как потом рассказывал Старостин, больше половины московской команды «Спартак» были арестованы за то, что якобы команда решила: как только немцы войдут в Москву, создать новую команду под названием «Россия». Старостину предъявлено было обвинение в расхищении социалистической собственности за пропавшие 4 вагона, отправленные из Москвы на Урал и не прибывшие к месту назначения в город Чусовой. Видимо, вагоны со спортивным инвентарем и одеждой затерялись на железных дорогах в первые дни войны. Он был осужден по ст. 58-10 УК РСФСР и по Закону от 8 августа 1932 года и по совокупности статей получил 10 лет. Этапирован из Усольяга г. Соликамска по распоряжению начальника НКВД Молотовской области для тренировок пермской футбольной команды «Динамо».

Однако в конце декабря 1947 года у нас в промколонии пронесся слух, что начальника управления НКВД по Молотовской области генерала Захарова сняли с работы за то, что он обменял 15 декабря 1947 года 80 тысяч старых денег на новые — рубль за рубль — в Центральной областной сберегательной кассе, сделав это с разрешения управляющей сберкассой Хлопотовой. Законом о денежной реформе предусматривалось с 15 декабря 1947 года ввести новые деньги, причем при обмене применялось соотношение 1 : 10, то есть за 10 рублей старых денег граждане получали 1 рубль новых денег. Все это обсуждалось в камерах лагерных «придурков» (ИТР и служащих). Большинство понимали, да и сам Старостин, протеже генерала Захарова, что едва ли он будет тренером пермской футбольной команды «Динамо». Наши предположения оправдались. Хлопотова была арестована и предана суду. Генерала Захарова отозвали из Перми, А. П. Старостина больше на тренерскую работу в город не выводили.

«Декабристы» — так мы, старые жители промколонии, называли заключенных, осужденных за обход Закона о денежной реформе в корыстных целях. А прибывало «декабристов» немало.

Заведующий одним из крупных магазинов (фамилию забыл) сказал: «Я внес деньги за бочку водки 14 декабря, а потом продавал ее потихоньку по новым ценам. Но вот любители выпить заинтересовались, почему только в одном магазине можно купить водку? Заинтересовался и еще кое-кто... И я был арестован. В 1946 году я ездил для закупки сухофруктов для детей. Командировка была удачной, совхозы и колхозы Грузии охотно по твердым государственным ценам продавали сухофрукты. Прихожу оформлять вагон для отправки в Молотов. Начальник товарного двора говорит: «Плати за вагон 10 тысяч». Объясняю: «Вы, вероятно, неправильно меня поняли, я ведь не себе отгружаю сухофрукты, а детским учреждениям Молотовской области». Нет, требует взятку! Тогда я — к начальнику станции города Тбилиси. «Ну и дураки, — говорит тот. — Вагон стоит 20 тысяч, а они требуют 10». Я дошел до министра путей сообщения Грузии. Объясняю: «Ваши подчиненные требуют взятки, один просил 10 тысяч, другой — 20». Что же говорит мне министр? «Ну и ослы! Да вагон стоит 40 тысяч рублей!» Я растерянно спрашиваю: «Где же я найду такие деньги? Ведь твердый железнодорожный тариф до Молотова не превышает тысячи рублей». Министр опять сокрушается: «Боже мой! Каких некоммерческих людей посылает Молотов в Грузию! Как нужно делать деньги? Полвагона надо грузить сухофрукты детским учреждениям, а вторую половину себе, да и продать их по коммерческим ценам в Кизеле или Березниках. И всем будет хорошо! Детям, тебе (выручишь за полвагона 30—55 тыс.) и нам очень хорошо!». Я немедленно дал телеграмму Пысину: «Отгрузки сухофруктов администрация станции Тбилиси требует вагон 40 тысяч незаконных поборов». Через день в Тбилиси прилетел Пысин, с ним майор НКВД. Они, захватив меня, отправились к министру. Тот сделал большие глаза: «Да я его первый раз вижу!» Затем обращается к Пысину: «Товарищ Пысин, это какая-то чепуха. Чтобы Грузия отказала в вагоне для детей Молотовской области — да никогда!». В тот же день сухофрукты были отгружены. Вот такая фраза, сказанная министром Грузии о том, что я не коммерческое лицо, подтолкнула меня к коммерции с водкой — и она же полностью подтвердилась! Я в тюрьме».

В январе 1948 года в промколонию поступало много «декабристов». Поступали военнослужащие Советской Армии с оккупированных территорий Восточной Европы. В основном это были майоры, полковники, даже один генерал интендантской службы «за бизнес с американскими, английскими офицерами» (про-

даже оружия, боеприпасов, обмундирования), попадали за превышение власти на оккупированных территориях, «за мародерство» (то есть отправку посылок в СССР сверх норм, отпущенных командованием армии), за продажу трофейного имущества.

Из Восточной Германии прибывали осужденные фабриканты, врачи, валютчики, а также дети эмигрантов 1918—1920 годов — художники, предприниматели и другие. Захваченные в Югославии, Румынии, Болгарии, на Западной Украине, поступали молодые ребята, предполагаемые бендеровцы.

Производственная жизнь промколонии шла нормально. Большая прослойка заключенных по 58-й статье обеспечила устойчивые квалифицированные кадры. Да и в быту не давала разгул уголовному миру. Этот мир понимал, что бытовые условия здесь лучшие из всех колоний Молотовской области.

Обязанности главного бухгалтера меня не обременяли. В одну из прогулок по дворику я спросил моего приятеля Кругликова: «Матвей Прокопьевич! Мне не пришлось познакомиться с произведениями Ф. М. Достоевского «Бесы» и «Идиот». В библиотеках почему-то нет этих произведений». — «Не удивительно, — ответил Кругликов, — ведь в этих произведениях Достоевский высказывает идеи, не совместимые с нашей идеей революционной классовой борьбы. Кроме того, в романе «Идиот» поступки князя Мышкина настолько прекрасны, что подвергают сомнению состоятельность материалистического учения. В романе же «Бесы» есть высказывание одного из персонажей, который говорит: «Если до революции российский мужик тащил телегу нормально, то после революции потащит ее опрокинутой».

В июле 1948 года Кругликов был освобожден. Конечно, я рад был его свободе. Но жаль было расставаться с таким товарищем!

В мае 1949 года в промколонии побыл главный бухгалтер УИТЛК Бычков и сообщил: в Чусовском районе открывается новый лагерь. В лагере этом совершенно нет счетных работников. Главный бухгалтер нового лагеря Борис Абрамович Бляйберг просил помочь ему в комплектовании квалифицированными бухгалтерами. «Я уже договорился с командованием УИТЛК, — объявил Бычков, — дать вам и А. С. Синицину право на бесконвойное хождение в пределах 50 км от лагеря. Начальник промколонии Фудельман уже знает об этом».

С документами на бесконвойное хождение я перешагнул порог привратки Пермской этапной тюрьмы, в которой просидел семь с половиной лет. Сопровождающий меня старичок-солдат нес мое тюремное дело для передачи его в УИТЛК.

Медведкинский лагерь НКВД

В управлении исправительно-трудовыми лагерями и колониями по Мотовилихинской области (УИТЛК) я встретился с Александром Семеновичем Синициным, с которым мы должны были поехать в поселок Медведка Чусовского района. С нами ехал бухгалтер-ревизор капитан Ильин. Купив билеты на электричку, мы через десять минут уже двигались к станции Чусовская, а через 4 часа прибыли в г. Чусовой. До свердловского поезда еще оставалась пара часов. Капитан Ильин куда-то ушел, а я и Синицин остались одни. Я сказал: «Александр Семенович! Даже не верится, что меня одного, без конвоя, отправили в другой лагерь! Все же, наверное, за нами наблюдают скрытые агенты в привокзальной толпе?» — «А черт его знает! Может, и наблюдают», — сказал Синицин.

Главный бухгалтер Медведкинского лагеря Борис Абрамович Бляйберг принял нас радушно. Распорядился немедленно нас накормить, а сам сходил домой и принес банку мясных консервов. После ужина нам отвели место в небольшом доме, где стояли двухъярусные кровати. На другой день мы уже приступили к работе. Бляйберг распределил наши обязанности. Решено было, что Синицин возьмет на себя учет всех материальных ценностей. Я на правах заместителя главного бухгалтера буду вести весь остальной учет: обороты документов по банку, кассе, производственной деятельности.

Вечером мы с Синициным знакомимся с поселком Тюшевское. Поселок расположен близ реки Койвы. На поляне стояло 20 домов, ближе к реке — баня и здание столовой. На расстоянии двухсот метров от реки находился деревянный дом, где и разместился штаб Медведкинского лагеря. Кто построил этот поселок? Зачем он был нужен? Геологи обнаружили в пойме россыпи алмазов, чем и было вызвано строительство обогатительной фабрики в комплексе необходимых объектов для добычи алмазов, а также и дороги от станции Теплая Гора до прииска «Медведка» длиной 35 км.

На территории Чусовского района было создано управление «Уралалмаз» (Кустье-Александровское). К дню моего приезда в лагерь «Медведка» на реке Койве уже были построены две обогатительные фабрики: в поселке Промыслы и в Кустье.

К бесконвойной жизни в поселке Тюшевском мы с Синициным скоро привыкли, а бытовые условия — чистота в помещениях, постельное белье, еженедельная баня — делали нашу жизнь удобной, на уровне жизни вольнонаемного персонала лагеря. Однако с питанием было плохо. Все время хотелось есть, и улучшить питание в таежном поселке было невозможно. Только в конце июля и в августе мы собирали грибы и варили грибницу «по-веретийски» (мелко изрубленные грибы, соль и вода).

В конце сентября мы с Бляйбергом побывали в центральном лагере «Медведка». Здание управления прииска было готово. Бляйберг осмотрел домик, в котором он должен был жить. Попросил старшего прораба сделать в кухне и сенях полочки. Узнали мы, что барак для жизни ИТР и служащих из числа заключенных тоже готов. Переезд из поселка Тюшевское в Медведку осуществился 1 октября 1949 года. Условия жизни не изменились к худшему, а питание было очень плохое.

К 1 июля 1950 года автомобильная дорога Теплая Гора — Медведка была построена, а жизнь заключенных улучшилась. В поселке Медведка открыли магазин. В самом лагере тоже открылся ларек, в котором уже можно было купить рыбные, мясные, овощные консервы и табачные изделия. Через бесконвойных шоферов, грузчиков, экспедиторов доставали энкам картофель, его охотно продавали жители Теплой Горы. Администрация лагеря два раза в месяц выдавала заключенным деньги, имеющиеся у них на лицевом счете — от 10 до 100 рублей.

С июня по сентябрь мы с успехом собирали грибы, однако боялись медведицы с двумя медвежатами и пестуном, а также рысей, бродивших недалеко от поселка. Рысь разграбила продуктовый сухой паек заключенных рабочих-каретников (съела мясо). Каретники жили в трех километрах от поселка Медведка и делали сани, телеги, дуги и оглобли, все это использовалось для снаряжения гужевого транспорта лагеря.

В декабре 1950 года мне довелось наблюдать удивительное природное явление — северное сияние! Наш лагерь, построенный на увале, на высоте 350—400 метров над уровнем моря, в два часа ночи ожил. На дворе было светло как днем. С севера шли всполохи разных цветов и оттенков: светлые, красные, синие, зеленоватые лучи освещали купол неба. Цвета без конца менялись. Воздух был морозный, чистый, прозрачный. Минут двадцать наблюдали заключенные такое редкое для наших мест явление.

В 1950 году в Медведкинском лагере НКВД возникла борьба между администрацией лагеря и заключенными. Причиной было вечное природное влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине. Лагерь вмещал бараки, в которых отдельно жили мужчины и женщины. Правила ГУЛАГа запрещали сожителство (лагерную любовь), поэтому женские бараки были обнесены колючей проволокой. Ворота в обнесенную зону каждый вечер закрывали надзиратели. Но, к их удивлению, в женской зоне утром обнаруживали мужчин! Находили подкопы под колючую проволоку или обнаруживали прорезанную проволоку. Зону перегородили сплошным забором. Утром обнаруживали выбитые доски и мужчин в женской зоне.

Тогда администрация приняла чрезвычайные меры. Был построен второй забор. Образовался коридор, который мог

простреливаться охраной. Эта мера была явно незаконной! В лагере возникла напряженность. Всем было любопытно, найдутся ли смельчаки, рискнувшие пересечь смертельную зону? Нашлись! Доски заборов вышибали, зэки бегом пробегали коридор и, несмотря на обстрел, утром до 10—15 мужчин выводилось из женской зоны! Любовь сильнее смерти. Молодые заключенные узнали, что охране был дан приказ стрелять только по ногам бегущих. К моему освобождению 14 июля 1951 года человек семь были ранены в ноги и прыгали на костылях.

В последние дни пребывания в Медведке я встретился с бывшим начальником Пермской промколонии № 1 Самковым. Встреча состоялась у дверей управления прииска. Самков подошел ко мне: «Я предполагал, что вы уже освободились». Я ответил: «Через несколько дней я действительно освобожусь». — «Поздравляю!» На этом мы расстались.

Простившись в лагере с друзьями по несчастью, а также с вольнонаемными сотрудниками лагеря НКВД, я отправился. В 15 часов мне вручили документы по освобождению, личные деньги и деньги на билеты до станции Усольская и питание на два дня.

Вечер 12 июля я провел на квартире А. С. Синицина. Встреча с семьей Синицина была заранее обговорена. Ведь мы с ним работали вместе пять лет! В семейной обстановке мы хорошо поужинали и выпили по стопке коньяка.

Только когда поезд двинулся в сторону г. Чусового, я осознал свою относительную свободу.

В Березники я приехал в 2 часа ночи 14 июля 1951 года и в 3 часа ночи постучался в дверь своей квартиры.

Закончилось мое десятилетнее пребывание в тюрьме.

1995 г.

В. Дементьев *

НЕВОЛЬНИКИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Посвящается памяти детей «врагов народа»

Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!

А. И. Полежаев

Страшная трагедия тысяч и тысяч невинно погубленных «врагов народа» ввергла в пучину страданий и мучений их детей — изгоев с изуродованными судьбами.

* Владимир Михайлович Дементьев (р. 1933).

Считаю своим святым долгом исповедаться перед своими детьми, тем самым хотя бы как-то выразить свое видение событий страшных лет и воздать должное памяти моих несчастных родных, невольников XX века, страдания которых исчерпывающе описать физически невозможно. Память о них и детях «врагов народа» помогала мне выжить, помогает в преодолении себя. Сознаю, что, касаясь некогда запретной темы, беру на себя огромную ответственность, а поэтому попытаюсь дать факты из материалов следственного дела, на которое вынужденно делаю ссылку, а также на ряд других документов. Постановления ЦИК СССР, некоторые приказы, директивы НКВД, очень часто извращавшие и подменявшие законы, стали доступны для меня только в начале 1998 года. Они потрясли своим хладнокровным цинизмом. Возможно, приводимые в данной повести извлечения из законодательных и нормативных актов, большинство из которых были засекречены в свое время и увидели свет впервые в 1993 году, выглядят как чужеродные включения и нарушают стройность повествования. Но не каждый имеет в своем распоряжении потрясшие меня до глубины души документы, и я привожу их с единственной целью — показать бесчеловечность хорошо отлаженной машины подавления и уничтожения граждан Страны Советов.

«Правовая» система советского государства, кроме многочисленных специальных, общих судов, опиралась на специальные подразделения органов безопасности, которые в законодательном порядке были наделены судебными функциями: «коллегии ОГПУ», «тройки», «двойки», «особые совещания» НКВД—МГБ—МВД.

Массовые политические репрессии в основном проводились этими несудебными органами.

Фамилии и имена моих коллег-современников, как и целого ряда лиц, упомянутых в тексте, исходя из принятых мной обязательств и определенных этических соображений, изменены. Специально подчеркиваю это. Автор ни с кем не пытается сводить счеты, это не в его натуре, да и не в этом цель. Все понять — отнюдь не значит все простить. Простить — не значит забыть, но я по христианским обычаям всем давно простил обиды.

Людам, полагаю, интересно знать правду из уст очевидцев. Чистая, детская вера в изначально родниковую прозрачность души любого человека, в добро, несмотря ни на что, сохранилась во мне и по сей день. Подобная наивность, если хотите — самообман, не раз вызывали удивление у моих близких и родных. Данная самооценка приведена отнюдь не потому, что я считал свою жизнь какой-то особенной, значимой, скорее, на-

оборот: она является ужасным повторением многих судеб, изуродованных сталинским режимом.

О судьбах, подобных моей, рассказано во многих печальных повестях, кинофильмах. Я же буду рассказывать о своей малой доле, о том, что прошло через мое сердце. Мои воспоминания не претендуют на какую-либо исключительность.

По-видимому, Всевышним в моем генетическом коде были предопределены все тяготы жестоких испытаний, полную чашу которых испило мое поколение.

Именно с рождения за мной отверсты́й гроб, к которому я неудержимо шел всю жизнь, беспрепятственно теряя тонкую нить бытия, путаясь, терзаясь в скитаниях, неся непосильную ношу из «счастливого детства» за плечами.

Страшные события 30-х годов предопределили всю мою судьбу, с которой я никак не мог смириться.

В обращении к прошлым событиям есть нечто таинственное, возвышенно страшное, неизъяснимо мистическое чувство общения с душами давно ушедших людей. В ночной тиши флюиды добра и зла как бы витают в сиреновой дымке, окружают тебя, огненный жар воспоминаний волнами теснит, заполняет все твое существо, и ты вновь в их кругу ведешь с ними нескончаемую, тихую беседу. Проживая вновь и вновь события тех лет в окружении лиц, память о которых тронута временем, видя ежедневно их образы, не даешь зарубцеваться ранам в сердце. Истекает кровь из открытых ран, и тают силы. Временами теряешь представление о реальности, и кажется, что ты находишься в мире теней.

Временами я не знал, зачем иду, к чему стремлюсь, имея клеймо с рождения и печать злого рока на челе. В борьбе за существование с невидимой системой контроля, когда слова унижительной мольбы о справедливости уходили, словно в пустоту, свершилась жизнь. Вместо полной чаши меда вкусил я с самой колыбели горькую полынь. Заканчиваю дни свои с сознанием выполненного долга, предопределенного судьбой в этом несправедливом и жестоком мире. Уже приблизился к краю бездны, стою выше сиюминутных соображений, мирской суеты и занят думами о вечных истинах бытия. Если эти записки и будут доступны для прочтения, автора, по всей видимости, уже не будет в живых.

Лишь понимание предопределенности служит слабым утешением, что жизнь прожита не зря. Так легче уходить, когда тебе говорят: «Все, что создано в обеспечение могущества страны до сего дня, было сделано во вред ее народу».

Личность ответственна перед Всевышним за свои прегрешения и не в ответе за зло, творимое другими, вне ее воли и выше ее человеческих сил.

В годы репрессий и гонений тема нашего пребывания в ссылке не подлежала обсуждению. Мои дедушка и бабушка никогда не касались того периода жизни, когда мы все были причислены к огромной армии под названием «специальный контингент» (заключенные, спецпереселенцы, а с 1943 года и побывавшие в немецком плену и т. д.). Особенно табуированными были разговоры в нашей семье о моем отце, как будто никогда он и не существовал. Отец совершенно непонятным образом исчез бесследно во времени. Поэтому, полагаю, оправданной будет попытка осветить события тех далеких лет. К сожалению, я столкнулся с тем, что первичные материалы в основном уничтожены, а имеющиеся ничтожные сведения в архивах соответствующих организаций все еще под контролем. На многие мои запросы в ряд государственных архивов получены вежливые, но пустые ответы.

Вся моя жизнь полна противоречий, а посему стройности и последовательности событий вы не увидите, да и, видимо, не это главное. Прошу читателя последовать за мною в ту пору нашей жизни, когда по «постановлениям», «решениям» и просто по желанию вождей решалась судьба тысяч людей.

Государственная машина раскулачивала, ссылала, физически уничтожала миллионы граждан. Массовые репрессии, как известно, задели не только кулаков, но и единоличников, и часть колхозников. Неизвестны цифры погибших от смертельного голода на Северном Кавказе, Украине, в Поволжье и в других районах.

Мои родители из Поволжья и Витебской области БССР по воле «великого вождя» в одночасье были вырваны из родных гнезд и стали спецпереселенцами. Длинные железнодорожные составы из десятков вагонов для перевозки скота (тюремных «столыпинских» не хватало), битком набитые, под конвоем везли в неволю тысячи семей. После многодневной тяжелейшей дороги без продуктов питания, теплой одежды в марте 1930 года отца выгрузили прямо в снег в Северном крае Архангельской области, а маму — в г. Соликамске. Далее, рассказывала мама, спецпереселенцы по этапу шли пешком за сотню километров по снежной целине на север, за селение Яйва, в район Воронихи, в непроходимую тайгу. Из десятков тысяч ссыльных не всем было суждено дойти до места назначения. Многие по дороге умерли.

Раздетые, голодные, измученные, мои родители были брошены в безлюдные места с бескрайними снегами, совершенно непригодные для существования человека. Не по своей воле, по принуждению, на смерть они были пригнаны в эти гиблые районы. Для исключения возможных побегов из мест ссылки к людям приставили жестокую охрану. Конвоирам было доз-

волено распоряжаться жизнью и смертью спецпереселенцев, и они использовали весь возможный арсенал издевательств.

Вот как описывает их Ф. И. Мартюшев, используя цитаты из докладной записки оперуполномоченного ОО ПП ОГПУ по Уралу А. С. Кирюхина и начальника областного комендантского отдела Н. Д. Баранова, адресованной ПП ОГПУ по Уралу т. Раппопрту 13 мая 1931 г.: «...Повсеместно в каждом поселке были созданы арестантские помещения («каталажки»), куда десятниками леспромхоза, бригадирами и комендантами беспричинно, а зачастую из личных корыстных побуждений заключались переселенцы всех возвратов, содержались там в неотопливаемых помещениях раздетыми по несколько суток и без пищи, там же систематически избивались и подвергались всевозможным истязаниям, что приводило к полному упадку физической деятельности спецпереселенцев и к смертельным случаям... В арестантских помещениях, в домах переселенцев, на улице, в лесу на работах и даже во время отдыха переселенцев последние избивались, женщины и девицы подвергались также избиениям, понуждались и использовались в половом отношении, от спецпереселенцев бесконтрольно отбирались вещи, деньги и продукты. Были случаи вымогательства взяток. Все эти беспричинные издевательства в основном сводились к физическому истреблению переселенцев, что бесспорно подтвердилось показаниями десятников, некоторых комендантов и других лиц...

Особенными жестокостями отличились:

1. Бригадир Ратушняк, избивавший всевозможными способами ряд спецпереселенцев, в результате чего спецпереселенец Мартыненко умер в арестантском помещении; насильничал над женщинами и девушками, произвел ряд ограблений на дороге. Был вдохновителем десятников и бригадиров по избиению спецпереселенцев и говорил: «Переселенцев надо всех уничтожить».

2. Бригадир Калугин Иван, член ВКП(б). Избил ряд переселенцев, в результате чего переселенец Луговой умер. Среди переселенцев слыл за палача под кличкой Ванька-Каин...»¹.

Эти и многие другие факты вынуждены были зафиксировать представители ОГПУ, расследуя причины выступления спецпереселенцев Петропавловского леспромхоза Надеждинского района. Страшный произвол царил повсеместно. Забитые спецпереселенцы не смели жаловаться, молча терпели и унесли это горе в могилу. Да в лесной глуши кому пожалуешься? По словам моей мамы, их «сбрасывали в болото», заставляя рубить и вытаскивать деревья для постройки жилых помещений конвоирам и одновременно сооружать землянки для себя. Многим ссыльным пришлось жить и в «снежных домиках».

¹ Мартюшев Ф. И. Жертвы и палачи.— Екатеринбург, 1997.— С. 149—158.

«Снежные домики, в которых мы жили перед приездом в Губаху, были обыкновенными сугробами снега, в них были вырыты норы матерями для своих детей и немощных стариков. Пол из снега покрывали наломанными ветвями елей, сверху стелили что-то из одежды, на этом и спали. Все мужчины были заняты на строительстве домов для охраны и начальства. Иногда мужчины прибегали со строительства и приносили что-либо поесть. Нам, неработающим, никакой еды не давали. Мы, дети, ели кору, смолу и тому подобное», — вспоминает В. Н. Марченко². Перечень издевательств, известных мне, можно было бы продолжить, но пока ограничимся вынужденными признаниями представителя НКВД и воспоминаниями живых свидетелей того лихолетья.

На Северном Урале зимы были исключительно снежные, с вьюгами и лютыми морозами. Морозы, как известно, бывают ранние: в октябре земля до того замораживает, что ее поневоле нет возможности рыть, но их заставляли «грызть» грунт обмороженными руками под страхом смерти от холода. Цель была одна: ликвидировать «кулацкое отродье» с их грудными и малолетними детьми, престарелыми, больными родителями. Каждый вечер падали смертельно усталые, мокрые, холодные, голодные под открытым небом (пока не построили землянки). Забывшись в кратковременном сне у костра, буквально обнимая языки его пламени, дремали, а чуть забрезжит рассвет, снова: «Подъем!» Каторжный труд на лесоповале не все выдерживали, многие молодые, здоровые мужчины разбежались по окружавшим лесам и болотам. Тех, кто не погибал во время побегов, отлавливали, жестоко избивали и отправляли в тюрьмы без всякого суда и следствия. Да и какое могло быть следствие для людей, официально лишенных свободы и каких-либо гражданских прав. Они все имели одно право — умереть! И умирали десятки, сотни измученных страдальцев.

Моя мама, лишившаяся в раннем детстве родителей, жила в деревне Мамошки Витебской области в семье родных деда и бабушки — зажиточных крестьян Лисициных, у которых было шестнадцать взрослых детей. Большинство из них получили столичное образование, и после революции они усиленно уговаривали отца бросить все и уехать всей семьей за границу. Отец им отвечал: «Здесь моя родина, в этой земле лежат все наши предки. Будь что будет, останемся в дорогих Мамошках».

Но пришла пора, когда стали отстреливать и раскулачивать. Из их семьи четыре сына погибли во время гражданской войны, двое учившихся в г. Витебске сумели скрыться, а судьба остальных детей сложилась не менее трагически.

² Марченко В. Н. Письма.

Иван Иванович Лисицин, глава семьи, когда пришли ночью с угрозами, бранью представители советских властей раскулачивать его, открыл все амбары, хлева, сундуки. Просил Иван Иванович об одном: «Берите, сыночки, все, но только не жгите, не ломайте, наше добро теперь все вам достанется. Пользуйтесь на здоровье, все это больших трудов и сил нам стоило. Вы уж, пожалуйста, берегите добро, пусть оно приносит вам радость».

Эти ли слова сыграли положительную роль, или то, что каждый год от полученных урожаев делился он с бедными и не отказывал в помощи любому? На удивление, вся богатая усадьба в сохранности осталась людям, в то время как в округе полыхали поместья одно за другим. Дом разобрали и перевезли в соседний городок, где в нем располагались в разные времена советские учреждения. Так что дом пережил своих хозяев. Отнятые богатства, нажитые каторжным трудом большой семьи Лисициных, не всем принесли радость. Грабители поместья в результате экспроприации сами стали зажиточными крестьянами, вызывая зависть у окружающих, по решению местной бедноты были признаны кулаками и примерно через год, размазывая слезы и сопли, вместе с малыми детьми были высланы вслед за семьей Лисициных.

Иван Иванович, его жена Агафья Мироновна, дети Петр, Вера, Борис и моя мама в сопровождении представителей НКВД были высланы. Были также высланы и те его дети, которые жили со своими семьями отдельно. Провожала их вся деревня, некоторые плакали, а соседи, два брата, скажут на прощание: «Прости нас, Иваныч, мы помним, как ты нам помог подняться после гражданской, а вот мы тебе ничем помочь не можем».

Иван Иванович ответил: «Бог вам судья».

Своим домочадцам он говорил: «Прости их, Боже. Они, словно малые дети, не ведают, что делают. Простите их и вы, мои детки. Не держите зла на них, с чистым сердцем легче будет переносить все наши мучения».

Скорее всего, имела место черная зависть бедных людей к богатому, образованному человеку, помогавшему бедным, пестовавшему и лелеявшему родную землю, сумевшему дать воспитание и образование своим детям. И вот Добро породило Зло. Отправили их по этапу на север, на страшные мучения. Спустя 67 лет начальник Информационного центра Пермского областного УВД разрешил мне ознакомиться с хранящейся в архиве тоненькой папочкой документов НКВД на семью Лисицина. В этих документах фамилия моей мамы не упоминается. Возможно, потому, что все материалы и упоминания в делах о родственниках спецпереселенцев были в свое время изъяты — такое разъяснение я получил в Информационном центре УВД. Физически человек находился с родными в местах ссылки, и в

то же время не было ни малейшего упоминания о нем. Этот факт, как и другие, о которых пойдет речь ниже, подтверждены свидетельскими (заверенными нотариусом) показаниями наших соседей по спецпоселку³, а также целым рядом других документов. Следует иметь в виду, что многие документы не сохранились. Судьба круглой сироты, хлебнувшей нищеты и горя до переезда к родному деду, предопределила круги ада «добровольной» ссылки и спасла от ужасов войны, которая жестоко прокатится по их деревне. Родные же братья моей мамы, оказавшись в приемных детях у бедных родственников в других селениях, пройдут через испытания военных лет.

Иван Иванович Лисицин умер на Воронихе (лесоповал в районе Яйвы). Дети его и моя мама голыми руками, насколько хватило сил, разгребли землю со снегом (инструмента, чтобы выкопать могилу, не было), заливаясь слезами, положили тело прямо на замерзшую землю и засыпали его, бедного, сверху камнями. Покоятся его кости где-то в глухомани, если дикие звери не добрались. И мрачный лес шумит вокруг могилы неизвестной.

Судьба моего отца похожа на жизнь сотен подобных ссыльных. Ни он, ни его родители никогда не были кулаками.

Из воспоминаний моей тети Анны Александровны:

«Посадили нашу семью: маму, папу, брата и меня в поезд на станции Клявлино в марте 1930 года. Поезд был товарный, в котором перевозили скот. Довезли нас до г. Котласа... Далее везли на подводах по застывшей реке на остров, где и поселили в сарае... Народу было много, спали на нарах. Когда проснулась река Двина, был уже май месяц, нас погрузили на баржу и привезли в Архангельск. Поселили в церкви, тогда церкви пустовали. А потом переселили в амбары, в форме домиков, но там ни печки, ни света не было, спали также на нарах, еду готовили на улице на костре.

Из Архангельска молодежь — брат, я, всего пять человек — устроили побег, но нас поймали (уже на Урале) и отправили в г. Соликамск. Жить пришлось опять же в церкви, спали на полу на одежде, что была у каждого с собой. Брат (мой отец. — *Прим. автора*) работал землемером, а я — где придется. В Соликамске прожили около полугода. Вот однажды пришел милиционер и сказал мне, чтобы я собиралась, а брат в тот момент был на работе. Взяли меня и повели, а навстречу шел брат с работы. Я бросилась к нему, и мы стали умолять милиционера, чтобы

³ Якушевский В. И. Свидетельские показания. Заверено администрацией г. Гремячинска Пермской области 28 апреля 1997 г.

Парфенов И. И. Свидетельские показания. Зарегистрировано в реестре за № 920 Губахинским нотариальным округом Пермской области 29 апреля 1997 г.

оставил меня с братом. На что милиционер сказал, что и брата пошлют вместе со мной, но его не отправили: обманули меня. Привезли меня на барже по реке до поселка Булатово, где я все время ждала брата, а его, как оказалось, отправили в Губаху. Вот так нас разлучили. Брат в Губахе работал в шахте, я работала в поселке Булатово на лесоповале. Узнала, что брат находится в Губахе. Отработав три года в Булатово, я решила бежать. Где пешком, где транспортом добралась до Губахи. Так и состоялась наша встреча с братом, родителями, с тобой и твоей мамой. Поскольку Губаха была местом ссылки не из лучших, то меня никто и не искал там. Припомнить, в каком году исчезла колючая проволока вокруг барачков, где все жили, не могу»⁴.

Мой отец, убежавший из архангельских лесов и болот, этапированный вместе с сестрой в г. Соликамск, был переведен в зону при шахте имени Калинина Кизеловского угольного бассейна. Многое рассказала мне мама. Многое помню я сам, 14 лет пробывший на спецпоселении. Я считал своим долгом проверять свои воспоминания через свидетельствование оставшихся в живых очевидцев тех событий.

Спецпереселенцев в начале 1930 года в основном отправляли на лесоразработки в районы крайнего севера Уральской области, а также на шахты и рудники. «Рубить уголек» — для этого требовалось много рабочих рук. Отбирали наиболее физически здоровых мужчин. Первые спецпереселенцы жили в казармах, огороженных шестью рядами колючей проволоки, по периметру были поставлены часовые на вышках. Кругом стояла вековая тайга. Спецпереселенцы, по указанию своих надсмотрщиков, валили лес и строили жилье барачного типа для вновь прибывавших.

В результате каторжного труда спецпереселенцев в начале 30-х годов на берегу красивейшей реки Косьвы возникло поселение, которое будет именоваться в официальных документах как «трудпоселок при шахте имени Калинина». В глубине каждого барака спецпоселка стояли одна печь и двухъярусные нары. Жили одной коммуной в тесноте, в грязи, в отвратительной обстановке. Представьте себе на миг бараки, бараки, а сколько всего их было настроено, неизвестно. У нашего барака был № 60/61. Возглавлял такое поселение комендант. Имевшиеся в зоне отчуждения домики местных жителей, в основном татар и башкир, были изъяты, а сами старожилы отселены на правый берег Косьвы. Впоследствии эти ветхие строения будут продаваться спецпереселенцам за ударный труд в шахте. Мой друг детства Владимир Иванович Якушевский родился в 1931 году в бывшей двухэтажной казарме за шестью рядами колючей про-

⁴ Дементьева (Скреблова) А. А. Письма.

волоки. Его детские годы протекали в подобном домике (рядом с нашим баракком), купленном его отцом — ударником, шахтером-проходчиком.

Тяжела и безрадостна была доля спецпереселенцев. Шахты в Губахе были заложены мелкие, эксплуатация их велась хищнически. Оснащение шахт было очень примитивное. Отсутствие какой-либо охраны труда часто приводило к несчастным случаям, нередко со смертельным исходом. Я помню похороны погибших наших соседей-горняков.

Угольные пласты имели наклонные падения, чтобы добыть уголек, приходилось шахтерам, кому сидя, кому лежа в самых неудобных позах, вручную отбивать глыбы угля в забое. Тьма, едва мерцавшие лампочки, грязь, кругом лужи, мокрые стены. Одежда буквально сразу отсыревала, рабочие по десять и более часов находились в этих ужасных подземельях. Отбитый уголь на салазках приходилось таскать на себе к штреку и перегружать в вагонетки. По штреку вагонетки откатывались тоже вручную. Много нужно было потрудиться, чтобы накопать и откатить вагонетку угля. Спецодежды и в помине не было, каждый одевался во что мог. Спецпереселенцы после работы приходили в барак мокрые, обессиленные. У печки посушит одежду бедолага и кладет ее на грязные нары, освобожденные ушедшим в смену соседом. Антисанитарные условия, голодание, непосильный труд приводили к массовым заболеваниям со смертельным исходом.

Условия труда и жизни в спецпоселке были воистину каторжными. Норму выработки устанавливали превышающую как минимум в два раза норматив для шахтеров. Большинство спецпереселенцев не справлялись со сменным заданием, и многие попадали в штрафную команду.

На эту каторгу «кулацкое отродье» — изможденные, больные люди — шли ежедневно, независимо от физического состояния. Мой отец до середины 1935 года работал забойщиком в шахте имени Калинина. Многие прямо в бараках или по дороге на работу умирали. Наши соседи по баракку, родители Леонида Щепанова, не выдержав каторжного труда, подобным образом ушли из жизни.

На шахте и познакомились мои родители. Возникшее между ними чувство любви привело к созданию семьи в этих адских условиях. Отец познакомил маму со своими родителями и попросил их благословения. Получив разрешение коменданта и благословение родных, мама перешла жить к мужу, в зону. И, следуя за своим мужем, стала, естественно, причастной к его судьбе, разделила все тяготы беззакония, то есть стала уже считаться жительницей зоны, перешла в низшую касту ссыльных. Они будут вместе переносить все, что такое положение

может иметь тягостного, никто из них не в состоянии был защищать себя от ежечасных оскорблений. Закоренелым злодеям и людям без совести доставляло сладострастное удовольствие унижать, притеснять людей, живущих на самом дне спецпоселения. Но даже в этих условиях физически сильного и смелого человека, каким был мой отец, лишний раз остерегались унижать (со слов мамы).

Я, родившийся в ссылке, автоматически лишился всех прав. Вскоре после моего рождения добровольно перешли в наш барак, с милостивого позволения коменданта, мои дедушка и бабушка. Не помню, в каком году исчезла колючая проволока вокруг наших барачков, но она как-то враз исчезла. После этого была снята вооруженная охрана, но не произошло послабления режима. Колючую проволоку придется мне еще видеть и в годы войны вокруг лагеря выше наших барачков.

В конце 1933 г. в бараке рядом с входной дверью (самое холодное место) отгородили уголок занавесками, условно отделив нашу семью от других, а через некоторое время занавески заменили перегородкой в одну доску. Все это было сделано согласно доброму соизволению коменданта для маленького, вечно больного, родившегося в зоне ребенка. Это было великой «привилегией», так как по внутреннему распорядку в трудпоселке нары занимали по очереди для сна. Обитатели барака с сочувствием отнеслись к беде соседей, и зла никто к нашей семье не питал (со слов мамы). Подобные перегородки, а также дополнительные печи появятся значительно позже, в конце 30-х — начале 40-х годов, во всех бараках спецпоселения. У каждой семьи будет свой угол с одним окном, но это произойдет после основательной «чистки» в 1937—1938 годах.

Женщины в бараке соорудили над печкой под потолком закуток (место, где не было сквозняков) и там мыли своих малышей. В бараках зимой стужа, ветер гулял. Пока я подросток, со мной намучились: переболел всеми детскими болезнями (только воспалением легких — трижды) и был постоянно нездоров. В моем повествовании, к сожалению, неизбежны пробы, особенно что касается тех далеких времен, о которых пытаюсь добросовестно писать. Однако отдельные детали я намеренно опускаю, так как это никому не будет интересно. Ну действительно, кому интересно описание длительных моих болезней, когда заканчивалось одно заболевание и начиналась новая болезнь? У моей колыбели, особенно по ночам, кто-нибудь дежурил из-за боязни, что я задохнусь и умру. Были моменты, когда вера, что когда-нибудь больной ребенок будет здоров, угасала. С самоотверженностью тигрицы, готовой к самопожертвованию, мама боролась за жизнь в моем хилом тельце, и смерть на какое-то время отступала под действием

любви. Сколько раз родные прощались со мною, уходя на принудительные работы...

И как не поверить в провидение: при полном отсутствии лекарств и возможности уберечь от простудных заболеваний несчастное дите, ему все же была дарована жизнь. А десятки других умирали. За изнурительную жизнь я буду несколько раз близок к смерти, но мой рок спасет меня не единожды. Видимо, не всю чашу жестоких испытаний, страшных мук я испил до дна.

В памяти сохранились яркие минуты моего общения с отцом вплоть до расставания с ним. Какой бы он ни был усталый, всегда подхватывал меня на руки и подбрасывал так высоко, что сердце закатывалось от страха, затем он ложился отдыхать, а я ползал у него на груди. Помню прокопченный, черный от дыма потолок, крюк в потолке, на котором долгое время висела моя колыбель. Вот смотрят из темноты на задыхающегося сына испуганные, наполненные слезами глаза моей мамы. Видения этих картин буквально рвут мое старое сердце на части. Проплывает рядом берег реки. Косьва почему-то постоянно видится из-за колючей проволоки. Для этого не требуется закрывать глаза. Очень часто, так говорят близкие мне люди, я сижу с отсутствующим взглядом, направленным вдаль. Когда меня пытаются расспрашивать, о чем думал в этот момент, я никогда не рассказываю, что вернулся из горького моего детства...

История жизни нашей семьи в спецпоселении, в том числе и в бараке, подтверждена обстоятельными рассказами моей родной тети и друга моего детства в 1998 году. Многие эмоциональные свидетельства, ужасающие картины, грязь нашего бытия и страдания моих родных из повествования исключены.

Судьба человека, даже ребенка, была неразрывно связана с судьбой страны, которая в какой раз, по воле провидения, была в руках тирана. Тирана, опиравшегося на послушные карательные органы и на всю государственную машину.

Политический террор применительно к нашему спецпоселению, подчиненному Кизеловскому горотделу НКВД, стал кровавой вакханалией беззакония. Сами очевидцы, свидетели и участники тех событий, будут излагать свою правду о периоде политических репрессий.

Из показаний сотрудника органов НКВД Тр...цина Семена Владимировича, допрошенного 4 декабря 1939 года: «...В 1937 и в начале 1938 года я работал в Кизеловском горотделе НКВД... В момент подготовки и начала массовых операций начальником горотдела работал Фай...рг Георгий Михайлович... В июне или начале июля 1937 года мне стало известно о подготовке к массовой операции, которая должна начаться 6 августа 1937 года. Во исполнение этой установки каждый оперативный работник должен был учесть по обслуживаемым им объектам контр-

революционный элемент... и через агентуру составить списки с установочными данными и краткой характеристикой... 6 августа состоялась первая массовая операция. Из учтенных к этому времени почти 800 человек было арестовано примерно 500 человек...»⁵.

Осенью 1937-го пошли повальные аресты в спецпоселениях, в особенности после приезда следственной группы УНКВД. Сначала были арестованы все перебежчики и лица нерусской национальности, вслед за ними было дано указание арестовывать кулаков-трудопоселенцев. Аресты производились целыми поселками. Всех арестованных поместили в механический цех, так как тюрьма была уже забита. Среди спецпереселенцев царил всеобщий страх, обреченность.

Арест моего отца произошел 4 октября 1937 года. Пришли злые, жестокие, грубые люди. Перетрясли нехитрые пожитки нашей семьи, перелистали книги, прочитали и унесли с собой какие-то бумаги и вещи. При этом почему-то постоянно покрикивали: «Сидеть! Не двигаться!»

Я в страхе, сидя на коленях отца, сколько было сил, прижался к его груди, дрожал всем телом, боясь произнести хотя бы слово. Силой оторвали меня от отца и забрали в неизвестность могучего дорогого человека, который ласково, бережно гладил огромными ладонями меня по голове. Такими были непередаваемые последние мгновения! Прощальный любящий взгляд отца, рыдания мамы, плач бабушки, суровое молчание деда и тети врезались в память сердца. Вымученная улыбка отца, как лучик света в картине ужаса и мрака ночи 37-го года. Внешний облик отца живо сохранился в моей памяти: высокий, стройный, молодой, красивый человек с добрым, умным лицом. Вооруженный конвой увел моего отца, но я много дней упорно, как побитый щенок, скуля, а в основном молча продолжал его ждать на пороге нашего пристанища, не внемля уговорам. Сколько раз в эти горестные ночи мне слышался его голос, и это были счастливые минуты...

Спустя десятилетия после далекого, грозного 37-го мне не легко выделить мои собственные впечатления из сплава последних рассказов мамы, моих родных и Николая Филимоновича Можейко, который присутствовал при обыске в качестве понятого. Но я не забыл яркое ощущение ужаса, от которого кровь словно застыла, наступило оцепенение! Кожей ощутил дыхание смерти, пришедшей из той ночи. Моего отца и многих знакомых моих родителей арестовали почти одновременно. Аресты производились почему-то по ночам. Приходила очеред-

⁵ Государственный архив по делам политических репрессий Пермской области (ГАДПР ПО), ф. 1, оп. 1, д. 8144, т. 8.

ная ночь, жители барака не спали, были в ожидании: за кем сегодня придут?

У меня осталась мама, а у многих забирали отца и мать, дети оставались с родственниками, а у кого не оказывалось оных, то их увозили вместе с родителями. Так, соседей наших по барaku, Лепиных, арестовали и увели под конвоем вместе с детьми (мальчик и девочка 5—6 лет). В памяти остались истощенный крик и горькие слезы!

«Пожалейте нас, дяденьки, миленькие!» — умоляла, заливаясь слезами, Ганочка.

Где же вы теперь, Юрочка и Ганочка, исчезнувшие во мраке темной ночи октября 1937 года? Живы ли вы? Откликнитесь, если живы. Сколько детей, оставшихся без родителей, было отправлено в спецколонию, спецлагеря, спецдетдома! Для них был предопределен четкий жизненный маршрут: детская спецколлония, затем взрослая, где они получали «уголовное профессиональное образование», и снова зона. Так начертал «родной отец» — товарищ Сталин.

Сталинские законы делали четырнадцатилетних подростков в наказаниях за проступки «равноправными» со взрослыми уголовниками. Сколько осталось сирот! Спрашивается: во имя какой цели совершались эти преступления? Господи!

«Конвейер» НКВД 1937 года лишил меня отца и сделал сыном «врага народа». Только враги живут в спецпоселениях, тюрьмах, лагерях. Взгляд из-за колючей проволоки — как это больно вспоминать. Она разделяла людей: сегодня ты друг, завтра — враг.

Мама много и горько плакала по отцу. Иногда собирались такие горемыки, лишившиеся мужей в одну ночь, рыдали, жалуясь на свою судьбу, наивно надеясь, что когда-нибудь им вернут арестованных мужей, гадали на картах и с помощью чайного блюдца. Запомнился мне уже значительно позднее один разговор: проклинали человека, подписавшего показания на их мужей, называли фамилию, которая временами всплывала в моей памяти. А мама сказала соседке: «Ты думаешь, он (показывая на меня), когда вырастет, не отомстит подлецу за своего отца?»

Мама мне показала этого человека на фотографии, чудом сохранившейся у тети. В порыве обиды на «предателя» я перечеркнул карандашом его лицо, правда, не так, как нас заставляли перечеркивать крест-накрест в школьном учебнике портрет героя гражданской войны Блюхера и других «врагов народа», а одной широкой линией. Фотография в конце 90-х годов вернулась ко мне. Сейчас я понял, что того человека нельзя было обвинять: работала сталинская репрессивная система, против которой немногие смогли устоять.

Моя мама, некоторое время вынужденно не работавшая из-за моей длительной болезни, с большим трудом устроилась подсобной рабочей. Дедушке доверили работу конюха при шахтерских лошадях, а бабушке — мыть полы в бараках нашей зоны. Вся наша семья, со слов мамы, жила ожиданием новой беды. Оставшихся в бараке членов семей «врагов народа» стали «уплотнять». В наш угол подселили бабушку с внуком, родители которого умерли. Комендант примерно через месяц после ареста отца официально потребовал нашего переселения в рядом стоявший сарай, который использовался для хранения строительного инструмента. Через день он просто выкинул нас из барака со всем барахлом. Это надругательство страшно поразило всех и прибавило горя к горькому и безысходному положению нашей семьи. В сарае жить было невозможно, и мама слезно умолила соседку Эмилию Адамовну Ридзевскую пустить нас временно пожить в ее закуток, в противном случае мы наверняка бы погибли: была зима с морозами ниже сорока градусов. Слово коменданта было законом, его все боялись, а простая женщина и ее семья, равнодушные к горю соседей, не испугались и в атмосфере повальных арестов. За мужественный поступок во имя спасения совершенно чужих людей грозили страшные беды всем Ридзевским. Некоторое время три семьи — Ридзевские (трое), Дементьевы (пятеро), Щепановы (двое) — ютились примерно на пяти квадратных метрах. Петр Иосифович Ридзевский, который работал плотником, и мой дедушка — на все руки мастер — срочно стали общими усилиями приспособлять «подарок» коменданта под жилье. Утепляя лачугу, члены трех семей с помощью родных и соседей построили двойные стены, засыпав опил в зазор между ними, сделали маленькое оконце, вместо пола прямо на землю положили обрезки горбыля и построили нары. Самое теплое место было на нарах возле железной печурки-«буржуйки». Снаружи для тепла отсыпали высокую земляную завалину. Помню, впоследствии пацаном, сидя на ней, играл на гармонии и ногами не доставал до земли. Горбыль, отходы строительных материалов (бревна категорически запрещалось брать: они шли на крепеж кровли в шахте) были милостиво выданы с разрешения коменданта. За самовольно взятую, даже брошенную доску следовало суровое наказание согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 года. За хищение государственной собственности был предусмотрен «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах на лишение свободы не ниже 10 лет с конфискацией имущества...». Так, к началу 1933 года, по требованию Сталина, по

этому закону было осуждено свыше 50 тысяч человек. Тогда даже за колосок хлеба, взятого с колхозного поля, а не то что за доску, давали на полную катушку. По берегам реки валялись бревна от лесосплава, но никто не смел тронуть их без разрешения коменданта под страхом смерти. В это с трудом верится сегодня, когда безнаказанно идет чудовищное разграбление страны. Только вздумайте: за колосок лишали человека самого дорогого — жизни или сажали на 10 лет в лагерь. Как это ужасно, но все это было, было.

Вот как описывает в письме, присланном 9 мая 1998 года из госпиталя инвалидов войны, нашу жизнь в тот страшный период старший сын Николая Тихоновича Марченко (хорошего товарища и «подельника» моего отца). Виктор Николаевич запомнил многое из увиденного: «...Кто поймет те тяжелые испытания, которые Вы, и мы, и другие перенесли. Это надо самому испытать. Когда взяли отца, маму выгнали с работы, меня — из школы, брата (1934 года рождения) — из детского сада; выгнали из квартиры на мороз (просто милиционеры выкинули и все), на наше место поселили семью (позже узнал: осведомителей НКВД). Мы ютились под крыльцом барака почти весь октябрь. Отобрали всю живность и все вещи. Так под крыльцом мы пробыли недели три. Правда, соседи из другого барака на ночь пускали в коридор погреться. Но милиция следила и их наказывала. Мы с братом, голодные, ходили по помойкам, искали пищу. Однажды нашли кусочек сыра, я отдал ему: он маленький, а оказалось, это было мыло. А сколько было других страшных событий! Дай Бог, чтобы это не повторилось...»⁶.

Большой семьей жить нам довелось недолго. Моя родная тетя Анна Александровна вышла замуж за шахтера и забрала к себе своих родителей. Не хочется думать, что доброта Эмилии Адамовны Ридзевской была причиной их трагедии. Почему Ридзевские в конечном итоге оказались вместе с нами в хибаре? Наверное, не по доброй воле. Комендант трудпоселка Крыл...в, насколько запомнили мы и другие наши родственники, был не тем человеком, который неповиновение, а тем более такое «преступление» спецпереселенцам мог простить или забыть. Добрейшего, душевного человека — Эмилию Адамовну, 1897 года рождения, полячку — арестуют в 1938 году вслед за ее мужем Петром Иосифовичем Ридзевским (следователи НКВД «раскроют» разветвленную, большую шпионскую организацию польской разведки).

«На первичном допросе 21.02.1938 г. обвиняемый Ридзевский в предъявленном ему обвинении виновным себя признал и показал, что он действительно являлся участником КР

⁶ Марченко В. Н. Письма.

шпионской организации, в которую был завербован агентом польских разведывательных органов, имел от него задание на случай войны с Польшей вывести из строя ГРЭС, коксохим и взорвать ж.-д. мост, проходящий через р. Косьву...»

«На последующих допросах 27.12.1938 г., 28.02.1939 г. и 19.05.1939 г. обвиняемый Ридзевский от своих ранее данных показаний полностью отказался...»

«Из объяснения следователя Кизеловского горотдела НКВД Сер...ка видно, что следствие по обвинению Ридзевского велось при усиленной камерной обработке через осведомление».

Это строки из постановления, на основании которого сами авторы сфабрикованного дела вынуждены будут принять решение: «...следственно-заклученного Ридзевского из-под стражи освободить»⁷.

Нашу же спасительницу решением тройки УНКВД приговорят как польскую шпионку к 8 годам ИТЛ. Эмилия Адамовна, инвалид, будет писать из Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря прошения о пересмотре несправедливого приговора. Мне при чтении в марте 1999 года следственного дела смелой женщины, спасшей нас от верной гибели, многое осталось непонятным. Да и не только мне: недоумение звучит во многих официальных бумагах органов НКВД, находящихся в деле. Определением военного трибунала Уральского военного округа от 29.09.1970 г. постановление «тройки» в отношении Ридзевской Э. А. будет отменено, но только сообщать об этом было уже некому.

Через два года не станет бабушки Лени Щепанова. Леня для меня будет какое-то время названным старшим братом по несчастью. В злосчастной лачуге спецпоселения осталась только бедная горемыка — моя мама с двумя несовершеннолетними детьми. О каком снисхождении или человеческом отношении к арестованным «врагам народа» и членам их семей могла идти речь в условиях безжалостного террора и физического насилия?!

Представьте обиженного маленького мальчика, которого без особых объяснений выставили за порог школы. Меня выгнали в самом начале учебного года. Одно утешало, что не я один в таком положении оказался, а все дети, у которых забрали родителей. Проболтавшись очередную зиму в одиночестве, я как-то весной взобрался на гору Крестовую, лег на ласковую зеленую травку среди огромных валунов, прикрытых розовым ковром шиповника. В голове невольно встал вопрос: «Кем я буду?»

Видится мне шкет, который впервые задумался о своей жизни. Кем же он будет через десять, двадцать, сорок лет? Если до

⁷ ГАДПР ПО, ф. 1, оп. 1, д. 9291, с. 58, 59.

этого не посадят... Из кармана рваных штанов торчит самодельный наган — «поджиг». Он был изготовлен из стальной трубки и свинца, залитого в деревянную изложницу. Из него я стрелял настоящим черным порохом во время уличных мальчишеских драк. «Поджиг» был моей гордостью, но не шел ни в какое сравнение с Колькиной финкой. Нож с цветной наборной ручкой подарил ему настоящий урка, у которого он «шестерит» (так ребята говорят). С Колькой мне не тягаться, да и старше он, у него друзья — настоящие жулики. «Ремесло я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу», — начинал гундосить свою любимую песню Колька. Спев несколько куплетов, он сквозь зубы, через оттопыренную губу с шиком плевал и продолжал:

Курва буду, не забуду, покалечу я Иуду...
Пилим, колем и строгаем,
Соповки мы проклинаем.
Ах, зачем меня мама родила?..

Вместо «Соловки» большинство ребят пели «Первомайку». Так звалось наше поселение. И получалось, что это наша песня и о нас. Дружки Кольки собирались по ночам в кинобудке, пили водку, играли в карты. Бывали с ними их шмары. Напьются водки и делают с ними, что хотят.

Насколько хватало глаз, кругом были скалы. Мрачные, старые ели смогли добраться на предпоследний ярус скал, окружили замаскированный вход в пещеру. У входа в пещеру сидит охрана из ястребов с серыми перьями под цвет скал. И только горы породы, поднятой из шахты и отсыпанной вдоль берега красивейшей реки, не вписываются в этот сказочный мир.

Все мои детские годы прошли на замечательной реке Косье. Метрах в двухстах выше по течению от нашего жилья река образовала естественную заводь со светлейшей родниковой водой. У барака под номером 59 из-под скалы бил кристально чистый родник. Это было любимое место для рыбалки и военных мальчишеских игр. Здесь была своеобразная «морская база» детей спецпоселения. Отсюда мальчишки ватагами организовывали путешествия в верховья реки за другое поселение, Кременное. Поднимаясь против течения в лодках-круглодонках с помощью шестов, обычно первую остановку делали под многоярусной скалой. Она нависала над Косьвой. К скале примыкал Ладейный лог, из которого, извиваясь, выходила на берег стлань и вела к немецким баракам через Лапотную поляну. За Кременным приходилось тащить лодку вдоль берега, не хватало сил преодолеть перекаты или пороги, через которые падала вниз река. Затем мы достигали песчаного острова, на котором однажды нашли большой якорь с цифрами «1856 год». Расска-

зывают, что во времена заводчиков Демидовых по реке ходили баржи с грузами, которые обменивались на шкуры зверей у северных народов. Обычно выше этого острова они не поднимались. Жуткая радость и страх охватывали, когда через пороги лодка падала вниз. Под сердцем холодело, а я старался изо всех сил направить лодку между камней-валунов по стремительной воде. Пройдя, не разбившись, через перекаты, далее можно было спокойней управлять лодкой.

Однажды с соседским мальчиком, который на два года старше, мы впервые попробовали вкус водки. У мамы в сундуке была припрятана бутылка водки для компрессов, поскольку я часто простывал и болел. Меня мучило любопытство: почему окружающим так нравится водка? Да и похвальба Кольки вызывала какое-то таинственное представление о ней. Любопытство взяло верх над нерешительностью, и, чтобы мама не догадалась, я аккуратно большой иглой проткнул картонную пробку (крышку) и через это отверстие пытался тянуть водку. Понравилось: вкус необычный, пригласил попробовать своего друга Володю. Поскольку пить было неудобно, мы, забыв об осторожности, раскрыли бутылку водки и прямо из горлышка пили. Выпили, закурили. Соседский мальчик чувствовал себя прекрасно, а меня начала бить непонятная лихорадка, какие-то судороги пошли по телу, весь горел, навертывались слезы на глаза. Накатывались какие-то волны; дрожь от страха, я долго падал в бездонную пропасть. Временами виделось желтое низкое солнце, в лицо бил захватывающий дух ветер. Все померкло... Врет Колька, после водки мне было очень и очень плохо, соседи вынуждены были срочно вызвать с работы маму. Несмотря на суровые законы, царившие в трудпоселке, она сумела упросить начальников отпустить ее с работы: сыну плохо. Когда я пришел в себя, то увидел плачущую мать. Она не ругала, не била меня, а просто с отчаянием в голосе сказала: «Ну что ты за человек? Навязался на мою голову, от тебя одно только горе...»

Много печальных событий пройдет через мою жизнь, прежде чем я осознаю, что только беспросветная, бесправная, из сплошного унижения судьба и страшный опыт многих невольников стояли за этими словами мамы, полными отчаяния, безысходности и страха потерять свое кровное дитя — единственную цель ее рабского существования! Но в тот момент мне казалось, что меня никто во всем мире не любит. Никому, никому не нужен, даже родной маме. Лучше бы она поколотила, как в прошлый раз, но не говорила этого. Прошлой осенью, ночью, возвращаясь в свою ночлежку, я увидел коменданта, идущего значительно впереди. Не помню, как у меня в руке оказался камень, скорее всего, просто по привычке нес в руке для личной защиты, и он, помимо моей воли, полетел в голову ненавистно-

му коменданту. На счастье, камень не попал в цель. Комендант, ругаясь матом, бросился в темноте догонять своего обидчика. В панике, вместо того, чтобы скрыться между сараями в какую-нибудь нору (благо таких мест было много), я ринулся в свой бывший барак, спрятался за дверь и дрожал от страха. На крыльцо вышел наш бывший сосед по бараку Людвиг Гилярович Старикович, как бы покурить. На вопрос коменданта: давно ли он здесь курит, не пробежал ли кто, Старикович ответил, что в барак уже полчаса никто не входил. Комендант покрутился, поругался: «Очень похож на недобитого гаденыша» (и назвал мою фамилию), постоял, выслушал слова в защиту «гаденыша» и ушел.

В свой выходной день мама била меня ремнем так, что я потом долго не мог сидеть. Мама плача приговаривала: «Ты что, решил нас посадить в тюрьму?» Через день после порки во время купания ребята, увидев мое тело в красных рубцах (обидно до слез), смеялись надо мной. Колька бросил: «Ты чего ей сдачи не дал?»

И вот теперь я стал пьяницей. Может быть, прав комендант, называя меня «недобитым гаденышем»? До того плохо я себя чувствовал, что жить не хотелось. Действительно, от меня одно только горе и лишние заботы. И как не везет в жизни: трижды тонул, зачем-то вытаскивали (последний раз еле откачали)... Но материнское сердце, вмещавшее в себе безмерное милосердие, смилостивилось, и в очередной раз я был прощен.

Летние дни на северной реке пролетают быстро. Незаметно закончилось лето. Туман с реки слоился, волновался по диким отрогам окрестных скал. Лишь Крестовая гора, как одинокий путник, плыла среди причудливых «старинных замков», сменяемых «дремучим лесом». С незапамятных времен получила она свое название из-за большого креста, поставленного на вершине. Кто установил на скале крест? Никто не помнит. Если на нее взобраться в ясную погоду, то можно увидеть вдали соседние селения, дымы больших городов и внизу серебристую Косьву. Так я однажды понял, что есть еще где-то за горизонтом другой мир, недоступный для меня.

Пришла зима. Задышал, затрещал мороз. Радостные дети высыпали из барачков на прогибающийся лед: кто на саночках, счастливики — на коньках. Зимние метели скоро заметут их жильё, сорокаградусные лютые морозы загонят всех по домам. Только отчаянные мальчишки, привязав к галошам, валенкам самодельные лыжи, изготовленные из дощечек от больших бочек, будут спускаться с крутых скал и гор. Летом мы с мамой в ее выходной, собирая малину в лесу, нашли кем-то припрятанные настоящие лыжи с палками. Сколько для меня было радости от этой находки! Бывало, я уходил за 12 километров к не-

мецким баракам кататься. Прекрасно скользили лыжи, со свистом мелькали по сторонам деревья и скалы! Я представлял себя красноармейцем. Падая, я отражал нападения окружавших меня «врагов». Так, в одиночестве «навоевавшись», усталый, весь в снегу возвращался я в свою конуру-хибару. Каждую зиму я строил снежный городок, пробивая выход из нашей хибары, погребенной снегом. Под снегом не дует злой ветер.

Запомнились мне страшные длинные ночи в кромешной тьме, когда так хочется плакать в одиночестве от горькой обиды на жизнь. Вот уж несколько лет, как отец стал «врагом народа», я — сыном «врага народа»! Нет, и я сам теперь — «враг народа». Я по ночам вынужден брать уголь для маленькой железной печурки: иначе мы бы замерзли в этом сарайчике. По закону спецпоселения за это полагается тюрьма. Добрая соседка сказала маме: «Пусть твой сын каждый раз приходит, когда я работаю в ночь, за углем. Авось пацана не поймут, а тебе приходиться нельзя — посадят».

Она работала откатчицей вагонеток, которые по канатной висячей дороге переправлялись на другой берег реки Косьвы, а дальше уголь грузили в железнодорожные вагоны и увозили в огромную страну, где-то существовавшую за горизонтом моих представлений. Когда работала тетя Аня, я брал саночки с установленной на них детской ванночкой и крался к «висячке» (так народ называл угольный откатной участок шахты). Тетя Аня, трясясь от страха, забрасывала в ванночку несколько кусков угля, и я убежал от «висячки», чтобы не поймали. Чужие шахтерские рваные галоши постоянно слетали с моих ног. Было жутко.

Но зато какая радость — прибежать, не раздеваясь, затопить печурку, сняв галоши, придвинуть вплотную ноги к «буржуйке», испытывая ломящую, нестерпимую боль в замерзших ногах и руках, и греться! В этот момент я обычно начинал дремать у почти живого, ласкового огонька, и мысли текли, путаясь, перескакивая с одного на другое.

Огромной радостью для меня была игра на гармошке, которую мне купила мама с условием, что я не буду пропадать на улице. Уличные дети болтались от нечего делать, где придется. Иногда они собирались стаями и устраивали настоящие драки, до крови противника. Я в драке не прятался за чужие спины, но почему-то у меня появились острые страхи по ночам, особенно после прочтения повести «Вий» Гоголя. Хорошая учительница научила меня в пять лет читать и писать. Так что я — грамотный!

Почти всегда один сижу по ночам, греясь у огня. Проходят длинные шесть дней, и только на один день начальники отпускают маму с работы. Она работает далеко, в соседнем городе. Сколько себя помню, все время жил с бабушками: сначала с

родной, затем с чужой, ставшей почти родной, а мама зарабатывает на хлеб и еду. Вот так всю дорогу один — без мамы и отца. Да и как же иначе? Кому я нужен? Никому до меня дела нет. Что это за жизнь такая? Окружающие взрослые почему-то зовут меня сиротой. Хорошо моему другу: у него папа, мама, брат и сестра... Безотцовщина, отчаянное одиночество, безысходность, чувство постоянного холода из далекого «счастливого» детства преследовали меня всю оставшуюся жизнь.

События и годы нашей жизни могут показаться незначительными и ничтожно малыми явлениями, если подняться до понимания вселенского мироздания. Однако в них, как в детской слезе, вы сможете увидеть великую трагедию и ужас бытия и бесправия несчастных спецпереселенцев.

Меня выгоняли из нескольких школ. В результате я потерял два учебных года. Четыре класса мне удалось закончить в 13 лет, с хорошими оценками за учебу. Смотрели мы на взрослых ребят, отъявленных хулиганов и воров, как на героев. Играли в «чичу» на деньги и в другие азартные игры. Познали мы блатные песни, которые прельщали нас своей «романтикой».

Как-то зимним вечером в 1997 году я с обидой сказал маме, что я рос брошенным ребенком, даже когда из школ выгоняли, она меня не защитила. Мама ответила: «Ходила и просила, кого могла, не тебя одного выгоняли из школы. Всех детей, у кого родителей арестовали». Невольно вырвавшийся упрек я до сего дня не могу простить себе и замолить перед памятью моей великомученицы-мамы. Последние пять лет своей жизни она лежала в постели, обездвиженная болезнями, приобретенными в ссылке. Какими все-таки жестокосердными мы бываем с родными и близкими! Их жизнью и смертью распоряжались органы НКВД. Жизнь была самая безотрадная и небезопасная в окружении ссыльных и заключенных, тогда постоянно приходилось слышать: там-то ограбили, там-то убили. Не проходило почти ни одной ночи, чтобы следующим днем не было разговоров среди пацанов, да и взрослых спецпереселенцев о каком-то страшном происшествии. Все мы пребывали в постоянном страхе. Мама от постоянной тревоги, беспокойства за судьбу сына, мужа, а также после полученного в болотах севера тяжелого заболевания очень тяжело хворала. Однако самоотверженно ходила на работу: кому-то надо было кормить двух несовершеннолетних подростков.

Моя родная, самоотверженная, самая добрая, несравненная мама! Прости, ради Бога, меня!

Видел я в детстве военнопленных (немцев, «власовцев»), живших по соседству в лагере, а также спецконтингент, подвергнутый проверочно-фильтрационным мероприятиям. Некоторым из них доверяли откатывать в вагонетках поднятую из шахты на

поверхность породы. От немцев впервые услышал: «Гитлер капут». Заключенные и спецпереселенцы пытались бежать, их ловили. Лично я наблюдал несколько облав на беглецов, но был случай, когда шестеро «власовцев» ушли с концами через гору Крестовую. Видел и ничем не оправданную жестокость и изуверство.

А тем временем шла война, прибывали раненые, ввели затемнение на какое-то время, появился в спецпоселке и первый Герой Советского Союза — раненый танкист. О, как мы, пацаны, гордились нашим героем и завидовали воевавшим на фронте! Ребята из трудпоселка стали обучать стрельбе из боевой винтовки образца 1899—1930 годов. Многие из них в семнадцать лет уйдут на фронт.

Несмотря на военное время, мы жили своей жизнью и радовались, что живем: летом целыми днями пропадали на реке Косьве, рыбачили днем и ночью (лучили с острогой), купались. Пройдя суровую школу на реке, я научился хорошо плавать.

Были события, за которые мне до сих пор стыдно. Во время войны пригнали на «трудовой фронт» узбеков (так мы их называли) и разместили их в бараках в Ладейном логу. Мы, мальчишки, их презирали за то, что они копили деньги, продавая свою и без того маленькую пайку хлеба, а как следствие — многие опухали с голоду и умирали, оставляя деньги спрятанными в цветных халатах. (Мы не понимали, что они думали о родных, собирая деньги, надеясь помочь им.) Развлекались пацаны, натягивая поперек их дороги проволоку, а они, опухшие от голода, запинаясь за нее и падали на землю. Меня слабо утешает, что я только однажды присутствовал при таком «развлечении». Гонялись мы верхом на «шахтерских» лошадях в ночное, болтались днем и ночью на улице, летом лазали по скалам, взбираясь к ястребиным гнездам. Интересно было наблюдать, как птицы пытались увести нас от своих гнезд с птенцами. Нам были знакомы эти чувства через наших матерей, беззащитными птенцами которых мы были. Мы, дети «врагов народа», сироты, пользовались предоставленной свободой, а в округе были зоны, лагеря с заключенными. Другой жизни я не знал и не представлял, о другой участи не мечтал...

В самом страшном несчастье были и светлые моменты. Благодаря бабушке Леонида Щепанова, урожденной дворянке, я почти в четырехлетнем возрасте познакомился с поэзией А. С. Пушкина. Сколько стихов она помнила! Как она их изумительно читала, непередаваемо! Ах, какая самоотверженная, славная, поэтичная натура была! Сколько сердечной теплоты, заботы проявила о своем внуке и обо мне в силу своей высокой культуры, образованности! После смерти бабушки Леня остался совершенно один, круглым сиротой, а я — без ее трогатель-

ного присмотра. Спустя несколько лет Леня женился и переехал от нас к жене. Он сначала работал помощником, а затем машинистом подземного электровоза, который возил маленькие вагонетки с углем и породой из шахты на поверхность. Мы с Ленией не стали волчатами, не ожесточились от человеческой несправедливости, с лихвой выпавшей на нашу долю. Сейчас, когда пришло время отдавать долги, все мои попытки разыскать сына Лени не дали результата. А как хотелось бы признаться в любви запоздалой к давно ушедшему прекрасному человеку, сказать «спасибо» хотя бы ее потомкам.

Любовь к чтению, которую привила мне бабушка Лени, в конце концов все-таки взяла верх над улицей. Началась стадия моего запойного чтения всего подряд: от Льва Толстого до «Спутника деревенского физкультурника». В городской библиотеке не знали, как отвязаться от двенадцатилетнего подростка. Эта любовь ко всему прекрасному, возвышенному победила во мне грязь зоны и лагерей, влияние всей перевернутой морали окружавшего нас воровского мира. И тем не менее я до сих пор недоумеваю, как мы с Ленией не стали, как многие из нашего окружения, хулиганами. В 1946 году мы с моим другом замыслили побег в город Клайпеду, где жила его тетька, чтобы стать юнгами. Не суждено было исполниться нашей мечте о походах в далекие моря. Мой друг до последнего времени работал главным геологом одной из шахт Кизеловского угольного бассейна.

Но мне необходимо завершить жизнеописание рода Лисициных. Судьба оставшихся членов семьи сложилась не лучшим образом. Борис Иванович Лисицин сошел с ума на лесоповале и через год после смерти отца умер. Петр Иванович — умнейшая, утонченная, высокообразованная личность, учитель, который до раскулачивания учил в сельской школе крестьянских детей, — находясь в ссылке, ослеп, стал инвалидом первой группы. Он, не видя мира, прожил более 90 лет. Их сестра Ирина Ивановна попала в ссылку под Воркуту, умерла в северном городке Ухте. Сгинут некоторые из Лисициных, отбывая ссылку в Сибири.

Бесправие, каторга лесоповала, смерть мужа и сына, отсутствие вестей о родных, разбросанных злой судьбиной по свету, делали вдвойне непереносимой долю матери шестнадцати детей Агафьи Мироновны Лисициной. Сколько же надо было иметь мужества, чтобы опекать сыновей, дочь и внучку (мою маму) в тяжелейших условиях ссылки! Мне довелось ее видеть не раз и присутствовать с моей мамой в 1946 году на ее похоронах.

Вера Ивановна Лисицина, красивая натура, умница, выйдя замуж за активного комсомольца, прибывшего по оргнабору для работы на новостройках пятилеток, прожила длинную, полную мучений и страданий жизнь. Леонид Макарович, так звали ее

мужа, полюбив юную красавицу, образованную спецпереселенку, совершил благородный, смелый поступок. Взяв в жены поднадзорную, он выложил комсомольский билет. Он испросил разрешение поехать с женой в отпуск на свою родину, под г. Горький, в 1937 году. Разрешение, на удивление, выдали, учитывая примерную их жизнь в трудпоселке. Их пребывание в отпуске было под контролем уже представителей НКВД Горьковской области. В 1944 году Вера Ивановна подала заявление в органы НКВД Молотовской области с просьбой восстановить ее в политических правах, ссылаясь на военные заслуги мужа и собственную примерную жизнь. Леонид Макарович воевал, был ранен и награжден в 1943 году под Сталинградом. Вера Ивановна в это время мучилась с малолетним сыном, инвалидом детства после перенесенного менингита. Мне, десятилетнему мальчику, не раз приходилось нянчить вечно плакавшего их ребенка. Веру Ивановну восстановили во всех правах на основании заявления.

Здесь уместно сказать добрые слова о некоторых уральских чекистах. Сейчас в основном чекистов тех лет красят в черный цвет. Однако много в их среде было и порядочных людей. Исключительно признателен и сердечно благодарен я поселковому коменданту НКВД трудпоселка шахты им. 1-го Мая Тубольцеву, райкоменданту Губахинской райкомендатуры НКВД Важенину, начальнику Губахинского УО НКВД майору госбезопасности Пермякову, старшему оперуполномоченному ОСП УНКВД капитану госбезопасности Селютину, заместителю начальника ОСП УНКВД по Молотовской области капитану госбезопасности Фокину, начальнику УНКВД по Молотовской области комиссару госбезопасности Захарову, заместителю прокурора Молотовской области Коровкину за подготовленное и принятое постановление от 18 августа 1944 года об освобождении из спецпоселения Веры Ивановны Лисициной-Копосовой.

О других родственниках мне ничего не известно.

Выйдя на пенсию по старости, проработав всю жизнь с раннего детства, моя мама при мизерной зарплате за все годы рабского труда будет получать минимальную пенсию до конца дней своих. К слову сказать, нашей зарплате нам хватало на всю семью, так что об этом никогда и речь не заходила. Имея на руках паспорт, моя мама наконец-то в 1947 году, после многократных обращений и ходатайств ее начальников в городской отдел милиции, получила разрешение покинуть Губаху на основании специального вызова (какого по счету, не знаю) на выезд моего старенького дедушки.

До Отечественной войны дедушке и бабушке было разрешено уехать на родину. Они покинули спецпоселок «ввиду пре-

старелости, в связи с отсутствием социальной опасности...», с надеждой построить жилье у себя на родине и вытащить нас из неволи. Настал для нас желанный день! Нам разрешили покинуть угрюмый край! Перед отъездом мама жутко плакала на могиле своей бабушки, вспоминая усопших в северных лесах деда и дядю. «Живите, не забывайте», — говорила она на прощание родным, обнимая мою тетю.

Подростком с письменной характеристикой от моей учительницы — «мальчик любит тихие игры...» — я оставлял мою страшную родину с радостью и надеждой, что будет лучше и счастливее у родного деда. Моя милая деревенька находилась неподалеку от станции Шентала Куйбышевской области. По воле счастливого случая (возможно, это судьба) я попал в класс, которым руководил дореволюционной формации учитель русского языка и литературы. Исключителен его вклад в становление моей личности. Незабвенный, дорогой учитель, милый моему сердцу Михаил Моисеевич Гусев! Слов нет, чтобы воздать должное его памяти! Как трепетно и умело вел он нас за собой, призывая мечтать о несбыточном, посылая наши мечты так высоко, что временами дух захватывало!

Осень голодного 1947 года запомнилась мне не только «хлебцами» из лебеды, но и лаптями. Мой дед за один вечер сплел изумительные по удобству для ног и легкости в ношении лапти. На следующее утро обулись мы с ним в лапти и пошли зарабатывать «трудодни» в колхозе. Дедушка надеялся, что я свяжу свою жизнь с пчеловодством, понимая, что его внуку другого не дано, и готовил исподволь к этому. Я же поставил перед собой еще после седьмого класса задачу — поступить после окончания школы в МВТУ им. Баумана и целенаправленно готовился все годы, занимаясь по вузовским учебникам, решая задания по программе МГУ и физико-технического института. Временами на меня находили апатия, отчаяние: лбом стену не пробить.

Школу закончил с двумя оценками «хорошо», остальные «отлично». В 1953 году я оставил свою благословенную деревню Черная Речка. Низко поклонился еще не осевшей могиле любимого деда, простился с домиком под соломенной крышей, с тяжелым сердцем покидая край, в котором прошли лучшие годы юности. Я храбро ринулся в штормящее житейское море. Наивная личность ехала в Москву! Политическая ситуация в то время была непростой, если учесть, что Москва жила слухами о несостоявшемся перевороте, об аресте Берии. Парки были заполнены войсками, поговаривали, что в ночь ареста к Москве шли танки. Возможно, эта неопределенная ситуация сказалась на настроениях членов приемной комиссии. В общем, что-то не сработало в «системе». Но все время в душе, как заноза, сидело сомнение, посеянное членом приемной комиссии, который,

принимая у меня документы, обронил: «С такой анкетой трудно будет поступить».

Два дня спустя после обнародования списков поступивших счастливицков меня пригласили на мандатную комиссию, где и было задано несколько вопросов: «Вы написали в анкете, что ваш отец был осужден в 1937 году по 58-й статье. Что еще вам известно? Можете что-то добавить к изложенному в анкете? У вас одна мать в деревне осталась? Она сможет вам помочь? Предлагаем вам добровольно забрать свои документы». Я протестовал: «Вы не имеете права так поступать со мной! Я успешно прошел по конкурсу! Сын за отца не отвечает». Грозился, что пойду на прием к К. Е. Ворошилову.

Перечитывая эти строки ночью 5 марта 1998 года, я подумал: наверное, счастье, что не стал добиваться справедливости у Ворошилова, сатрапа, «плясуна» застолий у «великого вождя». Могло случиться, что клерки Ворошилова окончательно перечеркнули бы мою судьбу.

В конце нервного разговора, более всего похожего на унижительный, оскорбительный допрос, детали которого намеренно опускаю, сидевший во главе стола импозантный, с красивым злым лицом мужчина от имени мандатной комиссии заявил: «Вы у нас учиться не сможете и не будете! Рекомендуем вам взять свои документы по-хорошему! В противном случае они будут высланы по адресу, указанному в анкете. Упорствовать не совету!»

Жалкий, растоптанный, уничтоженный вышел я в сквер перед главным корпусом МВТУ и впервые не смог сдержать своих чувств. Горько было от обиды, несправедливости, бессилия, сердце раздиралось безысходностью положения. Казалось, жизнь кончена, нечего в жизни ждать, все для меня закрыто, главная цель моего будущего рухнула...

В моей печальной судьбе это был не единственный и не последний удар. Прошла целая жизнь в поисках истины, прежде чем автор, исследуя имеющиеся материалы, познает многое досель неизвестное, возможно, тщательно скрываемое. Огромный пласт приоткроется совершенно неожиданно 26 августа 1998 года. Спустя 37 лет со времени последней встречи сидели мы с родной тетей и перелистывали год за годом страницы прожитой книги жизни. Благодарю дорогую тетю за ее подвиг. Это надо же, какой подарок она преподнесла! Мало того, что она меня разыскала, так ведь она, старый, больной человек, приехала в последний раз повидать любимого племянника. После этого я остро осознал свой неоплаченный долг перед ней и памятью родных. Понял отчетливо и другое: что на подобное уже не способен, просто сил не осталось. Позвольте схематично, буквально отдельными штрихами обозначить некоторые темы из

многочасовой беседы, ярко высветившей события прошлого под новым углом зрения.

— Тетя Анна, мне мама рассказывала, что семью отправили в ссылку по злему умыслу председателя Старо-Шенталинского сельсовета? — спросил я.

— Да, — отвечала тетя. — Без слез не могу вспоминать, сколько мы страха, ужаса, голода натерпелись! Я не знаю, были бы мы живы, если б не смелость моего отца. Возможно, сгнули бы в архангельских болотах и лесах. Мой отец, Александр Афанасьевич, настоял, чтобы мы, дети, бежали из Архангельской ссылки, а затем и сам убежал. Мы с твоим отцом много дней и ночью пробирались вдоль побережья реки Северной Двины, боясь заблудиться. В болоте стоять на месте нельзя: засосет. (Это все было знакомо мне по собственному опыту.) Так добрались до притока реки Камы. Далее мы на дырявой лодке сплавлялись, питаюсь тем, что находили в лесу, и поданием добрых, сердобольных людей, пока не оказались в районе г. Соликамска, где нас и поймали милиционеры. Для порядка, чтобы в будущем не было желания убежать, жестоко избили...

...Дети мои, за мирской суетой вечно скрытный, с закрытой душой, я никогда не исповедовался перед вами. Каюсь, что до последнего времени вы так и не знали многое из того, что я носил в своем сердце. Именно вам и детям «врагов народа», к коим принадлежит ваш отец, посвящаются эти строки. Если бы вы знали, как тяжело, с какой болью в сердце дается каждая новая строчка спустя годы. Вся сознательную жизнь мысленно я повторял про себя: ты — изгой из касты проклятых. Знай и помни: ты несешь клеймо на себе от рождения! Вся жизнь ни днем, ни ночью (ко мне почти каждую ночь во сне приходят те страшные тени из прошлого) не могу забыть ужаса, вошедшего раз и навсегда во все мое существо. Самое страшное из моей жизни, конечно же, уйдет со мной в могилу, по-иному это было бы жестоко и бессердечно по отношению к вам, родные мои кровинки.

В 1995 году я прочитал одиннадцатитомное дело, теперь у меня есть документы. Следствие по делу 500 человек было закончено дней за 10—15.

*«Выписка из протокола заседания тройки УНКВД
Свердловской области от 15 ноября 1937 г.»*

Слушали: дело 15199 по обвинению Дементьева Михаила Александровича, 28 лет, ур. дер. Шентала Клявленского района Куйбышевской обл.

Кулак. Трудопоселенец. КР повстанец. Обвиняется в том, что с 1935 г. являлся активным участником ликвидированной КР повстанческой организации. Входил в состав отделения химиков и являлся командиром стрелкового КР отделения.

Вел оголтелую КР пропаганду пораженческого характера.

Постановили:

ДЕМЕНТЬЕВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА — РАССТРЕЛЯТЬ.

Лично принадлежащее имущество конфисковать.

Секретарь тройки УНКВД подпись /Калугин/.

Верно: инспектор 8 отд. (подписи нет)⁸.

Правдой был только приговор тройки УНКВД от 15 ноября 1937 года, приведенный в исполнение на следующий день, 16 ноября в 24 часа.

Они его расстреляли! Расстреляли...

Многие годы была слабая надежда, что отец жив, оставалась даже после получения справки о его реабилитации в сентябре 1958 года. В справке было сказано: «Постановление тройки УНКВД Свердловской области от 15 ноября 1937 г. в отношении Дементьева Михаила Александровича отменено, и дело производством прекращено за недоказанностью состава преступления...» И вновь сомнения: формулировка должна быть иной — в связи с отсутствием самого «состава преступления».

Совсем смутили строки из письма УКГБ по Пермской области, где сказано: «На Ваше заявление от 26 января 1960 г. сообщаем, что ваш муж... был осужден 15 ноября 1937 г. на 10 лет ИТЛ и, отбывая наказание, умер в заключении 29 апреля 1945 г. от эмфиземы легких. За свидетельством о его смерти обратиться в Губахинский загс... За справкой о реабилитации рекомендуем обратиться в Пермский облсуд»⁹.

Так, в феврале 1960 года и слабая надежда, что отец жив, разбилась о сухие строки письма из УКГБ, адресованные маме. До этого лживого письма мама все годы каждодневно ждала возвращения своего Михаила, надеясь на чудо...

Перед всеми товарищами отца без исключения автор молча склоняет голову в знак высокого уважения к их тернистому пути на Голгофу.

И еще выдержка из письма В. Н. Марченко, сына Н. Т. Марченко: «...Очень был тронут Вашим письмом с описанием поездки на место гибели наших отцов. Не знаю, что на меня подействовало, но я просто рыдал, читая его. Долго не мог успокоиться и, конечно, помянул всех, всех ушедших в мир иной... Я постоянно перечитываю Ваше письмо и все время думаю о наших ушедших родителях. Какие они перенесли муки! Нам, очевидно, даже не представить. Хотя я с некоторыми, которые вер-

⁸ ГАДПР ПО, ф. 1, оп. 1, д. 8144, т. 1, с. 183; т. 4, с. 399.

⁹ УКГБ при СМ СССР по Пермской области. Письмо начальника отделения, исходящий № 3/1-20-6 от 13.02.1960 г.

нулись оттуда вскоре, т. е. в конце 1937 года, в 1938 году и позже разговаривал. Кое-что врезалось в память. Мне 4 мая 1937 года исполнилось 11 лет, и помню я многое. Те, что вернулись, рассказывали ужасные вещи: арестованных выводили в лютый мороз на двор, заставляли раздеваться до исподнего, наливали воды в сапоги (валенки), поливая, как в душе, и били, если они шевелились. Держали, пока вода, налитая в сапоги, не замерзала, или караульные замерзали, тогда прекращалась эта экзекуция... Паяльной лампой жгли... Много всего (бывшие подследственные) рассказывали, когда напивались, а трезвые всегда молчали...»¹⁰.

Славные представители НКВД во время массового террора только в одном 1937 году «поставили к стенке» под г. Свердловском 4309 человек из Прикамья. Никто из представителей власти не принес официальные извинения и сожаления по поводу вопиющего преступления, даже словом не обмолвился в адрес палачей.

Но есть Божий суд, от которого не скрыться за понятием «работала система!» Перед смертью все равны. Убедительно прошу поверить, что автор ни в коем случае не руководствовался в своих изысканиях принципом «око за око...», а только поиском истины, правды о событиях, полных ужаса. Боже упаси, уважаемый читатель, допустить подобную мысль. Кровавая месть есть удел жестокосердных извергов.

Он простил всем, даже осведомителю В. К. Ферсенко, 1903 года рождения, слесарю 4-го участка шахты им. Калинина, бывшему члену ВКП(б). Провокатор «пачками давал показания на рабочих-трудопоселенцев шахты, которые подписывал, не читая их». Комендант трудпоселка шахты в своих показаниях следователю говорил, что «Ферсенко этим только предотвратил свой арест...» Доносы его просто было неприятно брать в руки. Общеизвестно, рано или поздно, за редким исключением, открываются имена действительных осведомителей. Жить под вечным страхом быть разоблаченным и проклятым родственниками жертв доносов, сознавая неотвратимость всеобщего презрения,— историческая доля потомков из рода Иуды...

Высшая справедливость, земля, обильно политая кровью невинно загубленных, взывают к прокурору Пермской области, Генеральному прокурору России, председателю комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте России — подать протесты:

1. Об изменении формулировки Постановления Президиума Молотовского суда от 30 ноября 1955 года (дело 44-У-14с)

¹⁰ Марченко В. Н. Письма.

по обвинению Каркошка Алексея Григорьевича, Дементьева Михаила Александровича, Рассошенко Тихона Ивановича, Марченко Николая Тихоновича и других в части, где сказано: «...дело производством прекратить за недоказанностью состава преступления». Взамен должна быть следующая редакция:

«Постановление тройки УНКВД Свердловской области от 14 и 15 ноября 1937 года (в отношении Каркошка Алексея Григорьевича, Дементьева Михаила Александровича, Рассошенко Тихона Ивановича, Марченко Николая Тихоновича и других в числе 61 человека) *отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления*».

Вместо эпилога

«Работа этого человека была сродни работе разведчика. Известный лишь узкому кругу специалистов, он, тем не менее, занимался делом, результаты которого трудно переоценить. В пока еще существующей боеспособности сегодняшней России есть и его весомый вклад...

...В известной степени на характер Дементьева большой отпечаток наложило его суровое детство. Семья много лет провела в репрессивных лагерях, а отец был расстрелян в конце тридцатых под Екатеринбургом...»¹¹.

Это сказано об авторе воспоминаний. И последние скорбные строки о его родных.

Дементьев Александр Афанасьевич — глава рода, реабилитирован 31.03.1997 г. посмертно¹².

Дементьева Татьяна Леонтьевна — жена главы рода, реабилитирована 31.03.1997 г. посмертно¹³.

Дементьев Михаил Александрович — сын главы рода, реабилитирован дважды: 30.11.1955 г. и 31.03.1997 г. посмертно¹⁴.

Дементьева Анна Александровна — дочь главы рода, реабилитирована 31.03.1997 г.¹⁵

Дементьев Владимир Михайлович — внук главы рода, реабилитирован 21.04.1997 г.¹⁶

¹¹ Пермские новости, 1998, 11 дек.

¹² Управление внутренних дел Самарской области. Справки о реабилитации Дементьевых, № Д-2/97 от 31 марта 1997 г.

¹³ Управление внутренних дел Самарской области. Справки о реабилитации Дементьевых, № Д-2/97 от 31 марта 1997 г.

¹⁴ Управление внутренних дел Самарской области. Справки о реабилитации Дементьевых, № Д-2/97 от 31 марта 1997 г.

¹⁵ Управление внутренних дел Самарской области. Справки о реабилитации Дементьевых, № Д-2/97 от 31 марта 1997 г.

¹⁶ Управление внутренних дел Пермской области. Справка о реабилитации Дементьева В. М., № 10/3 2926/з/ от 21 апреля 1997 г.

Лисицин Иван Иванович — глава рода, реабилитирован 27.08.1997 г. посмертно ¹⁷.

Лисицина Агафья Мироновна — жена главы рода, реабилитирована 27.08.1997 г. посмертно ¹⁸.

Лисицин Петр Иванович — сын главы рода, реабилитирован 27.08.1997 г. посмертно ¹⁹.

Лисицин Борис Иванович — сын главы рода, реабилитирован 27.08.1997 г. посмертно ²⁰.

Лисицина Вера Ивановна — дочь главы рода, освобождена из ссылки в 1944 году и восстановлена во всех политических правах, выдан паспорт, реабилитирована 27.08.1997 г. посмертно ²¹.

Большинство из них так и остались в земле Урала. Их добрые имена восстановлены после соответствующих обращений с заявлениями автора этих строк. Фактически их было значительно больше, но не все упоминаются на этих страницах.

Давыденкова Антонина Семеновна — внучка главы рода Лисициных, освобождена из ссылки в августе 1947 года, осталась нереабилитированной ²². Накануне ее смерти представитель УВД МВД Пермской области посетил семью Дементьевых с целью получения дополнительной информации. Посчитав невозможным отягощать последние часы тяжелобольной мамы горькими воспоминаниями о пережитых страданиях в ссылке, сын и сноха попросили ее подписать заявление о приостановке работы по реабилитации.

Она умирала спокойно, со светлой улыбкой на устах. В последние свои минуты она никого не звала... Мама, мамочка моя! Она умерла ровно в полдень 22 июня. Ушла Великомученица, не обеленная, у которой суровая система власти отняла все, что смогла. Горемыка так и не узнала о реабилитации родных.

Перед Богом все равны...

¹⁷МВД Республики Беларусь. Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета. Справки о реабилитации Лисициных, № 4006 от 27 августа 1997 г.

¹⁸МВД Республики Беларусь. Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета. Справки о реабилитации Лисициных, № 4006 от 27 августа 1997 г.

¹⁹МВД Республики Беларусь. Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета. Справки о реабилитации Лисициных, № 4006 от 27 августа 1997 г.

²⁰Пермский областной суд МЮ РСФСР. Справка № 44-У-14с от 18 сентября 1958 г.

²¹МВД Республики Беларусь. Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета. Справки о реабилитации Лисициных, № 4006 от 27 августа 1997 г.

²²МВД Республики Беларусь. Управление внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета. Письмо начальника ИАЦ А. П. Логинова, исх. № ОР/1242 от 29.08.1997 г.

ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ

Мой муж Генрих Романович Терпиловский в конце 20-х годов сдал экзамены в Ленинградский политехнический институт, но принят не был как сын шляхтича, полковника царской армии. Он закончил сельскохозяйственный институт, работал в Ленинградском управлении совхозами экономистом. Еще в середине 20-х годов Терпиловский увлекся джазом, играл в различных танцевальных ансамблях, писал аранжировки. В 1929 году написал оркестровую пьесу «Джаз-лихорадка», которая стала одной из первых советских джазовых композиций (исполнена впервые джаз-капеллой 23.03.1930 года, записана в 1934 году Всесоюзной кинохроникой в исполнении джаз-оркестра под руководством А. Варламова). В 1930—1934 годах Терпиловский написал ряд произведений для джаза, в том числе «Варьете», «Иллюзион», «Блюз Моховой улицы». В 1933 году вошел в ленинградскую комиссию по джазу вместе с Дм. Шостаковичем и И. Дунаевским. В 1934—1935 годах возглавил молодежный эстрадный оркестр Ленинградского обкома ВЛКСМ, который выступал в кинотеатре рабочей молодежи (КРАМ). По заказу Ленрадио в 1934 году написал вокальный цикл на слова Ленгстона Хьюза «История негра». В 1940 году создал водевиль «Девушка-гусар», в 1943-м — оперетту «Я вам пишу» (оба произведения поставлены в филиале Хабаровского театра музыкальной комедии). С 1954 года руководил эстрадным оркестром и народным театром музыкальной комедии в Перми, во Дворце им. Свердлова, работал также дирижером драмтеатра. Написал музыку к трем спектаклям областного драматического театра, к 14 спектаклям театра кукол, а также создал музыку трех балетов (поставлены в Перми и Горьком), симфонию «Амок» (1965), симфоническую фреску «Молодость Кубы» (1980), «Уральскую рапсодию» (1955), «Мексиканскую рапсодию» (1960), 15 хоровых произведений, в том числе кантату «Урал» (1957), «Кантату о Перми» (1973), более 100 песен и инструментальных пьес для эстрадных и джазовых составов.

В 1966 и 1967 годах был членом жюри международных таллинских фестивалей, в 1975—1980 годах стал почетным гостем на «Джаз-джэмбори» и «Варшавской осени».

Терпиловский был одним из первых джазовых аранжировщиков и композиторов, о нем написано более 30 статей в совет-

* *Генрих Романович Терпиловский* (1910—1988) — композитор, музыкант. После многолетних отсидок и ссылок жил в Перми. Нина Георгиевна Терпиловская — его вдова.

ской центральной и зарубежной прессе. Позднее его называли «последним аристократом джаза». Многие его произведения изданы в московских сборниках.

А встретились мы с моим дорогим и безгранично любимым человеком в 1943 году. Война была в самом разгаре, а когда она началась, меня как будто кто-то толкал, тихо шепча: иди в армию. Повинуясь столь усиленному нажиму извне, я уволилась с работы в крайфинотделе, где работала старшим бухгалтером бюджетного управления, пошла на призывной пункт и попросила взять меня в ряды Красной Армии. Многих девушек призывали в то время, но мой возраст не подходил под призыв. Тем не менее я преуспела в своих просьбах и попала на Дальний Восток в батальон аэродромного обслуживания БАО 805. Была солдатом, как и все девочки, прибывшие вместе со мной. Вскоре меня взяли в канцелярию. Участвовала в самодеятельных концертах, играла в спектаклях и пела. Однажды мы поехали с концертами на ЦАРЗ (центральный авиаремонтный завод). После концерта меня пригласили в одну из гримерных при клубе, где находилось человек пять мужчин. Я растерялась, но, услышав просьбу спеть все, что я могу, знаю и хочу, успокоилась. А знала я много лирических песен, цыганских романсов и арий из оперетт. Когда я таким образом развлекала своих слушателей, вошел молодой мужчина очень высокого роста. Он скромно сел в дальний угол на диван и ничуть не помешал мне, но странно: между нами протянулась невидимая нить, мы часто взглядывали друг на друга, и эта нить как будто соединила наши сердца воедино, пока еще бессознательно.

С того вечера я, под предлогом репетиций, ссылаясь на отсутствие в нашем БАО аккомпаниатора, частенько прибегала в зону ЦАРЗа, чтобы увидеть этого милого, обаятельного, скромного и умного человека. Все отпущенное мне время мы отдавали работе, разучивали новые песни, соприкасаясь друг с другом только взглядами через разделяющий нас рояль. В одну из очередных репетиций я очень пристально посмотрела в глаза Генриха Романовича (до этого я стеснялась), и вдруг в моем сердце как будто повернули какую-то пластинку, я полюбила его мгновенно, сильно и навсегда. Бывает ли так? Да, бывает, и со мной это произошло! Проведя беспокойную ночь, едва дождавшись рассвета, я побежала в зону (у нас был тайный лаз). От переполнявшего чувства стало тесно в груди. Я вбежала в комнату, в которой он жил при клубе, почти без чувств. Он все понял, так как сам уже любил меня. В это утро мы стали мужем и женой перед Богом, но не перед людьми. От людей нам надо было скрываться. Но как ни были мы осторожны, о нашей любви все же узнали, и нас разлучили. Меня посадили на гауптвахту за связь с эзком, а Генри этапом отправили на Биракан.

До того, как все это произошло, прежде чем Терпиловский оказался в ЦАРЗе, много ему пришлось вынести физических мук и пыток, которые над ним учиняли. Он вытерпел все! Как справедливо сказал Л. О. Утесов о Терпиловском: «Да, он терпелив, очень терпелив, и фамилия его очень ему подходит». Он выдержал пытки, он выдержал восемнадцатимесячное пребывание в камере-одиночке, в камере смертников, откуда его выводили почти каждую ночь на расстрел, чтобы под страхом смерти заставить его признаться в том, в чем он не был ни в коей мере виновен. Признаться в том, что он якобы был организатором террористической группы, совершившей убийство С. М. Кирова. А взяли его в Алма-Ате, куда он был выслан из Ленинграда, потому что отказался сотрудничать с ОГПУ и доносить на своих, таких же ссыльных, несчастных товарищей.

О тех страшных годах написано немало. Я же могу передать только то, что мне рассказали те немногие, что попали в переделку и, вытянув счастливый билет, остались в живых, вышли из этого ада.

Мой дядя по отцу был арестован за безобидный анекдот и умер во внутренней тюрьме.

Ни в чем не повинные люди подвергались жесточайшим пыткам, после которых арестованный не имел шанса остаться в живых. Об одной такой изуверской пытке, до которой вряд ли додумывалась средневековая инквизиция, мне по большому секрету поведал друг моего отца Михаил Николаев.

Человека сажали на ножку табурета, и следователь, проходя мимо, хлопал его по плечам, отчего сидящий на ножке, как на колу, опускался ниже и ниже. Ножка табуретки входила вовнутрь, кровь хлестала рекой, сидящий на колу испытывал нестерпимую боль, теряя сознание. Николаев перенес эту экзекуцию на себе. Остался живым только потому, что она была проведена однажды, так как пришло распоряжение об его освобождении. Как ни странно, но и в то время бывали случаи избежать смерти и, о чудо, получить свободу. Оказавшись на воле, Николаев добровольно ушел на фронт и вскоре погиб под Тихвином.

Из двадцати миллионов репрессированных единицы остались в живых, не попав в число утопленных в реке, как это было на Алдане. Заключение переправляли по реке во время ледохода. Перепрыгивая со льдины на льдину, они срывались в воду, цепляясь обессиленными руками друг за друга и ускользящие льдины. Кому-то удавалось остаться на поверхности, а кому-то так и не пришлось больше увидеть белый свет. Если человек находился в воде и только голова была видна да руки, цеплявшиеся за льдину, он был обречен. Его ударяли прикладом, и он, обмякнув, уходил под лед навсегда.

Из 500 человек едва ли на том берегу оказалась сотня.

Об этом я знаю из рассказа моего брата, маркшейдера по специальности, и его жены, врача. Они тогда жили на Алдане, уехав туда после окончания института. Такие переходы, приводившие их в ужас, происходили на их изумленных, сверкавших от возмущения и гнева глазах.

На Алдане топили в реке, а в Свободном, в ущелье между сопок, под шум заведенных тракторов расстреливали из пулеметов по 100—150 человек за ночь.

Между сопок, неподалеку от этого лобного места, находилась тюрьма, где содержался еще один счастливец, оставшийся в живых. Счастливец с утраченным здоровьем и искалеченной судьбой — Генрих Романович Терпиловский.

Попал Генрих Романович в эту мясорубку по доносу. Он занимал шикарную квартиру из нескольких комнат, в которой жил с экономкой своих родителей. Имя доносчика не было достоверно известно, только предполагалось, и это было чудовищно, так как подозревался бывший муж мамы Генриха, за которого она вышла замуж после смерти своего первого мужа, отца Генриха.

Подозрение вылилось в уверенность после длительных размышлений над предыдущими событиями, когда была арестована мама Терпиловского, выслана в Карелию, где и скончалась. Имя предателя явственно проступило: это он, бывший муж — Евтеев!

Само по себе заявление о занимаемой большой квартире не явилось бы поводом для ареста, но убийство С. М. Кирова послужило толчком для очистки Ленинграда от «сомнительных» людей, а Генрих, поляк по национальности, сын полковника царской армии, — это было достаточным основанием.

В ссылке Терпиловского арестовали и увезли на Дальний Восток...

Обессиленный пытками и голодовками, которые держал трижды по неделе и больше, добиваясь встречи с прокурором, Генрих Романович надеялся, что его, если и не освободят, то переведут в лагерь. А лагерь — это не тюрьма, там можно гулять по зоне, видеть небо и солнце, дышать чистым воздухом, а не смрадом камеры. И Терпиловский был переведен в лагерь.

Но и лагерь не освободил его от пыток, хотя это были пытки другого рода. Он должен был, как и все, копать ямы. К чему эти ямы, для чего предназначены, никто не знал. Но копали, ибо было приказано. Нормы Генрих, конечно, не выполнял, уж слишком неподходящим для такой работы он был. За невыполнение его сажали в карцер на воду и хлеб, 300 граммов в сутки. Отсидев положенное время, он выходил и снова долбил смерзшийся грунт ослабевшими руками. И снова, как по кругу: невыполненная работа, карцер, и так до бесконечности.

Измученный до предела, он обратился к врачу, руководившему отбором заключенных для отправки в лагерь инвалидов, с просьбой, чтобы и его включили в список отправляемых. К этому злополучному времени Терпиловский стал инвалидом. Опухшие от постоянного недоедания и отсутствия каких-либо витаминов ноги, покрытые язвами, которые болели и кровоточили, едва передвигались. Эта болезнь носила звучное название «пеллагра».

Врач, испытывающий к Терпиловскому симпатию и сострадание, ничем, к сожалению, не мог ему помочь. Он только говорил: «Прошу Вас, Генрих, не проситесь и не уезжайте в тот лагерь, там не станет вам лучше, там вы совсем пропадете. А здесь я постараюсь почаще давать вам освобождение от общих работ». Уговорил, тем самым подарив Терпиловскому многие годы жизни. Да, это так, потому что весь состав с заключенными и охраной ушел в воды Байкала из-за железнодорожной катастрофы. Только два человека по счастливой случайности остались в живых, так как находились в наружной охране. Они то и рассказали о происшедшем.

Я говорю большое спасибо этому доктору. Спасибо за то, что только благодаря его стараниям я смогла встретиться со своим любимым. Эта встреча принесла много счастливых, а иногда и горестных лет. Его болезнь, разлуки и переживания. Но такова жизнь, не всегда ее дорога бывает гладкой. Наверно, только подлецам удастся пройти дорогу жизни без тревог и волнений...

Терпиловского отправили в лагерь СКОЛП (расшифровать я это не могу), где и нашел его лихой парень Павел Дудин, отбывающий небольшой срок по бытовой статье и работающий на ЦАРЗе снабженцем. Как бытовик и снабженец Дудин был расконвоирован и свободно ходил по городу.

Узнав, что в СКОЛПе, находящемся в двух километрах от ЦАРЗа, содержится профессиональный музыкант и композитор Терпиловский, Дудин заинтересовался (а он был большим любителем театра, музыки и всего того, где он мог проявить свои незаурядные способности артиста), заручился разрешением директора ЦАРЗа Горюнова и направился в СКОЛП для знакомства с Терпиловским. Когда Дудин увидел, в каком состоянии находится Терпиловский, то чуть не задохнулся от боли. Это был тощий, изможденный, похожий на скелет, почти на грани конца своего жизненного пути человек. Не сказав ни слова, Дудин убежал, раздобыл курицу, масло и другие продукты, принес все это Терпиловскому и стал откармливать его. Потом получил разрешение директора Горюнова взять Терпиловского на завод в качестве руководителя оркестра. Только там, на усиленном пайке, приравненный к итээровским работникам, Тер-

пиловский приобрел нормальный и даже холеный вид. Впоследствии Дудин и Терпиловский стали большими друзьями. Огромное спасибо П. Дудину, светлая память о котором сохранилась у меня, за то, что он спас Генриха Романовича от неминуемой близкой смерти.

Терпиловский ожил, стал полноценным человеком, руководил оркестром, а он, естественно, состоял из заключенных, написал там музыку к оперетте «Девушка-гусар», имевшей большой успех как среди заключенных, так и у вольнонаемных. Роли исполняли вольнонаемные и заключенные.

Терпиловскому была отдана для жилья одна из гримерных при клубе, куда он приходил с работы отдыхать или спать, если не надо было репетировать с оркестром. И вот в это-то время я и встретилась с ним. Но после недолгого счастья была разлучена.

Итак, о Биракане, куда Генрих Романович был отправлен.

В каждом или почти в каждом лагпункте была тяга к созданию драмкружков или оркестров, если среди заключенных находились музыканты. Если же их не оказывалось, как это случилось в Биракане, тогда их подбирали в других лагерях. И тут Генриху немного повезло: начальником Бираканского лагеря оказался прежний заместитель начальника ЦАРЗа Лев Чернышев, который, доверяя Терпиловскому, отправил его в командировку в г. Свободный на ЦАРЗ (конечно, под конвоем) с предписанием отобрать несколько музыкантов и привезти их в Биракан. Выбрал он Геньшина (скрипач), Фаворского (трубач), К. Гордона (баянист) и других, фамилии которых не помню. Но не только за этим ехал Генрих в Свободный, его окрыляла надежда увидеться со мной. Увы, он меня не застал. К этому времени закончилась война, и я, получив документы и литер на билет, уехала в г. Красноярск, где жила моя мама. Папа уже умер от туберкулеза, доставшегося ему от колчаковцев, когда они били его шомполами до того, что нижняя его рубашка осталась на теле в рубцах от побоев. В 1942 году папа был еще жив и, слушая по радио сводки о продвижении коричневой своры по нашей территории, говорил: «Только не говорите мне, что этот толстоголовый салман (так он называл Сталина) сдаст Москву!»

Я дома, но чем для меня был родной кров без Генриха? Я не находила покоя и все рвалась в г. Свободный, думая, что Генрих там. Я ведь не знала, что он этапирован в Биракан. И вдруг я получила письмо! О радость! От него! Он знал мой домашний адрес. У нас началась оживленная переписка.

В одном из писем я получила еще более радостную весть. Генри писал: «Я расконвоирован, приезжай, Юлия поможет тебе устроиться на работу, и мы сможем видеться». Юлия — это жена начальника лагеря Чернышева, с которой мы были в дружбе.

Не долго думая, я собрала весь свой багаж, постель, посуду в два чемодана и побежала в органы за разрешением поездки на Дальний Восток. В то время выехать дальше Иркутска без особого на то пропуска было так же невозможно, как перейти границу, разделяющую государства.

Пропуск был получен. Я отправилась в далекий путь в совершенно незнакомое мне место под названием Биракан. Встретила меня Юлия и повела в дом, где Генри подыскал место для жительства. Генри, естественно, встретить меня не смог. На следующий день он прибежал ко мне, и радости нашей не было предела. Мы вновь вместе! Но счастье наше длилось недолго, всего три дня. За это время узнали, что к Терпиловскому приехала жена, и его законвоировали. А это значило, что мы опять не сможем видаться. Остаться в Биракане после этого, как сказал сам Генри, не имело смысла. Уезжала я с болью в сердце и с мыслью о том, когда же мы теперь увидимся.

Вскоре после возвращения в родные пенаты мне предстояло опять выехать на Дальний Восток. Генриха перевели из Биракана в Юхту, в лагерь для малолетних правонарушителей, с которыми ему надо было работать, прививая им через музыку добрые чувства. Он был расконвоирован и в этот раз мог встретить меня и поместить в комнату на частной квартире. На следующий день я поехала в Юхту к начальнику лагпункта Новаковскому. Сказала ему, что я жена Терпиловского, мне хотелось бы находиться рядом с мужем, не поможет ли он (Новаковский) устроиться мне в Юхте на работу. Новаковский с сочувствием на меня посмотрел и ответил: «Уважаемая Антонина Георгиевна, я с большим бы удовольствием все сделал для вас, но здесь я не один, есть еще один начальник. Узнав, что вы жена Терпиловского, он тут же законвоирует его, и ваша жизнь в Юхте потеряет смысл. Сделаем мы лучше так: вы уезжаете в Свободный, от нашего поселка это всего 15 километров, я помогу вам устроиться на работу и буду каждую неделю отпускать Генриха Романовича». Новаковский выполнил свое обещание, и Генрих каждую субботу вечером приезжал ко мне, а на следующий день вечером мы расставались до следующей субботы. Приезжал он, разумеется, без конвоя, как полноправный человек, и мы могли посещать знакомых.

До конца десятилетнего срока заключения, к которому был приговорен без вины виноватый Терпиловский, оставалось где-то около года. Генри изъявил желание иметь аккордеон на всякий случай, авось пригодится, надо было освоить игру на нем. Сделав все возможное и невозможное, я купила ему этот инструмент.

Но тут грянула беда: у Генри обострилась язва желудка. Сказались прежние голодовки и нервное перенапряжение, когда он

находился в тюрьме, отстаивая свое право на жизнь. Его срочно повезли в Хабаровск и положили в военный госпиталь. И в то время находились добрые люди, относящиеся к Терпиловскому с большим уважением и симпатией. Делал операцию профессор Гейнац (впоследствии он уехал в Ленинград). Он удалил две трети желудка без наркоза, не было его, только новокаин. Два часа на операционном столе почти без всяких обезболивающих средств вытерпел Терпиловский. Все вытерпел, получив еще в придачу карбункул (застудился в госпитале). Подошло время выписки, и я повезла его в юхтинский лагпункт.

Довезла я моего дорогого до Юхты и сдала у ворот зоны под охрану. В зону меня не пустили...

Наконец настал тот долгожданный день в 1946 году, когда Генрих стал свободным в городе Свободном!..

Во всех последующих событиях, происшедших с нами, я считаю виновной себя, так как только из-за меня Генрих отказался от комнаты и прописки в Таллине. Согласись мы на это, и не было бы того, что случилось с нами дальше. Ведь и так незаконная ссылка, арест, все мучения, перенесенные им, искалечили ему жизнь и здоровье, карьеру композитора, в числе лучших из которых мог бы он быть. Когда Генри работал в КРАМе руководителем оркестра, к нему частенько обращался В. П. Соловьев-Седой с тем, чтобы Генри исполнил его произведения. Генри Терпиловский был очень одаренным человеком. В свои двадцать лет он был необычайно образован — блестяще знал литературу, писал стихи, рисовал, свободно владел французским, немецким, английским, польским языками и сочинял музыку. В джаз-клубе с Терпиловским начали свою биографию саксофонисты О. Кандат, А. Котлярский и А. Дидерихс. Сочинения Терпиловского исполнялись Ленинградской филармонией. И все это полетело к черту! Из-за ссылки и арестов он был оторван от любимой работы почти на 30 лет! Тем не менее о нем как о композиторе знают в Англии и Америке...

Мы с Генри, продав аккордеон, поехали в Грозный к Павлу Дудину. Там прожили в невероятно неудобных условиях около двух лет. И тут на нашем горизонте появился Дорохов, парень из Перми, в то время называвшейся г. Молотов. Он был ударником в оркестре клуба при заводе им. Сталина. Вцепившись, как клещ, он стал уговаривать Генри и меня переехать в Пермь, нахваливал и город, и директора завода Солдатов, который был большим любителем музыки и сердечно относился к музыкантам. Мы прежде всего спросили, будет ли квартира. На это Дорохов безапелляционно заявил, что будет. И мы согласились. И добровольно попали к волку в пасть — авиазавод и 58-я статья несовместимы.

Встречали Новый год мы уже в Перми. Генрих не прорабо-

тал и полгода, 15 июня 1949 года его забрали прямо с репетиции. Кто-то пустил слух о том, что Генри, играя на рояле, передавал условные знаки о секретных сведениях завода. А он никогда и не был на заводе, не знал его секретов, никогда ими не интересовался, был всецело занят музыкой. Опять пришла беда в наш дом. В отчаянии и в слезах прошли сутки.

Надо было что-то предпринимать. Первым моим побуждением было обратиться к директору завода Солдатову. Принял он меня сердечно, внимательно слушал, но ответ его был неутешителен. Он сказал, что если бы арест произошел по старому делу, то смог бы помочь, но тут что-то новое, и он бессилён. Вокруг меня сразу же образовалась непроходимая стена отчуждения. Никто не пришел, даже музыканты, восторгавшиеся Генрихом Романовичем, хотя бы из любопытства, узнать, что же случилось. Только одна женщина, работавшая на заводе секретарем, осмелилась навестить меня дважды, и то глубокой ночью.

Пошла я к прокурору города. Он что-то начал мне объяснять, успокаивал меня, а я ничегошеньки не понимаю, пусто в голове. Сказать откровенно, что произойдет с Генрихом, он, видимо, не имел права, но, видя мое состояние, не выдержал, стукнул по столу рукой и сказал: «Да успокойтесь, наконец, будете вы с мужем вместе». Разрешил мне свидание. Только увидев мужа, я пришла немного в себя, поняла, что его отправляют в ссылку в Красноярский край. Ссылка — это все же не лагерь, значит, мы не будем разлучены. Попрощалась я с Генри и выехала в Красноярск к своему брату. Прошло лето, приближался праздник 7 ноября. Все радуются, смеются, а я с поникшей головой, со слезами на глазах думаю: где же Генри, что с ним? И тут к нам в окошко кто-то постучал. Это были совсем незнакомые люди, муж и жена. Они рассказали, что на вокзале к ним обратился человек и попросил передать мне, что его везут в Абан, адрес брата он знал. Абан — это за Канской железной дорогой, а оттуда надо ехать еще 50 км на машине.

Поехала я в Абан, поселок невелик, а ссыльных мужчин и женщин уйма. Там оказался и Яков Харон, с которым я встречалась на ЦАРЗе в г. Свободном. Устроиться на работу негде, даже мне, вольной. Как же жить этим людям — несчастным, незаслуженно изгнанным из привычной, благоустроенной, относительно обеспеченной жизни? С болью в сердце уезжала я из Абана, опять расставаясь со своим обездоленным горемыкой мужем.

Вернувшись в Красноярск, я пошла в приемную МВД, а там в ожидании своей судьбы сидят профессора, врачи и гадают, куда же их направят. Не раздумывая долго, набрала по внутреннему телефону начальника МВД и безапелляционно заявила, что я хотела бы встретиться с ним. Удивительней всего было

то, что он тут же назначил мне встречу на следующий день. Изумлению сидящих людей не было предела. Ровно в 20 часов следующего дня я была в приемной начальника. Я шла по ковровой дорожке до его стола, как мне показалось, 100 метров. Начальник предложил мне сесть и спросил:

— Что вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы разрешили моему мужу, Терпиловскому, приехать в Красноярск, ибо, находясь в Абане, нет возможности выжить. Единственное, что мы имеем,— это голову и руки, но там для них применения нет.

— Кто ваш муж по специальности? Музыкант? Пусть переqualифицируется.

Тут я взорвалась.

— Что же ему, на лесоповал идти? Так он инвалид второй группы. (Жалею, что не сказала: «Полученной в ваших застенках».)

— Куда бы вы хотели поехать?

— Вот сюда.

— Нельзя.

— Почему?

— Это южнее Красноярска.

— А куда можно?

Он взял указку, подошел к карте Красноярского края, ткнул куда-то на север:

— В Туву.

— У нас нет средств добраться туда, в Туву можно добраться только самолетом. Если муж приедет в Красноярск, возможно, он сам договорится с работой, и нас доставят в Туву за казенный счет.

— Хорошо, я разрешаю приехать вашему мужу в Красноярск, но теперь по этому вопросу обращайтесь к майору Ежаку.

Обратилась к майору, объяснив ему суть дела, получила ответ, что он незамедлительно направит запрос в Абан для разрешения выезда Терпиловского в Красноярск.

Через неделю явилась опять к Ежаку. Он выразил изумление:

— Как, еще нет? Безобразие, сейчас же отправляю повторный запрос.

Наконец, получив телеграмму о выезде, мы с мамой поехали на вокзал. Поздней ночью мы встретили Генри. Декабрь 1949 года был лютым, но мы не чувствовали мороза. Нам было тепло и отраднo от сознания того, что мы вместе. Через два дня мы выехали в село Атаманово, где Генри договорился с работой. Село это стояло на берегу Енисея, в 80 км от Красноярска. Генри работал в конторе, а для меня работы не нашлось. Я ста-

ла брать заказы на пошив платьев у местных модниц. Дров, выдаваемых Генриху конторой для обогрева нашего жилища, нам не хватало, норма была ограничена. Я брала пилу и санки и шла в лес. Проваливаясь по пояс в снег, я выбирала высокую, но не очень толстую березу и пилила ее. Когда она падала, я распиливала ее на несколько частей, а дома мы с Генри распиливали березку на более мелкие части.

Когда наступила весна, мы посадили картофель — участки в три сотки выделяли всем желающим ссыльным, а их в Атаманово было достаточно. Картофель уродился отменно вкусный. Такого я не ела ни до, ни после, сколько живу. Прожили мы в ссылке две зимы, ездили к брату встречать Новый 1951 год. А летом 1951 года Генриха вновь арестовали и отправили в лагерь в Березовку, находившуюся в 50 км восточнее Красноярска. Я приезжала к нему почти каждое воскресенье, чтобы подбросить ему что-либо из продуктов, а также для того, чтобы дать небольшой концерт березовской публике. Генрих сопровождал меня на аккордеоне, который, кстати сказать, был прислан ему Утесовым. Сам Л. О. Утесов внес немалую долю на его приобретение. Эти короткие минуты выступления на сцене давали нам с Генри хотя бы на короткое время поток свободы. Эти дни воскресения были днями отдохновения, нашей отдушиной. В 1952 году Генриха перевели в Тайшет, в лагерь более строгого режима, откуда даже письмо написать разрешалось только раз в месяц. Поехала я летом в Тайшет и обратилась к начальнику лагеря за разрешением на свидание с мужем. Увы! Он мне отказал: «Ваш муж является врагом народа». — «О, сколько лет прожила я с ним вместе и не знала, что он враг народа». — «А если бы знали, то не сидели бы здесь рядом со мной». Подтекст очевиден, я бы тоже сидела в каком-либо лагере, а не в его кабинете.

Приближался 1953 год. Я получила письмо от Генриха, в котором он сообщил, что его сактировали, но почему-то до сих пор держат в лагере. Сактированный человек — это человек, не способный к труду, что засвидетельствовано врачами. Он должен быть отпущен на свободу. Меня охватил праведный гнев: Генри должен быть уже дома, а его до сих пор содержат под стражей! Я стала готовиться к поездке в Тайшет с объявлением войны лагерному начальству за свободу моего мужа. И тут нам улыбнулось счастье: в марте 1953 года умер наш «великий», «родной», рябой палач Сталин. Выехала я в Тайшет в конце мая, обратилась к начальнику лагеря. О чудо! Мне любезно предложили присесть, разрешили свидание и даже позволили передать букет цветов. Извините, но я приехала не букетами радовать мужа, а взять его домой!

«Тогда вам надлежит обратиться к начальнику особого от-

дела Цевелеву, так как дело об освобождении вашего мужа находится у него». Прихожу к Цевелеву. Он сказал:

— Дело об освобождении вашего мужа находится у судьи.

Я направилась к судье. Тут я повысила голос:

— На каком основании вы до сих пор держите в лагере з/к Терпиловского, когда он давно уже должен быть освобожден, что подтверждают находящиеся у вас документы врачей! Вы что же, думаете, вам не придется ответить за нарушение законности?

— Что вы кричите?

— А как же мне не кричать, если вы до сих пор держите большого человека под стражей? Вам придется ответить, если он умрет.

— Нет у меня документов, они находятся у подполковника.

— Хорошо, я сейчас пойду к нему.

Взбешенная, я опять прибежала в кабинет Цевелева, взяла стул, села напротив стола подполковника и заявила:

— Вы что гоняете меня, как футбольный мяч? Сколько это будет продолжаться? Вот сейчас я здесь сяду и не выйду до тех пор, пока вы не освободите моего мужа!

Подполковник начал звонить судье, чтобы сию же минуту доставили документы, затем в канцелярию — о приготовлении справки, в фотолабораторию — о снимках. Через 30 минут он мне заявил:

— Ну вот, все готово, можете забирать своего мужа.

— Я побегу за билетами! — радостно воскликнула я.

Но тут он охладил мой пыл:

— Ваш муж поедет в вагоне заключенных.

Мне уже было не до нюансов, в каком вагоне поедет мой муж, я выиграла бой. Я побежала в лагерь, чтобы сообщить мужу радостную весть, а он уже приготовился. И мы виделись с ним, правда, через окошко вахтера.

Я почти приползла на станцию, а там стоит группа заключенных, окруженная стражей и собаками. Среди них и мой муж. Я взяла билет, заключенных погрузили в вагон с зарешеченными окнами, и вскоре поезд тронулся. На каждой остановке я выбегала к окошку вагона с железными решетками, где сидел Генри, и мы могли видеть друг друга.

Прибыл поезд в Красноярск где-то около 15 часов дня. У меня оставалось еще время забросить аккордеон домой и бежать в МВД. Каким образом я узнала, к кому надо обращаться, сейчас уже и не помню. Я сказала очередному начальнику:

— Моего мужа освободили по акту врачей, он должен находиться под их наблюдением, и если отправите его опять куда-нибудь в район, он погибнет. Прошу оставить его в городе.

— Где вы работаете? — последовал вопрос.

Я ответила, что на кирпичном заводе.

— Хорошо, приходите за вашим мужем завтра туда-то и тогда-то.

Пробормотав «спасибо», я ринулась домой, чтобы смыть с себя грязь и пот. Не успела еще ополоснуться, как раздался стук в дверь, открываю, а за ней — Генри! Он приехал на такси как настоящий полноправный гражданин Советского Союза. Начались разговоры без конца...

Прожив в Красноярске до декабря 1953 года, мы вернулись в Пермь, предварительно списавшись с директором Дворца культуры, куда Генриха Романовича с большой охотой взяли руководителем оркестра.

С этих пор мы уже не расставались с ним до самой его кончины...

*Е. Мочилин **

СУДЬБА И ЖИЗНЬ

В назидание потомкам решил написать, как я стал сыном «врага народа» и как прожил жизнь. Очень не хотелось, чтобы мое жизнеописание выглядело как казенная автобиография.

Начну с того, что родился я, Мочилин Евгений Александрович, в городе Москве, в самом центре столицы, на улице Горького, ныне Тверской, в доме № 5, а это в двухстах метрах от Красной площади.

Отец, Александр Сергеевич Мочилин, сын рабочего московского паровозного депо, закончил рабфак, а затем институт инженеров транспорта. Работал на Рязанской железной дороге начальником отделения. Он вступил в партию большевиков, но сделал это больше по убеждению, чем из соображений карьеры. За хорошую работу он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и переведен на работу в Москву, назначен инструктором в ЦК ВКП(б) в отделе железнодорожного транспорта. Произошло это в 1931 году.

В Москве он познакомился с моей мамой из города Новая Прага Днепропетровской губернии на Украине. Была она дочерью еврея коновозчика Гольдштейна Ефима Файвиосевича, который занимался перевозом грузов на телегах (аналогия современному шоферу-дальнобойщику), и еврейки Софьи Ефимов-

* Евгений Александрович Мочилин-Гольдштейн, (р. 1934) — бывший военно-служажий, штурман дальней авиации.

ны, занимавшейся домашним хозяйством и воспитанием детей: их было четверо.

Мама, Нина Ефимовна Гольдштейн, очень глубоко восприняла идеи большевиков: свобода, равенство и братство, мир — народам, земля — крестьянам... Не подозревая, конечно, каким фарсом это в конце концов обернется, она в 15 лет ушла из дому, в 1919 году. Она приехала в Москву, чтобы устроиться на работу и продолжить образование. Здесь она вступила в комсомол и познакомилась с Надеждой Константиновной Крупской, которая занималась молодежью.

Маму как грамотного человека направили в деревню образовывать неграмотное население — это тогда называлось работать избачом. Потом она вернулась в Москву. Родители полюбили друг друга и решили создать семью. В 1934 году на свет явился я. Отец перешел на работу в Московский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта заместителем директора по научной работе, одновременно являясь научным консультантом народного комиссара путей сообщения (НКПС) Кагановича. Отец защитил диссертацию и имел звание доктора физико-математических наук.

Мама работала референтом в аппарате ВЦИК СССР (Все-союзный Центральный Исполнительный Комитет) у М. И. Калинина, одновременно обучаясь в институте цветных металлов и золота (был тогда такой престижный институт).

Так подробно я пишу о своих родителях для того, чтобы было ясно, чей я родом, откуда я, как я стал сыном «врага народа» и жертвой политических репрессий.

Рассказ о себе начну с раннего детства, естественно, пользуясь воспоминаниями и рассказами родных, а также документами из следственных дел родителей.

В феврале 1937 года был арестован мой отец, а 17 августа 1937 года он был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР и приговорен к расстрелу по обвинению в том, «что он является участником антисоветской троцкистско-зиновьевской террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство тов. Кирова. В 1935 году организовал боевую троцкистскую группу в НКПС и подготовлял террористический акт против Кагановича Л. М...» Выписка взята из приговора суда.

Суд длился 20 минут (с 15.00 до 15.20), и приговор приведен в исполнение в тот же день.

Маму арестовали 7 сентября 1937 года и посадили в Бутырскую тюрьму. 2 октября 1937 года она была приговорена Особым совещанием при народном комиссаре внутренних дел СССР к отбыванию наказания в исправительно-трудовом лагере. Выписка из протокола гласит: «Гольдштейн Нину Ефимовну

как члена семьи изменника Родины заключить в исправтрудлагерь (Нарым) сроком на восемь лет».

У меня имеется справка, адресованная начальнику 4-го отдела УГБ УНКВД Московской области: «На основании Вашего предписания ОТК УНКВД МО 7 сентября 1937 года изъяты дети арестованной Гольдштейн Нины Ефимовны 3 лет. Изъятые дети переданы в Даниловский детприемник УРКМ». Даниловский детприемник (для малолетних преступников) находился на территории Свято-Даниловского монастыря.

Как мне удалось выяснить (только в 1999 году с помощью страницы в Интернете московского «Мемориала»), я находился недалеко от места захоронения останков отца. Он захоронен в общей могиле на территории кладбища Донского монастыря. Ранее на многочисленные запросы органы отвечали нам, что «место захоронения неизвестно». Хочу обратить внимание на формулировку: «изъятые дети», — будто речь идет о каких-то вещах.

Таким образом в 3 года я лишился родителей, стал изгоем — сыном «предателей и врагов народа». Изъятые дети лишились не только свободы, но и родственных связей, часто фамилий, их заставляли забывать о своих родных и близких, они становились детьми государства, детьми «отца всех народов» Сталина. Родные папы (дедушка, бабушка и две сестры), проживавшие в Москве, отреклись от него и его жены, меня никто не стал разыскивать и заботиться о моей судьбе.

Обо всем случившемся узнала тетя Сарра, сестра мамы, которая проживала в г. Константиновка Сталинской области (ныне — Донецкая область.) Украинской ССР. О несчастье она узнала из письма московских друзей мамы. Приехав в Москву, тетя начала свои «хождения по мукам». Обошла все инстанции, от отделов милиции до УКГБ на Лубянке и УНКВД МО, где ей отвечали, что такого ребенка нет и где он находится — неизвестно. Обратилась во ВЦИК. Ей удалось добиться приема у М. И. Калинина и объяснить, что ищет сына арестованной сестры, которая работала в его аппарате.

Калинин на бланке ВЦИК написал: «Ребенка найти и выдать на руки». С этой запиской Сарра Ефимовна пошла на Лубянку, там ей указали, где меня содержат. Тетя Сарра рассказывала: «Приехала к Даниловскому детприемнику. Передо мной каменный забор и окованные железом ворота. Постучала. Открылось смотровое окошко и выставилось злое, неприятное лицо, и хриплый голос спросил: «Что надо?» Подаю записку. В ответ: «Ждите». Пришлось на морозе (уже была зима) стоять около двух часов. Вдруг открывается калитка в воротах и мне дают сверток, завернутый в солдатское одеяло, со словами: «Возьмите и распишитесь». Расписалась в амбарной книге — и бегом на вокзал».

Она очень боялась, что могут передумать и меня опять отнять, а ее арестовать.

Тетя привезла меня в Донбасс, а через некоторое время оформила усыновление. Тетя рассказала, что после детприемника голова моя оказалась остриженной наголо, одет я был в какую-то робу — ну натуральный з/к.

Она была обыкновенным фельдшером, в партии не состояла и поэтому, видимо, никаких подозрений со стороны власти не вызывала. В Константиновке мы прожили до 1942 года втроем — дедушка, тетя и я, т. е. до тех пор, пока немецкие войска не подошли к городу. Хорошо помню, мне ведь было уже семь лет и я собирался идти в первый класс, как немцы бомбили город, а мы, пацаны, бегали и собирали горячие зазубренные осколки от бомб и снарядов. Небо от взрывов стало черным. Тете как медроботнику разрешили эвакуироваться только в последнюю очередь. Железная дорога к этому времени уже была перерезана немецкими танками. Пришлось уезжать на бричке, в которую нас взял родственник.

В мою детскую память врезался такой эпизод. Едем мы по степи, гладкой, как стол. Вдруг появились самолеты и начали бомбить. В воздух полетели какие-то кули, мешки и начали там разрываться. Над степью полетела белая пыль. В считанные минуты вся степь стала белой. Как будто покрылась снегом, а был только сентябрь месяц. Мне потом объяснили, что немцы бомбили мукомольный завод, а над степью летела мука. Доехав до г. Краматорска, мы попали в последний отходящий эшелон. Ехали в теплушке два месяца. В дороге поезд не раз бомбили. Высадили нас в Казахстане на каком-то полустанке уже зимой. Поселили несколько семей в глинобитную кошару — сарай для овец. Холодно, голодно, а вокруг степь, покрытая снегом. Вдруг приезжает казах на коне в лисьем малахае с хвостом и бросает на глиняный пол несколько красивых птиц и что-то говорит. Конечно, его никто не понял. Все (это были женщины, дети и старики) с удивлением смотрели на диковинку, никто никогда таких птиц не видел, и что с ними делать, не знал. Пришла женщина-казашка, принесла большие сковороды, а казах на коне привез казан (круглый котел), вязанку дров и муки. Казашка на глиняном полу развела костер, расстелила овчину мехом вниз и замесила тесто. Она жестом объяснила женщинам, что птиц (это были фазаны) надо оципать и разделать, как кур. Замесив тесто, казашка изготовила большую лепешку, положила ее в сковороду и накрыла другой. Разгребла угли костра, поместила на это место сковороды и засыпала их углями. Казан был установлен на очаг, сделанный из камней, а в воду, полученную из снега, брошены фазаны. Через час мы могли приступить к трапезе. Ничего вкуснее я, кажется, никогда до этого не едал.

В казахской степи мы прожили недолго. Нашей семье удалось уехать в г. Ташкент, там уже много лет (с 1922 г.) жил тетин брат — дядя Исаак. Из Ташкента местные власти направили тетю на работу врачом в отдаленный кишлак. Здесь нас поселили в глинобитный сарай, из которого перед этим выгнали овец. В имевшуюся дыру надо было вставить стекло, убрать навоз, побелить стены. Постели были сделаны из досок, уложенных на камни. Все это тетя Сарра проделала собственными руками. К местному климату мы были непривычны и акклиматизировались очень тяжело. Дедушка не смог вынести такие мучения, заболел и умер в 1942 году, а я заболел малярией. Меня трясло ежедневно с 12 до 15 часов, как по расписанию, а после окончания приступа наступала такая слабость, что не было сил пошевелить ни рукой, ни ногой.

В сентябре 1941 года я должен пойти учиться в первый класс. Война не дала этому осуществиться. Мы остались с тетей, которую я называл мамой, вдвоем, и начались наши переезды из одного кишлака в другой. Выбирать место жительства сами не имели права, только по направлению начальства. Наконец мы приехали в кишлак, где была школа-четырёхлетка со смешанным узбекско-русским обучением, при этом в одном классе сидели ученики с первого по четвертый класс, девочек вообще не было. Интересный факт: при фотографировании нас поставили на колени. Тетя купила козу, которая наплодила нам небольшое, в 5 голов, стадо, я пас его и заготавливал корм. Наконец мы перебрались в районный центр Пскент, где была нормальная школа-десятилетка на русском языке. И вот пришел долгожданный и радостный день — День Победы, а я закончил в этом году 4-й класс.

От всех окружающих сведения о моих родителях тщательно скрывались, никто не знал, что я сын репрессированных «врагов народа». Я был сыном Гольдштейн Сарры Ефимовны, тети Сарры, а отца своего не помнил. Такая версия излагалась во всех написанных мною автобиографиях и заполненных анкетах. Это был тяжкий крест, который приходилось нести во избежание различных ущемлений и репрессий. Меня даже приняли в 14 лет в комсомол, а в компартию я вступить отказался.

Подходил к окончанию срок маминого заключения — каторги. Она приехала в 1946 году. Ей разрешили проживание в Пскенте, так как это был небольшой районный городишко, расположенный далеко от республиканского центра. В 1947 году проводили послевоенный сталинский обмен денег. Все происходило перед нашими любопытными пацанскими глазами (жили мы рядом с Госбанком). Запомнился один эпизод. В последний день обмен производился только до обеденно-

го перерыва. Часов в 12 к банку подъехал узбек на ослике с притороченными двумя полными мешками, а у входа в банк стояла огромная очередь желающих обменять заработанные потом и кровью копейки. Порядок охранял усатый милиционер-узбек. Мужик с ослом покрутился около очереди, подошел к милиционеру и попросил помочь с обменом за хорошее вознаграждение (т. е. взятку). Я понимал их разговор, так как почти в совершенстве изучил узбекский язык, общаясь с местными детьми. Милиционер оказался «шутником» и посоветовал просителю приехать после обеда. Узбек приехал после обеда, очереди уже нет, банк закрыт, а у входа стоит тот же милиционер. Он объяснил с улыбкой узбеку, что обмен закончен и больше проведиться не будет. Узбек задрожал и заплакал и, выхватив нож, пошел на усатого, а тот достал револьвер и пригрозил его застрелить. Владелец денег в истерике развязал мешки и стал пригоршнями выхватывать купюры разного достоинства и бросать вверх. Полетел радужный денежный листопад. Мы, ребята, бегали и собирали эти радужные обесцененные бумажки, заработанные тяжким трудом. А милиционер советовал не разбрасывать деньги, а лучше оклеить ими кибитку для красоты.

Мамы пожила с нами недолго, уехала в город Коканд устроиться на работу, так как туда после окончания войны направили на работу маминого брата Лазаря. Ей помогли получить «чистый» паспорт (без отметки о заключении) и устроиться на работу. В 1948 году мы приехали в Коканд всей семьей. Здесь я продолжил образование и окончил школу, здесь у меня появились друзья. Здесь я стал встречаться с девушками, здесь зародилась первая любовь.

В десятом классе нас было тринадцать — чертова дюжина, а обучались мы раздельно: мальчики в одной школе, а девочки в другой. Наши правители, видимо, считали, что при таком способе обучения мы лучше сохраним наше целомудрие. Из тринадцати шестеро были евреями: я, Сеня Гершман, Боря Хиной, Семен Фурман, Володя Рахмилович, фамилии шестого, к сожалению, не помню. Сеня, Борис и Семен были моими друзьями. Володя Рахмилович жил в детдоме, он был эвакуирован из блокадного Ленинграда. После окончания школы все разлетелись в разные стороны. Семен Фурман оказался в Крыму, Гершман и Хиной — в Ташкенте, и я все время поддерживал с ними связь. В 1998 году Сеня Гершман с семьей уехал в Израиль.

После окончания школы я попытался поступить в Московский транспортный институт, однако попытка не увенчалась успехом, так как я приехал с периферии и жить мне было негде. Возвратился домой, и на следующий год меня призвали для

службы в армии. Попал в г. Каунас Литовской ССР. Здесь произошёл характерный для тех лет инцидент: для литовцев мы были оккупантами. Будучи в увольнении, я шел по улице, и вдруг около моих ног упал большой цветочный горшок. Поднимаю голову и вижу: на балконе третьего этажа стоит женщина, улыбается и что-то говорит, вроде бы извиняется, а может быть, проклиная. Был случай нападения «лесных братьев» (партизан) на караул на аэродроме. Так литовцы боролись против советских оккупантов.

Вскоре меня перевели в г. Вольск Саратовской области в школу младших авиационных специалистов. За хорошую успеваемость меня направили на обучение в военное авиационное училище в г. Молотов (так тогда называлась Пермь). Здесь я познакомился с очень хорошей девушкой — Аннушкой, которая стала моей женой и после того, как я окончил училище, поехала со мной на Дальний Восток в г. Спасск-Дальний, куда я получил назначение. В военное училище я попал только потому, что не был на учете в органах и к этому времени умер «вождь всех народов» — тиран Джугашвили-Сталин.

В 1956 году мама поехала в Москву и начала хлопотать о реабилитации отца и своей. Папа был реабилитирован решением Верховного суда СССР за отсутствием состава преступления, мама также была реабилитирована, так как единственным ее преступлением было то, что она была членом семьи «врага народа».

Я уволился из армии в 1962 году, и мы переехали с женой и дочерью Мариной в г. Пермь. Здесь я закончил Пермский политехнический институт. Работал на различных предприятиях города в должностях старшего инженера, начальника отдела, начальника цеха, энергетика предприятия. В 1967 году у нас родились два сына — Саша и Володя. Сейчас у нас уже трое внуков и две внучки, все проживают в Перми. К сожалению, здоровьем похвастаться не могу: в 1987 году перенес инфаркт, однако после лечения продолжил трудовую деятельность. В 1989 году состояние здоровья ухудшилось настолько, что меня вывели на II группу инвалидности. С тех пор являюсь пенсионером.

Вот вся моя жизнь, жизнь сына бывших «врагов народа». Хочу только добавить несколько слов. Мать прошла такую тяжкую, зверскую школу коммунистического перевоспитания, что до самой смерти боялась рассказывать о своих муках и переживаниях в лагерях ГУЛАГа. Когда я начинал не очень почтительно высказываться о советской власти и ее руководителях, она просила меня этого не делать, так как продолжала бояться последствий. Мама последние годы жила со мной в Перми и умерла в 1988 году.

ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ

На Украине в Житомирской области Емичинского района в период нэпа рабочий, мастер-стеклодув с Курчинской Путы, купил участок земли в селе Кукогута, который принадлежал разорившемуся в то время Кукогутскому стеклозаводу. На месте завода были груды битого стекла и остатки различных стройматериалов. Посредине протекала речка. Вдоль речки — скалы, огромные валуны, заросшие терном, сквозь который невозможно было пролезть, такой он был колючий. Сразу за речкой возвышался холм, и на этом холме стоял огромный крест, огороженный штакетником. Такие кресты стояли возле проезжего тракта около каждого украинского села. Около речки была ольховая роща. По берегам рос тальник. Под берегом скапливалось множество вьюнов. Сельские ребяташки часто с котомками приходили туда и руками ловили скользких вьюнов. В речке водилось много разной рыбы: щука, окунь, плотва, налим, лини, было много раков. Весной, в половодье, на берег речки приходили мужики с острогами, выбирали удобные места ниже водопада и били щуку, которая шла на нерест. Часто можно было видеть, как большие щуки прыгали через водопад.

Была мирная, спокойная жизнь, никто не запрещал ловить рыбу, не слышали слова «браконьер», всем хватало рыбы, кто не ленился ловить. В теплые украинские вечера в ольховой роще ухали совы, выводили свои нежные трели соловьи, неслышными тенями мелькали летучие мыши. Невольно вспомнишь украинскую песню:

Садок вишневый коло хаты,
Хрущи над вишнями гудуть,
Плугатыры с плугами идуть,
Спивають идучи дивчата,
А матери вечерать ждуть.

В такие вечера многие жители села разводили на улице костры и в больших котлах варили молочной спелости кукурузу, подсаливали ее и сзывали соседей. Смех, шутки, песни, которыми украинский фольклор очень богат.

Вот здесь и поселился мастер-стеклодув с семьей — с матерью, отцом слепым и детишками, и стал крестьянином. Дом был старый, вагонного типа, под соломенной крышей. Кухня, зал и спальня. Зал служил и столовой, в ней часто собирались

* Франц Петрович Лисовский (родился в 1920 г.).

гости. Играла музыка, молодежь танцевала, пели песни, грызли семечки. После такой гулянки весь пол был усыпан шелухой, но это никого не смущало. Хозяева дома были гостеприимные, добродушные, веселые люди — это моя мать Лисовская Камила Иосифовна и отец Лисовский Петр Валерьянович, очень трудолюбивые люди. Поскольку участок земли был наполовину негоден для обработки и хлебопашества, отец держал 6—8 коров, овец и свиней, пару лошадей. Работал от зари до зари, во время уборки хлеба нанимал сезонных рабочих. Дедушка с бабушкой были старенькие и в ведении хозяйства участия не принимали. Дети были маленькие, которые постарше ходили в школу, школа находилась в двух километрах. Ходили зимой в самодельных башмаках на деревянной подошве. Снег налипал на эту подошву большим комком, и приходилось часто останавливаться и оббивать эти комья. Одежда была самотканая: рубашка, штаны из грубого холста, грубая суконная свитка. Бумаги не хватало, носили с собой досочки и мелом писали на них. Но никто не обращал на это внимания. Большинство так жили, и это считалось нормой. Если у кого были сапоги, полушубок, рубашка, брюки фабричной ткани, он считался богатым.

Земли здесь песчаные, и чтобы получать урожай, нужно было ежегодно вносить навоз. У кого было мало скота и мало земли, тот не мог себя обеспечить продуктами питания и шел на заработки к более зажиточному крестьянину,— такова жизнь. Дом наш стоял на каменистом склоне. Люди с окрестных сел, ехавшие на базар в Новоград-Волынский, часто останавливались у нашего двора, кто отдохнуть в тени развесистых верб, кто напоить лошадей или волов, кто переночевать.

С дальних сел крестьяне возили солому на картонную фабрику в деревню Чижовка, которая находилась в пяти километрах от нашего дома. Фабрика нуждалась в крахмале, и часто к нашему отцу приезжали гонцы с фабрики, просили крахмалу. На специальной терке терли картошку, делали крахмал и в сыром виде отправляли на фабрику. Недостатка в желеющих заработать не было.

Когда заканчивалась уборка урожая и обмолот зерна, отец ездил по селам, закупал свиней, забивал их и коптил окорока, делал колбасы и возил на рынок продавать, часто сдавал в столовые. Делал деньги. Это был тяжелый труд, требующий огромных усилий и умения.

Отец любил детей, любил жизнь и потому трудился до седьмого пота. К нам часто съезжались родственники. Мой дядя Янчевский с семьей приезжал на лошадях с Полинской Гуты за 50 км, дядя Мостович с семьей с Зеленицы и тетя Рузя Дыминская. Тогда у нас был целый бал, сходились соседи, друзья отца. Песни, танцы, играла музыка, любил отец компанию и хотел

разрядиться после упорного труда, а соседи, которые ленились или не имели возможности жить в достатке, завидовали и злились на свою судьбу и на нас, но эта неприязнь оставалась в душе, не выплескивалась наружу. Денег заработать негде, а у Лисовского можно заработать, или занять денег, или зерна занять до нового урожая. Вот и не выступал никто открыто, хотя некоторые и копили годами неприязнь к зажиточному крестьянину. Ведь хорошая корова стоила 40—45 рублей, полуторадвухгодовалый бык стоил 25 рублей. Овощи и фрукты стоили копейки. Чем платить налог? Если нет лишней картошки или лишнего хлеба, чтоб продать, сама жизнь заставляла крестьянина выкладываться до предела, чтобы продолжать существование. Это был период новой экономической политики.

Но вскоре еще не успевшего разогнуть спину крестьянина, неокрепшего рабочего начали терзать темные силы. Не вражеские силы иноземцев, а темные силы сталинского режима обладывали непосильными налогами, разжигали вражду против зажиточных крестьян, а тут еще помогла засуха, не стало кормов для скота. Лошадей вообще выгоняли со дворов на произвол судьбы, и они ходили по всей Украине тощие, чесоточные. В то время кожа лошади стоила дороже самой лошади, и некоторые предприимчивые мужики ловили этих лошадей, убивали и сдавали шкуры государству. В это время ходило много нищих с торбой через плечо, ездило много беженцев в поисках лучшей доли. Я умышленно не привожу даты, хочу описать ход событий, выпавших на долю нашего народа, но именно эти события и повлияли на людей, которые опустили руки, не надеясь на лучшую жизнь, и только трудолюбивые люди, не потерявшие надежду на светлое будущее, упорно трудились. Они-то и оказались впоследствии козлами отпущения.

Присылают на сельсовет налог, а с кого его тянуть? Беднота сдала последнюю коровку или лошадь в кооператив и все, нечего больше взять. Вот и жали на более зажиточных. Сегодня уплатил налог, через неделю дополнительно приносят. Откуда крестьянину брать дополнительный налог? Продавали последнее, что было: хлеб, скотину. А дополнительным налогам не было конца.

В это время, в 1929—1930 гг., и пришли к власти бедняки, как правило малограмотные, а иногда и совсем неграмотные. Председатель сельсовета с трудом мог вывести свою фамилию да поставить печать. Что он мог понимать в политике? Получает приказ сверху: сдать 20 тонн мяса, 60 тонн хлеба, шерсти, яиц и т. д. Где брать? Вот и пошли крестить подряд. Кулак. Подкулачник. Середняк. У кулака осталось 2 коровы, пара лошадей и 20—30 десятин пустой земли. Середняк кое-как держится на ногах, а что бедняк? Ему терять нечего, и он у власти. Вот и

продали с молотка все, что можно было продать. У отца развернули сараи, в спальне сделали магазин, в зале — сельсовет. Семья из восьми человек оказалась на кухне. Бабушка померла, остался слепой дедушка, и он умирал на кухне. Помню, лежит дедушка на топчане у печки, откроет свои незрячие глаза и спрашивает: «Петро пришел?» Отвечаем: «Нет». — «Когда он придет?» — и закрывает глаза. Дали ему в руки горящую свечку, он говорит: «Не дождусь Петра». Но дождался. Только отец зашел на кухню, дедушка спросил: «Это ты, Петро?» Слезы у него покатались по щекам, и он затих навсегда.

У отца осталась одна корова и старая кобыла, звали Каштанкой. Когда развернули хлевы и остался один дом, кобыла пришла в свое стойло, стала как будто к стенке и низко опустила голову. Я подошел к ней, посмотрел, а у нее градом текут слезы. Я заплакал и закричал: «Мама, кобыла плачет!» Мама подошла и тоже заплакала. Так мы стояли все трое и плакали, пока отец не крикнул мне: «Запрягай лошадь, поедem сеять овес». Мне в то время было 10 лет. Отец посеял овес, начал боронить. Когда приехала милиция с комсомольцами — эта бригада и забрала отца босиком, и отец мне сказал: «Сынок, прикрой овес». Отца увезли, а я боронил и плакал. И вдруг пошел дождь, а я не понимал того, что в дождь не заборонишь. Плакал, злился на овес, промок до нитки, замерз и погнал лошадь домой прямо с бороной. Перевернуть борону не было силы, дорога каменистая, борона цепляется за камни, лошадь останавливается, а я не знаю, что делать. Вот так и мучился до самого дома. Дождь перестал. Около дома много народу. Много с оружием, отца с ними нет.

Мама говорит, что его увезли куда-то. Люди вытаскивали на улицу наши вещи. Берите кулацкое добро! Лошадь, корову продали. Особенно свирепствовали комсомольцы, не понимая того, что их ждет такая же участь, репрессии, ссылки. Так разорили наше родное гнездо, как многие гнезда зажиточных крестьян, лучших тружеников села. Подъехали повозки, что разрешили взять с собой, погрузили, но у нас не было хлеба в дорогу. Соседи принесли кто каравай, кто два, кто сала кусок. Вот так мы покинули свою родину. Куда? За что? И можно вспомнить песню:

За то, что работал и пользу давал,
За то я свободы лишился?

Привезли нас на станцию в Белокоровичи, где стоял товарный поезд, в вагонах окна забиты досками, наши вещи выбросили с повозок, заставили на мешках и сундуках написать фамилии и сложить в кучу, выписали квитанции. Нас загнали в тем-

ные товарные вагоны. Крик, слезы. Где наши отцы, где мужья? Конвой бегают, кричит. Когда мы были уже в вагонах, я сидел на нарах и смотрел в окно в щелку между досками. Нары были двухэтажные, я, полулежа, с верхних нар наблюдал за улицей и видел, как вели к вагонам наших отцов. Это было жуткое зрелище.

Ведут колонну людей, окруженную усиленным конвоем с наганами наголо, с винтовками наизготовку. Долго бегали и шумели конвойные, пока растолкали всех по вагонам.

Привезли нас на берег реки Колвы, разгрузили на берегу. Там ждали свой багаж, дождались парохода, а багаж так и пропал, и люди остались в летней одежде. А высылали нас в мае с Украины, где все сады цветели, и получилось так, как у фашистов, которые заставляли людей писать на своих вещах фамилии, а отправляли в крематорий или газовую камеру.

Но тем людям уже не нужны были вещи, а кулаки остались голые и босые в уральскую зиму. Вот и помирали зимой пачками от голода и холода в 40—45 градусов мороза.

Затем по Вишере-реке везли нас пароходы, выгрузили на берегу в таежной глухомани. Наш табор окружил сильный конвой милиции и гражданских с охотничьими ружьями. Несколько дней мы жили на берегу реки под усиленной охраной, потом на повозках повезли в глубь тайги.

Дали людям лопаты, пилы, топоры. Начали строить поселок в глухой тайге. Многие степняки лес валить не умели и гибли под стволами деревьев.

Баракы строили на сваях из лиственницы. Местность болотистая, сверху глина, под ней вода, а на глубине песок. Копая яму для сваи, стараешься пробиться до песка. Вода уходила в песок, и тогда копать становилось легче. Сапог не было, ноги постоянно мокрые, комары, мошка носились тучами, разъедали лицо и руки. Паек был очень скудный на иждивенцев, рабочим давали немножко больше, и нам приходилось работать. Жили в бараках, засыпанных землей до самых окон. По обеим сторонам у стен двухэтажные нары, в проходе между нарами стояли две железные печки, которые вечерами топили, чтоб обсушиться и обогреться. От мокрой одежды, от огромного скопления людей стоял такой запах, что кололо в носу. По всему бараку стоял сизый туман. В этих жилищах когда-то жили заключенные, по черным неоштукатуренным стенам слезинками стекали капли воды. Во мху между бревнами кишела масса тараканов и клопов. Это был поселок Котомыш. Вокруг этих жилищ стояла тайга и вечерами пугала своей черной мглой. Перед бараками была небольшая поляна, на которой горели костры, и примитивные печки, на которых варилась скудная пища. Столовой не было, варили кто что имел. За полянкой протекала

небольшая речка с чистой, прозрачной водой. В этой зеркальной воде мелькало множество водяных крыс, а над водой вились тучи комаров. Вода была очень холодная, и рыбы не было. Вскоре пошла эпидемия тифа, брюшного и сыпного, люди начали болеть. Отец, сестра Маня, я, Франок (10 лет), брат Зигмусь (8 лет) ходили на работу. Мать наша заболела тифом, и ее увезли в больницу. Когда мы остались без матери, сестра Нина ухаживала за младшими, готовила кушать, стирала. И сейчас, после долгих лет разлуки, часто вспоминаю ее маленькую фигурку, как она своими детскими ручонками стирала рубашки, убирала в бараче. Она заменяла нам мать. В нашей семье так было заведено, чтобы старшие ухаживали за младшими и при отсутствии родителей безропотно выполняли их работу. Это помогало нам выжить в таких неимоверно тяжелых условиях.

Чтобы разгрузить очаг заболеваний, нас, в первую очередь многосемейных, развезли по разным деревням Чердынского района Пермской области. Население этого района — русские люди — были добрыми. В деревнях, через которые мы проезжали, люди выносили куски хлеба, картошку. Мы были грязные, голодные. Целое лето не мылись в бане, но были рады и тому, что покинули богом забытую обитель. Мне пришлось приспособиваться к новой жизни. Ходил на озеро неподалеку от Котомыша, находил брошенные старые рыболовные снасти. Иногда удавалось наловить пару десятков рыбин. Нас поселили в деревне Цыдва на квартире Ивана Ивановича Анфиногенова. Отец, два брата, три сестры, и к нам в одну комнату подселили старика и женщину с дочерью 15 лет. Жили, как пчелы в улье, спали вповалку на полу и на полатах у русской печи. Кроватей и постелей не было, в избе только стол и лавки около стен. По углам шуршали желтые усатые тараканы. Со временем нашу семью переселили в пустующий домик, начиненный клопами, спать было невозможно, тогда отец заставил нас заклеить бумагой щели в окнах, сами выселились в сени, отец в подполье зажег горючей серы, и щели в двери заклеили. Погибло все живое в избе, тогда долгое время спали спокойно.

Отец любил детей и старался дать им образование. Старшая сестра Катя училась в Новоград-Волынском, и она осталась на Украине, когда нас выслали. Отец часто говорил: «Мы мучаемся, может, хоть Катыжина (так он ее называл) будет грамотной. Но ее судьба оказалась еще страшнее. Катя окончила 10 классов, в институт ее не приняли как дочь кулака, она тайком уехала в Киев, поступила в институт на исторический факультет. Училась очень хорошо, но ее исключили как дочь кулака. Она вышла замуж за советского офицера Антона Туровского, жила в Житомире, преподавала в школе историю и заочно училась в институте. Это мы узнали после войны. Антон Павлович Туров-

ский был арестован в мае 1938 г., расстрелян в ноябре. Катю арестовали в мае 1938 г., расстреляли в октябре. Осталось двое детей на попечении слепой бабушки: Роман пяти лет и годовалая Галя. Антона и Катю реабилитировали посмертно в 1964 г. А их дети? Долгие годы им пришлось скитаться по различным детским приютам. Судьба их забросила в г. Свердловск, где они жили и работали. Галя вышла замуж, родила двух дочерей, с мужем разошлась. Роман женился, имеет двоих детей.

Наша жизнь в Цыдве была голодной, холодной. Отец работал, ему давали 400 граммов хлеба и суп, а иждивенцы получали скудный сухой паек, за него нужно было платить. Мужики рубили тайгу, строили поселок Лобырь. Многие с семьями жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели тифом, умирали. Мне было 12 лет, не было обуви, ходил в лаптях, в старом оборванном пальтишке, но зимой и летом, в дождь и в лютой мороз бродил по селам, собирал милостыню, носил куски домой, поддерживал младших сестреночек. Но судьба приготовила мне еще тяжелый удар. Я и сестра заболели тифом, и нас увезли в Чердынь в больницу, где лечилась мама. Люди сотнями умирали, а досок негде было брать, без гроба в землю клали. Чтобы спасти от смерти нас, мать санитаркой стала, сама после тифа, чуть жива, поила и согревала нас. Много смертей видел я в той больнице. Однажды весной, таял уже снег, привезли к больнице человека, крикнули в дверь больницы, что подобрали на дороге больного, положили на снег и уехали. Медсестра искала врача, пока собирались выйти к больному, он скончался. Медсестра зашла в палату и говорит: «Кто может ходить, посмотрите, что около трупа делается». Я вышел, посмотрел и ужаснулся. От трупа по снегу ползли в разные стороны крупные вши. Потом я видел в окно, как санитары обливали какой-то жидкостью труп и снег вокруг него. Потом бросили его в сани и увезли. Долго стояла в глазах эта печальная картина. Помню, когда болезнь от меня стала отступать, я не мог ничего есть, и вдруг мне захотелось яичко, но его негде было взять. И вдруг мама мне говорит: «Я добыла тебе яичко, ты бредил во сне, и я выпросила одно яичко у больного». Я это яичко съел и с тех пор начал поправляться.

В уральских селах еще жили одиночно. Были свои земли, свои огороды, свои лошади и скот. Села были огорожены общим круговым забором, все ворота на ночь закрывались, скот ночевал на улице во дворах и прямо на дороге. Ночи летом здесь светлые, и в хорошую погоду можно всю ночь читать на улице без света. В такую погожую ночь пойдешь по селу, а скот кучками против своего двора лежит, стоит. Лошадей обычно выводили на ночь на пастбище. Коровы, телята, овцы, свиньи — все на улице. Только в ненастную погоду скот загоняли в крытые дво-

ры и сараи. Люди жили спокойно, ночью только слышно постукивание колотушки сторожа, а сторожили по очереди. Утром выйдешь на улицу, висит на воротах доска с надписью: «Сегодня ваш ночной караул». Никаких указаний, ни приказов. Сам не можешь выйти в караул, найми. Этот неписанный закон строго выполнялся. Обязанности сторожа были такие: следить, чтоб все ворота были закрыты, в случае появления зверя в селе бить тревогу. Крестьяне зимой занимались охотой, имели ружья, капканы. Летом ни один не выйдет на охоту — это был неписанный закон охотника, и его строго придерживались. Держали охотничьих собак, лаек. Зверя, дичи было много — медведь, лиса, заяц, белка, куница, изредка черно-бурая лиса, рысь, колонок, бурундук. Из птиц было много глухаря, очень много рябчиков, уток. Но люди очень аккуратно вели охоту. Зверя не трогали, пока шкура не поспеет. Птицу не тронут до наступления сезона охоты. В охотничьих зимовьях могут висеть шкуры, лежать продукты, спички, соль, плотно завернутые и обернутые берестой. Замков не было, но был закон: зашел в зимовье, хочешь кушать — бери, поешь, никогда тебя не поругают. Это знал каждый. Мне часто приходилось заходить в зимовье отдохнуть, спастись от дождя. Порядка никто не нарушал. Люди были добродушные, в любое время готовы помочь. Местное население жило размеренной жизнью, поэтому к переселенцам относились с сочувствием. Но вот и к ним дошла коллективизация, и пошел переполох — это начало 1932 года. Всем ясно, как это было, и народ стал обозлен на всех. Прошло разорение крестьянства. Зажиточных выселяли, забирали скот. И наступил 1933 год — голодный, особенно для переселенцев. Местное население стало к ссыльным (так нас называли) относиться с презрением: «Это вы нам привели колхозы, без вас мы спокойно жили». В далеких деревнях северных районов Пермской области, где не было школ выше 4 классов, люди не вникали в политику, им трудно было понять все происходящее. Бросали дома и уезжали дальше на север. Много было пустых домов, в них и помещали переселенцев, но от этого им легче не становилось. У местных трудно было что-то раздобыть, выменять картошки или хлеба на оставшуюся у некоторых одежду.

Однажды весной, уже не было снега, мы с отцом шли в соседнюю деревню, чтобы заработать или выпросить хоть немножко картошки. Уже были видны дома, смотрим — у обочины дороги лежит молодой парень, просит нас: «Дайте кусочек хлеба, я съем, может дойду до деревни. У меня новые ботинки, променяю, может быть, выживу». Но мы ничем не могли ему помочь, сами были голодные. Так он и остался лежать у дороги. Нам повезло: мы добыли ведро картошки и немножко хлеба. Отец мне сказал: «Пойдем домой, отдадим этот хлеб тому несчаст-

ному». Но он был мертв, и ботинок около него не было. Зимой много таких замерзало по дорогам.

Летом легче было добывать пищу: собирали лебеду, крапиву, пиканы, ягоды и все, что можно было съесть. Толкли гороховую солому, собирали по полям крахмал с прошлогодней мерзлой картохи, толкли на муку и пекли лепешки. Вкусно было, только песок трещал на зубах.

Нас у родителей было семеро, старшая сестра, окончив курсы трактористов, работала на ХТЗ. Мама перебивалась случайными заработками, если найдется работа. Отец ходил на разные работы, только за похлебку и кусок хлеба. Мне было 13 лет, остальные младше меня. У меня стал характер волчицы: где что добуду — все тащу домой младшим, сам как-нибудь.

Однажды осенью по снегу, по морозу гнали трактора на ремонт в МТС. Моя старшая сестра Маруся на своем ХТЗ подъехала к избе, слезла с трактора и бегом в избу. Снимает ботинки вместе с портянками, а они примерзли к ботинкам. Мама ахнула и заплакала: «Пропадешь ты на этом тракторе!» Мне стало жаль сестренку, и я смекнул, что много раз работал в Бигичах у добрых людей, они меня кормили. Дай-ка я сбегаю к ним, может быть, выпрошу валенки. Надел свои лапти, сказал сестренке: «Не уезжай, пока не приду, я быстро». Примчался к Марфе Николаевне, она была дома, я со слезами к ней: «Марфа Николаевна, миленькая, Христом Богом прошу, дай валенки, я отработаю, целое лето буду работать». — «Да расскажи толком, что стряслось?» — «Сестренку жалко, погибнет ведь». И рассказал про трактор. Разжалобил женщину. Поверила, я еще летом приметил, что у них много валенок стояло на печке. Снимает с печки валенки, подает мне: «На, неси, а то загинет девка-то. Да смотри, приходи весной пособить дрова пилить, а сам-то голоден, поди-ко покормлю». — «Нет, тороплюсь, вдруг уедет в ботинках». — «Возьми-ко хоть пирожок картошный, дорогой съешь». Сунул я пирожок в карман и бегом. Прибегаю в свою деревню, издали вижу трактор. Отлегло от сердца, успел. Думаю: ну сестренка обрадуется, на шею бросится мне. Захожу в избу, бросаю валенки на пол: «На, обувай!» — «Не обую, ты их украл». И тут с горькой обидой, со слезами на глазах я рассказал ей, как мне пришлось вымалывать валенки. Тут мама вступилась за меня: «Я ему верю, он никогда меня не обманывает». Вот так я обул сестренку в валенки, зато с какой гордостью я проводил ее в дорогу! Тогда только вспомнил пирожок и похвастал маме: «Вот, еще и пирожок дали, забыл съесть». Мама подошла ко мне, погладила по голове и тихо проговорила: «Миленький сыночек, как бы мы жили без тебя»...

Старшая сестра Маруся экстерном окончила десятый класс и поступила в институт. Как ни трудно жилось, отец заставлял

учиться. Он говорил: «Я сам неграмотный, но вы должны учиться, чтобы не мучились ваши дети, как вы мучаетесь». Очень трудно было учиться, потому что близко никаких учебных заведений не было, а ехать в дальние города не было средств. Самый ближний город — это Чердынь, районный центр, старинный уездный городок, он существовал еще при начале династии Романовых, уже был городом. Здесь находилось только педагогическое училище, поэтому сестра училась в институте г. Соликамска — это 160 км от нашего поселка. Младший брат окончил педагогическое училище в Чердыни. Какая это была учеба? Если хорошо учишься, получаешь стипендию и 600 граммов хлеба в день. Вот брат в пургу и метель, мороз вынужден был идти домой за сорок километров, чтобы взять ведро картошки и немного хлеба, много не унести, а денег не было. Хоть день, хоть ночь, надо идти, иначе останешься без стипендии. Все же он окончил педучилище и стал преподавателем. По окончании педагогического института сестра преподавала в школе на Лобыре. Когда она училась, я учился в ФЗУ там же. Стипендия 50 рублей, помощи из дому никакой, денег хватает на хлеб и чай. Вот и приходилось искать заработок. Мороз 43 градуса, школа не работает, дров нет в общежитии, и в школе холодно. Приходит комендант, просит поехать за дровами в лес на лошади. Десять рублей за ходку. Дают тулуп, валенки, хорошую лошадь. Я клюнул на эту удочку. И получилось, что я на умной лошади остался в дураках. Она с грузом и без груза лезла в снег при встрече, и мне приходилось все время следить за дорогой и держать вожжи. А передние подводы шли не отворачивая при встрече, лошади встанут и ждут команды ездового, а он, завернувшись в тулуп, согнется за дровами и сидит, спасаясь от встречного ветра. И я тогда сильно обморозил лицо и руки, долго был на больничном. Пока учился в ФЗУ, проходил практику на калийном комбинате. Однажды меня с механиком послали в забой отремонтировать врубтовую машину. Наша профессия называлась врубмашинисты. Пришли мы в забой. Ремонт сложный, не оказалось нужного ключа. Механик послал меня в инструменталку за ключом: «Иди через старые выработки, здесь намного ближе». Я пошел, но мне показалось страшно, и я побежал бегом, только выбежал на основной штрек, вдруг сзади раздался грохот. Меня обдало волной воздуха и пыли. Я не понял, что это такое. Рассказал инструментальщику, он объяснил, что где-то произошел обвал старой выработки или взрыв метана. Когда я пошел обратно в забой, то та старая выработка, где я только что пробежал, оказалась вся заваленной. Я пошел по новым выработкам, а это много дальше, и я долго шел, пока добрался до забоя. Механик спросил меня, почему долго. Я объяснил, что случилось, он сказал: «Знал я, что этот путь

опасен, вообще в старые выработки заходить опасно, потому что там происходят обвалы, а я послал тебя на гибель. И запомни, сынок, никогда не ходи в старые выработки. Если бы тебя там завалило, не знали бы, где тебя искать».

ФЗУ я не окончил, не выдержал жалкого существования. Несколько человек одновременно пошли на курсы электриков (был объявлен набор при Соликамском бумкомбинате). Стипендия была 70 рублей, учиться пять месяцев и работать на поверхности. В школе ФЗУ электротехнику преподавали обширно, и она мне давалась легко, поэтому я учился отлично. Когда нам объявили, что с наших курсов будут отправлять в Ленинград на повышение квалификации, я сразу попросил преподавателя, чтоб отправил меня. Он обещал сказать мне, когда будет отправка, но обманул. Когда ребята уехали, я с большой обидой обратился к преподавателю, почему меня не послали в Ленинград, а он спокойно мне объяснил, что за каждого отличника завод обещал 600 рублей, и ему жалко было терять деньги. Я долго на него обижался, а зря, потому что вскоре началась война с финнами, а мы все были призывного возраста, и никто из ребят с Ленинграда не вернулся. Видимо, были мобилизованы, и судьба их неизвестна. Окончил я курсы на «отлично» и сразу получил пятый разряд, но и тут мне не повезло. Проработал я больше года, и вдруг отец мне пишет: «Очень тебя прошу, приезжай, сынок, домой, я не смог накопить сена корове, корму нет, корова голодная, если продадим, детей кормить нечем будет, а председатель сказал: «Если сын приедет и будет работать в колхозе, я корову твою обеспечу кормами». Пришлось мне рассчитаться и ехать домой.

Дома я увидел, что корова ест только березовые ветки, какое тут молоко. Отец посылает меня к председателю колхоза: «Проси, чтоб выписал корму корове, сейчас декабрь, а до весны корова не дотянет». Пошел я к председателю. Он спросил: «Что, совсем приехал или в гости?» Я ответил, что приехал работать в колхозе. Он выписал сена, соломы овсяной. Как обрадовался отец кормам, не меньше, чем корова! Меня прикрепили к опытному лесорубу, и мы с ним ходили каждый день в лес, заготавливали березу для лыжной и ружейной болванки. Лыжи делали в нашей столярной мастерской, а ружейную болванку отправляли на фабрику. Прибыль колхозу была большая. Председатель колхоза Дукашев был из кубанских казаков, могучего телосложения, стройный. Образование — 4 класса, но хозяйство вел прекрасно. Под его руководством колхоз приобрел и восстановил старый локомотив с двумя шкивами на стационаре, он приводил в движение пилораму и мельницу днем, а вечером перебрасывали один ремень на динамо, и вечерами электрический свет освещал поселок, это для колхоза была редкость,

и колхозники были очень довольны. Пилорама давала хороший доход хозяйству. На свинарнике и скотном дворе были кормозапарники, теплое родильное помещение для коров. Свиной содержали в теплых помещениях, поэтому хозяйство было одно из лучших в области.

За свиноводство колхоз получил премию — грузовой автомобиль, это была роскошь для колхоза. Молочный скот тоже был на высоте, за поставку молока колхоз получил премию — второй автомобиль. Во время молотьбы локомотив вывозили трактором к скирдам хлеба, и молотили уже не лошадьми, а локомотивом. Это тоже большое дело. Порядок поддерживался крепкой дисциплиной. В семь часов утра на пожарной каланче гудела сирена, в восемь все должны быть на работе. Наряд на работу получали вечером в конторе. И никому не приходилось требовать, чтоб вышли на работу, люди с желанием сами шли. Хлеб жали серпами, жаток не было, но люди работали на совесть. Поэтому и получали на трудодень по 3 килограмма хлеба и по 3 руб. 50 коп. деньгами. И колхозники из соседних сел ходили к нам, переселенцам, чтоб купить продукты, потому что у нас был свой колхозный магазин, где продавали квашеную капусту и разные овощи, а также мясо, масло, сало по дешевой цене. На уборке хлеба применяли только серп, а отец мой с мамой применили старый украинский метод — косить пшеницу косой — и удивили многих. Ведь производительность труда повысилась в два-три раза, и качество уборки было хорошее. А косили так: отец делал на косу приспособление и косил не от стенки, как обычно, а на стенку, и пшеница подкошенная наклонялась на стенку неподкошенной и ровным рядом стояла, а мама следом подбирала пшеницу и вязала снопы. Это вызвало раздражение у тех, кто работал серпом, потому что у отца с мамой заработок удвоился и утроился, но председатель, проверив качество уборки, приказал писать как за уборку серпом. Поэтому у отца на первой копне всегда стоял красный флажок, как передовик он получал благодарность и премию. Отец не щадил себя на работе.

Сестра Маруся вскоре уехала в г. Кизел, где вышла замуж, родила троих детей, воспитала, выучила двух дочерей и сына. Мы остались на Лобыре, пахали, сеяли, убирали хлеба, косили сено на глухих лесных полянах. Мама получала помощь от государства как многодетная мать на восьмого ребенка (две тысячи за год), деньги отдавали одновременно, и поэтому часто страдали многодетные матери от грабежей, были и убийства. Однажды я был на сенокосе, отец находился в больнице, а мама эти две тысячи получила. Мы кончали заготовку сена далеко в тайге. Бригадир меня послал домой верхом на лошади, и я приехал на поселок уже поздно, доложил председателю, чтобы по-

слал повозки за людьми и инструментом, пришел домой, поиграл с маленькой сестренкой и лег спать на полу. Мама спала на кухне. Вдруг я сквозь сон услышал испуганный голос матери. Я как подброшенный могучей пружиной вылетел на кухню и увидел, как черная тень бросилась от маминой койки к окну. За окном маячила другая тень, рамы не было. Я успел ударить по спине бандита, но он выскочил и побегал. Я в нижнем белье с голыми руками за ним, но он скрылся за углом барака. Тогда я опомнился и остановился: их двое, а я один. Мама испугалась, что меня могут убить, и сильно стала кричать, на пожарной вышке услышали тревожные крики и подняли тревогу. По телефону позвонили коменданту, сиреной подняли поселок, но мы никого не нашли, хотя комендант с наганом в руке и еще несколько человек проверили весь кустарник на окраине поселка. Нашли только топор, которым грабители вытаскивали раму. Когда волнения улеглись, мама рассказала, что произошло. Она проснулась от шепота: «Отдай деньги, а то зарежу». В руке грабителя был нож. Она натянула на голову одеяло, но одеяло с силой было отброшено на пол. Тогда мама вспомнила, что я дома, и сильно закричала.

Наш поселок находился в глубине тайги. В 1930—1935 гг. там было очень много дичи. Следы зайцев часто встречались прямо в поселке около домов. Мне приходилось видеть в марте заячьи свадьбы. Интересно было наблюдать, как они гоняются друг за другом, забывая об опасности. Когда подойдешь близко к ним и громко свистнешь, они замирают на месте и как бы с удивлением смотрят на тебя блестящими с красным отливом глазами, затем нехотя убегают. В это время их никто не тревожил. Было много белки, в осенний сезон хороший охотник убивал за один день до 20 белок, конечно, с собаками. Это незаменимый помощник таежника. Рябчиков можно было встретить целые выводки на любой таежной дороге. Иногда встречались выдры около таежных речушек, в которых было много рыбы. Уральская тайга была богата грибами и ягодами, кедровыми орехами.

Среди этого богатства природы и люди могли жить хорошо, но жизнь была тяжелой, особенно у переселенцев. Документов никаких не выдавали. Люди без разрешения коменданта не имели права отлучиться из поселка. Ежедневный тяжелый труд угнетал неправых людей.

Началась война. Председателя колхоза Дукашева взяли на фронт, не стало хозяина в колхозе. Колхоз стал нищать. Забрали в армию всю молодежь, в том числе из нашей семьи троих — меня и двух братьев. Средний брат попал в Смоленск на учебу. Воевал в составе польской армии имени Тадеуша Костюшко. После войны остался в Польше, женился на польке.

В 1946 году ему разрешили забрать к себе нетрудоспособных родителей. Мать, отец и три сестры уехали в Польшу. Я служил в армии в составе 371-й дивизии 1231-го полка. Был радистом. Участвовал в боях с Германией, а затем с Японией. Демобилизован в 1946 г. в мае. Младший брат, штурман дальней авиации, сейчас на заслуженном отдыхе, живет в г. Фрунзе. Я с младшей сестрой Броней — в Сибири, старшая сестра Маруся — на Урале в Пермской области. Разбросала нас судьба по белому свету. Но судьба была милостива к нам, все после войны остались живы. Одна Катя безвинно погибла с мужем от рук сталинских палачей, а их дети скитались по разным детским интернатам, и случайно их свела судьба в Свердловске.

От берега детства ушли мы далеко,
Житейское море затихло вдали.
Закатное солнце над лесом склонилось,
Корабль наш стоит на мели.
Быть может, подует нам ветер попутный
И снова мы двинемся в путь.
Закат наш уж близок,
Уж солнце за лесом.
Нам путь освещает лишь солнечный луч.

Ф. Лореш *

ТИМШЕР И ДРУГИЕ

Вдовы трудармейцев поселка «Труд» Алтайского края Эмилия Дотц и Екатерина Шнайдер подсчитали, что из 87 мужчин села Эндерс АССР, находившихся во время войны в лагунке Тимшер, живыми вернулись к своим семьям только 23 человека. Пятеро из них вскоре умерли...

Я проработал рядовым в лагерях на заготовке леса шесть лет и семь месяцев. И за эти годы много увидел и пережил. Считаю своим долгом в память о погибших трудармейцах рассказать о годах войны, прожитых там...

Есть в Пермской области такая река — Тимшер. Там и находится одноименный лагерный пункт, что в 180 километрах севернее города Соликамска. Лагерями край был богат: Тимшер, Чепец, Омут, Пильва, Ильинка, Москали, Мазуня, Челва. Все они относились к Усоллагу и были мужскими. Кроме них, в лесах области находились и лагеря с трудмобилизованными немцами.

* Фридрих Лореш. Публикуется по: Нойес Лебен, 1989, № 42—43.

К январю 1942 года Тимшер и другие лагеря опустели. Там оставалось только наше будущее начальство и охрана. Однако страна нуждалась в лесе, и рабочую силу нашли скоро. В начале февраля пустующие лагеря стали заполнять немцами-трудармейцами...

В сентябре 1941 года нас переселили с Волги в Алтайский край, и мы сразу же приступили к работе в здешних колхозах — средств ведь к существованию не было никаких. Уже в январе 1942 года Топчихинский райвоенкомат провел первую крупную мобилизацию мужчин-немцев от 17 лет и старше. Мы обязаны были иметь при себе кружку, ложку, миску и продукты на 10 дней. Из Топчихи нас направили на станцию Алтайскую, где нас — тысячу человек — продержали около 10 дней в ожидании железнодорожного состава. В это время мы узнали о второй мобилизации немцев, уже с 16 лет, и тех, кто не прошел первую. Здесь я и встретил брата, которого тоже мобилизовали. Ни я, ни он не знали, куда нас везут.

Наконец нас погрузили в товарняк. Сразу удивило то, что среди трудмобилизованных были только немцы. В начале февраля эшелон прибыл в Соликамск. Нас поселили за колючую проволоку для перерегистрации. Один из охранников шутя заметил, записывая фамилию трудармейца — Бир:

— Бир — хорошо, а бри — плохо...

Соорудив себе примитивные санки и погрузив на них свои вещицы, мы отправились на второй день в северном направлении. В пути нам встретился дедушка, который мрачно произнес:

— Туда идут табунами, а оттуда — одиночки...

Так и шли мы днем и ночью с небольшими перерывами на отдых в попутных лагерях или деревнях. В лагпункт Тимшер прибыли поздно вечером. Ночь провели в зоне — в холодном бараке.

Утром после мытья в бане нас разместили в натопленном бараке с двухъярусными топчанами на четыре человека. В нашей половине барака находились жители сел Эндерс, Швед, Мариенталь и города Маркштадта.

Вот тут мы наконец и разглядели, что находимся за сплошным четырехметровым забором и колючей проволокой. По углам зоны стояли сторожевые вышки, а в проходной дежурила охрана. Вне лагерной ограды размещались конный двор, столлярный цех, небольшая неисправная электростанция, карцер и другие постройки. Несколько дней шло распределение по ротам, взводам; оформлялись документы с униженной процедурой взятия отпечатков пальцев. Врачебная комиссия «рассортировала» людей по физическому состоянию и здоровью на несколько групп. Мы приводили в порядок свою одежду и обувь.

Наш рудбатальон состоял из четырех производственных рот

и одной хозяйственной. Были назначены командиры рот, взводов и десятники из числа трудармейцев. Взводные и десятники принимали инструмент — пилы, топоры. А будущее рабочее место находилось в нескольких километрах от лагеря. Поблизости лес был вырублен еще до нас заключенными.

Каждый взвод состоял из звеньев, а в каждом звене по норме полагалось иметь семь человек. Мои друзья Фридрих Эндерс, Генрих Айрих и я записались в звено Надижанского (польского немца). В нашем взводе был и один из братьев Вайс — бывший артист Маркштадтского колхозно-совхозного театра. Первым командиром взвода стал Дортман, бывший работник милиции Маркштадта, а десятником — бывший учитель села Эндерс Роберт Лох.

В середине февраля 1942 года нас впервые вывели на работу. Комбат Булгаков обратился к нам с краткой речью и провел инструктаж, иными словами, показал, как вставать к дереву и спиливать его лучковой пилой. Так началась трудная, изнурительная работа по заготовке спецлеса для военной промышленности.

С первого дня работе отдавали все силы, но норму все же не выполняли, и поэтому хлеба в день получали меньше 800 граммов, то есть меньше нормы. Мешали сильные морозы и обильные снега, выпавшие в те годы. А самое главное — это скудное питание. Обеды на рабочее место нам часто не привозили вовсе.

Мы строго выполняли технику безопасности и технологию заготовки леса. С весны 1942 года нам разрешили провести некоторую реорганизацию трудовых звеньев: мы сократили их состав с семи до четырех-трех и даже до двух человек. Таким образом, каждый лесоруб должен был овладеть смежными профессиями. Опыт пришел быстро, но катастрофически уходили и наши силы. Обессилевшие рабочие замерзали прямо в лесу у костров. Все яростнее набрасывались на нас болезни. Одними из первых умерли бывший преподаватель математики Маркштадтского педучилища Браун и звеньевой Надижанский...

Много хлопот принесла весна 1942 года. Резиновой обуви у нас не было, а взамен зимней ничего не давали. Так мы и шлепали по мокрому снегу и лужам до мая месяца в своих валенках. По ночам сушили их в сушилках, но не просушивали.

Первая обувь, которую нам выдали, были матерчатые ботинки на деревянной подошве. Но материал вскоре оторвался от колодок...

В свободное от работы время мы обычно лежали на топчанах, спали или негромко разговаривали. О чем? О еде досыта! Об открытии второго фронта союзниками, о скорейшем окончании войны и возвращении домой, на Волгу...

Свою порцию хлеба мы получали в бараке. Обычно пополам — утром и вечером. При его раздаче дневальный зажигал лучинки — другого света у нас не было. Суп был почти без жиров и мяса, а чай — с сахарином. Немного каши полагалось только при выполнении нормы. Двойную порцию полагалось выдавать только пильщикам на продольных пилах. При таком скудном питании в туалет, извините, по большому ходили раз-два в неделю. А голод довел одного моего знакомого до такого состояния, что он однажды спросил меня:

— Я тут видел — наш повар оправлялся... Как думаешь... ну это... а нельзя ли кал его... попробовать съесть?..

— Не смей об этом даже думать!!! — ответил я ему.

Больные павшие лошади у нас даром тоже не пропадали. А собак и кошек здесь уже не было. Выброшенные кухонные отходы подбирались начисто.

Рабочий день длился 12 часов. Выходных практически не было. В положенный каждый десятый выходной при невыполнении плана или в честь победы на фронте мы работали. Кроме того, мы заготавливали дрова и подносили их к лагерю, рушили крупу на складе, а летом собирали грибы и ягоды для столовой. Праздничные дни всегда объявлялись днями ударной заготовки и вывозки леса. Всю зарплату с первого дня работы и до конца войны мы отдавали в Фонд обороны. На это каждый трудармеец давал письменное согласие.

Несмотря на все трудности, лес родине шел. Многие звенья стали называться фронтовыми при выполнении задания на 200 процентов, остальные боролись за это звание. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал девизом всех трудармейцев. Постоянно вывешивались лозунги в честь годовщин и знаменательных событий. Правда, о том, что происходило на фронтах и в стране, мы почти ничего не знали. Газет и радио не было. Книг тоже. Иногда перед строем выступал комиссар. Рассказав нам о положении на фронте и в нашем трудбатальоне, он не забывал упомянуть и о том, что немцы только упорным трудом могут искупить свою вину. Только непонятно было — какую?!

Нам разрешали писать письма, только на русском языке и «ничего плохого», иначе цензура их просто ликвидировала. Получали письма обычно с перечеркнутыми словами и предложениями. Из писем я узнал, что мобилизованы брат и мама, бывшая учительница, а бабушка, которой шел восьмой десяток, еле перебивалась на чужой квартире. Успокаивал я себя тем, что у других еще хуже, особенно в семьях с детьми от трех и более лет. У них не только папы, но и мамы оказались мобилизованными.

Забегая вперед, скажу, что после войны я узнал о таких

случаях. У Кати Шнайдер из деревни Волгариха Ракитинского сельсовета Алтайского края были мобилизованы все: отец, мать и брат. Из таких же подростков, как она, образовалась группа, которая жила вместе в землянке. В 13 лет Катя работала в колхозе. Это еще не беда, но однажды утром она задержалась дома. Пришел бригадир, бывший фронтовик, стал бить и пинать ее до тех пор, пока она не пошла на работу в колхозную сушилку.

А Ваня Майер из Парфеновского района остался со сверстниками из трех семей. В 13 лет он, самый старший, оказался еще и кормильцем для них. Он вел хозяйство и работал в колхозе. У Вани все шло хорошо, если бы однажды бригадир, инвалид войны, стараясь, видимо, отомстить немцам, не попытался притоптать его лошадью, на которой сидел верхом. Тринадцатилетний мальчишка русского языка почти не знал, и нелегко ему было оправдываться перед бригадиром. Боясь расправы с его стороны, Ваня на работу выходить не стал. Его вызвали в сельсовет. Председатель сельсовета осудил действия бригадира в присутствии мальчишки. Ваня снова приступил к работе.

Эти два примера (Катя и Ваня сейчас живут в Копейске) издевательства над советскими немцами, правда, нехарактерны, так как большинство жителей Алтая относились к немцам не враждебно.

Возвратимся в Тимшер. Травмы в лесу на работе случались нечасто. За случайно отрубленный палец освобождения от работы не давали — перебинтовали и айда в лес! Считали, что это сделано специально. Не пустовал и холодный карцер. За малейшую провинность сажали туда. Автору этих строк «посчастливилось» побывать там. Повод был такой: члены нашего звена утром при переправе через реку Тимшер нагребли из затопленной баржи по стакану овса. А на работе во время ливня стали жарить его в своих котелках. Мы в это время сжигали сушья. А комбат Булгаков, командир роты и десятник в это время стояли в кустах и наблюдали за нами.

После комбат подошел к нам, увидел овес в котелках и спросил, кто звеньевой. Я представился. Комбат объявил мне 10 суток ареста и командиру роты велел сейчас же отправить меня в карцер.

Люди в запертых камерах карцера сидели и спали на полу в одежде, под голову на ночь ставили свои ботинки. На следующий день, выстроив нас, человек двенадцать, охранник произнес:

— Шаг влево, шаг вправо — стреляю без предупреждения!

Не покидал нас стрелок и во время работы. Мы выкорчевывали пни вокруг лагеря. В это время в карцере находились

трудармейцы Муль из Маркштадта, Дотц и Синтер из села Эндерс. На четвертый день вечером дневальный карцера объявил мне приказ комбата о том, что тот освобождает меня от оставшихся шести дней пребывания в карцере за хорошую работу.

Дезертиров на Тимшере я не помню. Знаю только, что летом после работы некоторые уходили в болота за ягодами и, заблудившись там, оставались ночевать в лесу. Но на следующий день, услышав стук топоров, выходили к своим. Однажды начальник охраны, хвастаясь перед нами, говорил, что он лично застрелил несколько дезертиров и якобы бросил их тела у проходной. Но я их там не видел.

Летом 1942 года наш обновленный взвод направили косить траву для лошадей. Командиром взвода стал Шенбергер, бывший житель Новороссийска, поваром и сторожем назначили Шмидта, бывшего работника милиции из Маркштадта. Жили мы в землянке километрах в 12—15 от Тимшера в сторону Бондюга. Грибов и ягод было море — черника, голубика, морошка, брусника. Названия их мы не знали, поэтому называли по цвету спелых ягод. Иногда мы варили попавшуюся птицу, даже ужей. Здесь мы немного ожили, чувствовали себя почти как на свободе. В сентябре вернулись на Тимшер. Для предстоящей зимы многим нужна была теплая обувь, а валенок не давали, их не было. Из слабосильных трудармейцев была организована и обучена бригада лаптеплетов. Среди них оказался наш земляк Эваль Бернс. С фронта начали поступать ватные брюки и фуфайки, бывшие в употреблении.

В январе 1943 года был составлен этап в другой лагерь, названия которого я не помню. Лагерь находился в 30 км от Тимшера и на таком месте, где летом из-за болот заготовка и вывозка леса невозможны. Начальником этого лагеря был комендант с Тимшера, ярый человеконенавистник. Прибыли мы на новое место с потерями. Шли пешком, в пути замерзло несколько человек. Да и в первую ночь многим на новом месте не повезло — были ограблены людьми, которые там уже находились в бараке, или работавшими рядом зэками. Наутро я, как и другие, оказался без валенок.

Разутым и раздетым ничем не помогли, на работу они не выходили, но их в первый же день во время развода начальник проучил. Он выгнал всех из барака в имеющейся одежде и обуви. Некоторые на ноги натянули рукавицы. Я был в тоненьких носках и галошах, привезенных еще из дому. Выстроил он нас, человек 18—20, перед проходной по четыре человека в ряд, приказал охраннику нас не распускать и ушел. Мороз, как всегда, доходил до 30° и более. Сначала терпели, стояли долго. Продрогнув до костей, обреченные просто заплакали, а начальник

не шел. Даже охранник, глядя на нас, заплакал. Наконец пришел начальник и отпустил нас в барак, показав таким образом свой характер.

Что собой представлял наш барак? Это было помещение с двухэтажными сплошными нарами по обеим сторонам прохода. Посередине барака лежала двухсотлитровая стальная бочка, которая служила печкой и круглосуточно топилась. В бараке царил мрак, оконные проемы вместо стекла состояли из стеклянных банок, стоявших рядом друг на друге. Вшей мы все же умудрялись разглядеть. В баню не ходили, да ее и не было поблизости. Разутые и раздетые, мы получали в день по 300 граммов хлеба и два раза жиденькую баланду. Работающие получали хлеба побольше и немного каши из черпачка, размером с баночку из-под сапожного крема.

Слабели все, появились первые больные. Через месяц работать стало некому. Была получена команда вернуться всем на Тимшер. Обрато шли рядом с другом Дамзенем, бывшим учителем из села Эндерс. Он был в валенках, я — в ватных чулках, но без лаптей, которые к ним полагались. Когда вернулись в Тимшер, то попали в баню, а одежду сдали в прожарку. Дамзен показал мне в бане обмороженные пальцы ног. Потом их ампутировали.

По решению медкомиссии большинство из нас поместили на месяц в стационар для слабосильных. Из барака мы почти не выходили. Шла весна 1943 года. В лагере свирепствовали инфекционные заболевания, среди которых первое место занимала дизентерия. У крайне ослабевших и истощенных она очень быстро заканчивалась смертью. Умирили трудармейцы десятками в день. По ночам их штабелями вывозили из лагеря и бросали в лесу в братские могилы. Это мы видели через окна барака, и это подтверждает Эмиль Риммер, который в то время работал санитаром в стационаре. Сейчас он тоже проживает в Копейске.

В это время в стационаре умерли брат Риммера, отец Фридриха Шнайдера и бывший директор школы села Эндерс Давыд Геб. Умирили в основном когда-то физически сильные люди, которые никак не могли перенести голода.

Закончился месяц нашего пребывания в стационаре, а сильнее мы не стали. По решению медкомиссии, нас, человек 50, отправили из Тимшера в оздоровительный лагпункт Пильва еще на месяц. Прибыли мы в Пильву, а там уже находились такие же дистрофики, как и мы. Там я узнал свой вес — 45 кг при росте 167 см. Питание было плохим, но все же лучше, чем в стационаре. Через месяц мой вес увеличился до 47 кг, и я смог приступить к работе. Некоторое время мы поработали на Пильве. В Тимшер я больше не попал, но лесоповал там про-

должался — лагерь пополнялся трудармейцами из других лагерей...

Летом 1943 года нас, человек сто, из Пильвы под усиленной охраной отправили в лагпункт Ильинка для продолжения лесозаготовок. Этот лагпункт ничем не отличался от Тимшера, такая же зона, бараки, столовая, баня; начальство — комбат, комиссар, технорук, охрана. Прибыло сюда пополнение из других лагпунктов, в том числе из Ивделя Свердловской области и из лагерей Красноярского края. Трудармейцы Ивделя ничем не отличались от нас, зато люди из Краслага оказались в неплохом физическом состоянии. Питание несколько улучшилось, и, как результат, стало больше заготовленного леса, быстрее вырубались делянки.

На Ильинке произошло ЧП: был убит нормировщик лагеря (Нетт или Нетто — точно не помню фамилию) при неустановленных обстоятельствах. На похоронах комиссар обвинил нас всех в этом преступлении. Через год последовал очередной лагпункт — Мазуня, на берегу Камы. Стояло лето 1944 года. Начальник лагеря, бывший заключенный, заботился о нашем питании. Ему нужны были люди, способные валить лес, а не доходяги. Охрану лагеря вскоре заменили на самоохрану из наших трудармейцев. Осенью 1944 года мы, лесоповальщики, переехали в лагерь без зоны километрах в восьми от базового, поближе к месту работы. Здесь мы жили без охраны вообще и никто не дезертировал. От голода теперь никто не умирал, а заготовка и вывозка леса росли. Взводы уже назывались бригадами. Например, лесоповальная бригада Франка или Брюггемана. Эти бригады размещались в одном бараке и соревновались между собой.

Кстати, о Франке. Он оказался любимцем двух бригад, хранил в памяти множество народных песен и был запевалой. По вечерам любители пения собирались вокруг него, звучали песни... Остальные слушали, сидя или лежа после тяжелого труда. До этого песня была забыта. Но вскоре Франк неожиданно почувствовал себя на работе плохо и, не дойдя до лагеря, скончался. На другой день мы узнали, что у Франка был заворот кишок. Заглохла на время песня. Но потом кто-то из певцов обратил ко всем со словами:

— Продолжим, друзья, петь и назовем эти песни песнями Франка...

Так и продолжалось у нас хоровое пение.

Трудармейцы-немцы работали и дальше с подъемом в надежде на скорое возвращение к своим, а затем на восстановление справедливости и возвращение на Волгу. Жить стало много радостнее, к нам постепенно вернулось чувство юмора. Посмеялись мы над трудармейцами Гроссом и Кляйном, когда

те однажды встали рядом. Ведь Кляйн был ростом на полметра выше Гросса!

Осенью 1945 года предстоял нам новый этап. Участок в полном составе — лесоповальщики, дорожники, возчики леса — был переброшен вверх по Каме в лагпункт без зоны Челва. Для этого к крутому берегу был подан пароход, а мачта у него случайно зацепилась за сучок огромной сосны на берегу. Рабочие уселись на палубе на свои вещмешки, пока бригада возчиков перекатывала свои площадки для перевозки леса с берега на борт парохода. Товарищи попросили меня выяснить, когда закончится погрузка. Я пошел посмотреть, как идут дела, и, стоя на берегу, наблюдал за тем, как закатили последнюю тележку. Пароход отошел от берега, а зацепившийся за сосну конец мачты треснул, обломился и упал на палубу.

Минут через пятнадцать я вернулся к бригаде. Все, довольно улыбаясь, смотрели мне в лицо, и кто-то сказал:

— Фриц, ты родился в рубашке! Вон только что матрос убрал с твоего мешка кусок рухнувшей верхушки мачты!

Я уселся на свое место, а пароход уже плыл вверх по течению Камы...

На Челве строительные бригады уже возвели бараки, столовую, баню, склад. Жилье было готово, и потому мы сразу же приступили к заготовке леса. Да еще какими темпами! По-ударному трудились все, особенно звенья Германа, Адама, Гиля из нашей бригады. А бригадиром у нас был коммунист Вернер. Впервые я тогда услышал, что коммунисты собирались на партийные собрания. Коммунистом я тогда не был, даже комсомольцем не мог быть — ведь я сын «врага народа»...

Среди трудармейцев на Челве оказались замечательные музыканты. Организовалась самодеятельность. В выходные дни теперь звучала музыка...

В 1946 году за выдающиеся успехи по заготовке леса начальник нашего лагеря Васильев был награжден орденом. В честь этого события летом на берегу Камы он устроил большой пир с участием всех трудармейцев, включая дневальных. В своей речи Васильев поблагодарил всех за самоотверженный труд и, конечно, накормил всех как следует. Привез бочку вина, гремела музыка, выступали артисты. Мы были тронуты этим вниманием и в долгу не остались. Вообще вклад трудармейцев-немцев в заготовку леса для страны был велик. Но не помню случая, чтобы кто-то из них был отмечен наградой. А в нашей бригаде трудились даже участники войны, как, например, Фендель.

Осенью 1946 года пришло распоряжение в срочном порядке в течение одного месяца огородить лагерь сплошным забором. Для этого все силы были брошены на заготовку шестимет-

ровых стоек и копку канав для забора глубиной около двух метров. Эту трудную работу мы выполнили в срок, несмотря на то, что канава все время заливалась грунтовыми водами.

Заготовка леса продолжалась. Вместе с тем жила в нас и надежда на освобождение из лагеря. К этому времени уже действовала спецкомендатура, в которой мы все состояли на учете и к которой относились с подозрением.

В начале 1947 года наш трудбатальон был расформирован. Вне лагеря оставляли жить и работать человек 50 материально-ответственных лиц, будущих инструкторов нового контингента. Я оказался в числе инструкторов. Остальные трудармейцы были направлены в другие лагпункты и этапом вверх по Каме в леспромхоз Гайны.

В январе 1947 года на Челву пригнали этапы заключенных с Украины («изменники родины»,— сказали нам) и из Прибалтики. Мы, инструкторы, работали с заключенными и одновременно обучали их лесозаготовительным работам. В это время от туберкулеза легких умер наш бывший мастер Д. А. Дотц. Похоронили его по-человечески, в гробу, на кладбище деревни Светлица, что на противоположном берегу Камы.

В марте 1947 года мы завершили обучение заключенных. И нас, человек 40 трудармейцев, отправили пешком в г. Чердынь. В гостинице города мы провели несколько дней в ожидании транспорта для переброски в деревню Демино Ныробского района. Там разместили нас в пустоватых комнатах у местных жителей. Мы поселились вместе с другом Карлом Винцем. Продолжали привычную работу по заготовке леса в 12 км от деревни. Из этого леса заключенные внутри зоны строили бараки для будущего лагпункта.

Лесоповал закончился для меня в конце августа 1947 года, когда я получил разрешение ГУЛАГа на выезд по вызову моего брата, работавшего в угольной промышленности. 22 октября 1947 года я приступил к бурению скважины в качестве старшего бурового рабочего на шахтах города Копейска на Южном Урале...

1989 г.

*Н. Радзевский **

ПЕРЕЖИТОЕ

Я родился 30 июня 1917 года в семье крестьянина в Белоруссии. Мои предки были потомственными крестьянами. У деда

* Николай Семенович Радзевский (р. 1917).

по отцу было четыре сына, мой отец — самый младший. В те времена у крестьян существовал обычай: когда один из сыновей женился, отец выделял ему часть земли из своего надела, помогал построить дом, а также обзавестись всем необходимым в хозяйстве. Такую помощь получили два первыми женившихся сына, а двум, в том числе и моему отцу, не хватило земли из отцовского надела. Тогда отец и его брат Игнат пошли на лесозаготовки, где проработали более двух лет. На заработанные деньги каждый из них купил землю, построил дом, обзавелся всем необходимым для самостоятельного хозяйства. Было это в 1903—1905 годах.

Так жили и трудились до Октябрьской революции 1917 г. и потом до 1929 г. при советской власти. В 1929 году начали раскулачивать так называемых кулаков, раскулачили и моего дядю, отнимали все хозяйство, выгоняли из собственных домов, семьи вывозили в Сибирь и на Урал. Остальных крестьян насильственно загоняли в колхозы. В 1929 году отец также оказался в колхозе.

До вступления в колхоз единоличное хозяйство отца считалось середняцким, в 1930 году под предлогом трехпроцентника у нас отняли оставшееся от сдачи в колхоз хозяйство и семью выслали в Пермскую область, в Косинский район. Что там пережили — вспоминать тяжело, доходили до голодной смерти, жили в бараках, спали на двухъярусных нарах, ели траву, древесную кору, работали на лесозаготовках. Меня и сестру как малолетних зимой 1931 г. отпустили на поруки оставшимся на родине родственникам. Так мы оказались в семье старшей сестры, которая была замужем. А родственника мужа нашей сестры, который приехал на Урал, чтобы забрать своего несовершеннолетнего племянника и меня с сестренкой, в 1932 году забили и осудили к расстрелу.

В те годы мы работали в колхозе, за отработанный день в табеле ставили единицу, а в конце года выдавали на так называемый трудодень по 400—600 граммов зерна низкого качества.

В Белоруссии, на Украине и в отдельных областях России в начале 30-х годов свирепствовал голод. От голода, особенно на Украине, умирали люди. Но не дай Бог, чтобы председатель колхоза решился из нового урожая выдать голодающим колхозникам небольшое количество зерна, прежде чем колхоз выполнит план сдачи зерна государству. Такой председатель привлекался к суду по всей строгости закона.

В 1932 году при содействии старшего брата, избежавшего ссылки и проживавшего в те годы на Украине, я поступил сначала на подготовительные курсы в лесотехнический техникум, который закончил в 1935 г. В 1932 г. на подготовительные курсы в техникум было принято 126 человек. Но к концу учебно-

го года осталось всего 29 человек, остальные разбежались от голода.

В 1935 году я имел постоянную работу техника Старо-Оскольского лесхоза в Курской области. В 1938—1940 гг. служил в Красной Армии, в 1939—1940 гг. служил в Прибалтике, в Латвии, при их капиталистическом строе. На меня большое впечатление произвел уровень жизни в странах Прибалтики.

С начала Отечественной войны 1941 года находился на фронте. В июне 1942 г. наш полк был дислоцирован на третьей линии обороны для защиты подступов к г. Воронежу. Рота занимала оборону 4 километра, батальон — 16 километров. В случае вынужденного отступления наших войск, они должны были вливаться в нашу оборону, и мы вместе оказываем сопротивление врагу. На вооружении батальона были 45- и 76-миллиметровые орудия, противотанковые ружья, пулеметы, винтовки, но боеприпасов к ним не было даже по одному комплекту.

Наших отступающих воинских частей мы так и не дождались, а пришли немецкие танки, без боя прошли нашу оборону и проследовали дальше, а мы оказались в окружении.

Прожил я на оккупированной территории ровно 6 месяцев, работал в том же Старо-Оскольском лесхозе в должности лесничего. В феврале 1943 г. наши войска освободили г. Старый Оскол, меня арестовали. В тюрьме просидел до июля. Было закончено следствие, военный прокурор, не найдя основания для моего осуждения, возвратил материал на доследование, но в связи с создавшейся обстановкой на фронте всех содержащихся в Старо-Оскольской тюрьме погрузили в вагоны, по 100 человек в каждый, и вывезли в Ныроблаг Пермской области. Здесь и судила меня тройка, дали 10 лет, плюс 5 лет лишения прав.

В тюрьме сидели в камерах, где не было даже нар, лежали на голом полу, плотно примыкая друг к другу. Весной и летом хором просили не еды, а воздуха, а когда везли в вагонах, на станциях, где останавливался наш состав, мы так же хором просили не еды, а воды. От Соликамска до Ныроба расстояние порядка 200 километров. Нас гнали под конвоем пешим ходом, ночевали под открытым небом.

По прибытии на место накормили нас обедом — отваренная цельная пшеница, таранка соленая, вода из речки. Источенных за полгода в тюрьме, в длинной дороге, в пешем переходе заключенных охватила эпидемия дизентерии. Для изоляции больных было освобождено два, а потом три барака, каждый день умирали до пяти-шести человек. Я попал в изолятор. В один из дней при обходе больных врач з/к познакомился со мной и наказал зайти к нему на прием в местную амбулаторию, где и оставил меня работать медстатистиком.

До настоящего времени вспоминаю его с большой благодарностью, считаю, что в то самое тяжелое время только он спас меня от верной смерти. Звали его Аноп Саркисович Алавердян. Был он майор медицинской службы, тоже осужденный по статье 58—10 к 10 годам лишения свободы.

Потом я оказался в другом лагерном подразделении, в режимной бригаде, среди 45 человек воров в законе, воришек и хулиганов. Работали на лесоповале, летом — на формировке плотов на реке Вишере, зимой выкалывали лес изо льда. В бригаде меня тоже не обижали, а я, пользуясь доверием вольнонаемных мастеров, заполнял наряды на выполненные работы всегда на максимальную норму хлеба для всей бригады. Только лет через 10, уже будучи на свободе, я узнал, что в режимную бригаду попал по доносу таких же заключенных, что якобы я намеревался совершить побег, чего у меня и в мыслях не было. Я отлично знал, что попытки побега успеха не имели, а беглецов или привозили убитых, а кого и приводили живого, то он на всю жизнь оставался калекой.

Из режимной бригады вызволил меня начальник производственного отдела Ныроблага майор Скукан Василий Иванович. Просматривая личные дела заключенных, он узнал, что я имею специальность техника лесной отрасли. Он предложил мне работу по специальности в одном из подразделений Ныроблага, и потом до конца заключения я работал по специальности. Были два случая, когда оперуполномоченный КГБ за отказ сотрудничать с ним отстранял меня от работы по специальности и переводил в рабочие бригады. Но опять производственное руководство добивалось возвращения меня на работу по специальности.

По освобождении из заключения посетил я г. Старый Оскол, где работал до войны, а также побывал на родине в Белоруссии, но устроиться на работу по специальности оказалось невозможным. Бывшего зэка никто не брал.

В 1953 г., имея переписку с товарищем, с которым вместе отбывали срок заключения, я оказался третий раз на Урале, уже по собственной воле. Был принят на должность инженера в леспромхоз, находящийся в поселке Орел Усольского района. Через год я работал уже в должности главного инженера леспромхоза.

В 1957 году решил уходить из леспромхоза, о чем узнали в тресте «Камлесосплав» в г. Перми, а с руководством треста я был знаком, нас связывали производственные отношения. Меня пригласили на работу на должность начальника лесосплавного участка в г. Краснокамске, где я и проработал ровно 36 лет, из них 16 лет будучи на пенсии.

1998 г.

НАС ВЫСЛАЛИ НА УРАЛ

В 1930 году нас раскулачили и выслали из Белоруссии. Жили мы в своем доме до 6 марта 1930 года. А 7 марта выслали нас на Урал. Везли в товарных вагонах две недели. Привезли на станцию Менделеево, из вагонов выгрузили — были поданы лошади. На сани погрузили наши скудные пожитки, посадили стариков с детьми, а взрослые шли пешком. Ночевали в деревнях. Таким же образом то пешком, то на лошади доставили в Косинский район. В мае 1930 г. из деревень увезли в лес, в бараки, в которых были нары. На семью доставалось два метра нар, узелки — под нарами. Так лето прожили, к зиме развезли по деревням ближе к Косе.

В 1931 году еще привезли партию раскулаченных. Построили наспех дома (один дом на четыре семьи). Построили три поселка на берегу сплавной реки. Вот в эти дома нас и перевезли в 1932 году. С весны 1933 г. паек стали давать на детей и иждивенцев: 5 кг муки да иногда овсяной крупы на месяц. Люди стали умирать семьями от голода. Комендатура находилась в поселке Сосновка, и кому нужно было пойти в село Коса, то сначала следовало идти в Сосновку, взять пропуск у коменданта и идти обратно в Косу. А те, кто шел без пропуска, попадали в штрафроту, откуда не все выходили живыми.

В 1934 году приехали три вербовщика с Бумстроя Краснокамска, из всех трех поселков завербовали людей. И поплыли мы на плотках по реке Лолог до реки Коса, по Косе до реки Камы. А там нас погрузили в баржу, но до этого три дня сидели на берегу, ждали баржу у костра, а был уже ноябрь. В Березниках перегрузили нас на пароход и привезли на Бумстрой. В новом поселке для нас были построены четыре новых барака. Строили дома поселка Майский, ныне Заводской. И вот стали из барачников переезжать в дома. Но без пропуска не могли поехать в Пермь, в деревни района. Но были довольны жизнью, так как голода не было, карточная система отменена. До 1937 года жили спокойно. Строили Краснокамск.

В 1937—1938 годах начались массовые аресты. Брали в одну ночь спецпереселенцев, в другую — вольнонаемных. В Перми были переполнены тюрьмы, казармы. В 1938 году весной из Краснокамска всех спецпереселенцев развезли по лесам Пермской и Свердловской областей. Нас увезли в Свердловскую область. Там мы работали в лесу до 1948 года. После реабилитации выдали паспорта и поселок ликвидировали. Разъехались кто куда. Но в Косинском районе много осталось спецпереселенцев, которые жили по другую сторону Косы.

НЕ ДАЙ БОГ ТАКОГО НИКОМУ

Родился я в деревне Маланичи Большесосновского района Пермской области. Отца арестовали 9 марта 1933 года. Шла в то время всеобщая коллективизация. Вот и в нашей деревне было собрание по организации колхоза. Многие были против, в том числе и наш отец. В результате — арест и под конвоем — в Большую Сосновку. Нас осталось четверо детей. Больше месяца мать бегала за 20 километров узнать, что и как. Но все было бесполезно. И вот в начале мая ночью постучали в дверь. Мать обрадовалась, думала, что вернулся отец. Но в дом вошли военные люди и сказали: «Собирайтесь». Оказывается, над отцом был суд, и по решению «тройки» ОГПУ вся наша семья подлежит выселению. Так мы оказались в городе Карабаш Челябинской области. Там был построен спецпоселок для таких, как мы. И началась наша жизнь спецпереселенцев. А это значит — ежедневная отметка в комендатуре; ограничение переписки, цензура; для детей — только начальная школа. И еще ряд ограничений.

Город расположен в низине, зажатым с трех сторон горами. В центре — завод для выплавки меди и рудники по добыче руды для этого завода. Отец работал под землей рудокопом. Мать катала вагонетки с рудой. Хлеб и продукты выдавали по так называемым заборным книжкам. На каждую книжку — буханка. На нашу ораву двух буханок, конечно, было маловато. Нужен огород. Но кругом была скальная порода. Земля, на которой можно было развести огород, была занята старожилами.

В Карабаш вела узкоколейка длиной 40 км от города Кыштым, а там проходила железная дорога от Свердловска до Челябинска. Зимой ее часто заносило снегом, и жителей спецпоселка выгоняли ее чистить.

На рудниках часто случались аварии. Горняков заваливало и насмерть, многих калечило. За техникой безопасности следили плохо. Это мало кого волновало. Если не хватало рабсилы, подвозили новых, так как «желающих» в стране было много. Перед войной и в начале войны в спецпоселок подвезли большую партию из Западной Украины и Белоруссии. В то время страна расширяла свои рубежи по договору Молотова — Риббентропа. Новые спецпереселенцы были наши братья по несчастью...

Настал роковой 1944 год. В апреле была авария на руднике, и наш отец погиб. А в августе скончалась мать. Их хватило ров-

* Николай Иванович Маланичев.

но на 10 лет... И остались мы одни в чужом для нас месте. Нас раскидали по разным детским домам. Старший брат уже работал на заводе. Там было казарменное положение, так как шла война. Но вот война окончилась. Вроде для спецпереселенцев пришло время каких-то послаблений и «прощения». Но «прощать»-то было уже почти некого. Большая часть людей из спецпереселенцев нашла свой приют под Золотой горой, где хоронили нашего брата. Из всей нашей большой семьи я один пережил рубеж в 60 лет. Отца с матерью не стало, когда им было 37 лет от роду. Остальные умерли в разные годы. Кто от болезни, а кто и от голода. Особенно во время войны.

Не дай Бог такого никому.

*А. Вебер **

НА РЕКЕ ГРЕМЯЧЕЙ

На Баскую прибыли 10 декабря 1942 года уже когда стемнело. Ночь пришлось провести в вагонах. Утром разбудили, выдали хлебный пай и велели идти пешком к новостройке, мол, дорога одна, не заблудитесь. Я вышел одним из последних, зная, что дядя, Александр Иванович, приехавший вместе со мной, займет для меня место. По дороге меня догнал коновозчик, татарин Семен, который за пайку хлеба (которую я отдал без сожаления, так как имел свой запас провизии) довез меня до реки Гремячей. От нее я уже дошел сам. Насчет места я не ошибся, дядя занял для меня место, да еще и одно из лучших, мы расположились на нарах возле печки. В этот же день отправились в баню, которая располагалась на месте нынешних немецких домов. И дальше первые полгода ходили в нее раз в месяц.

Первую работу я получил — валить березы, прямо за бараками. Дальше бригаду из 25 человек, в которую вошел и я, отправили на укладку железной дороги к старой временной шахте № 62.

Кстати, интересный случай произошел на строительстве новой капитальной 62-й шахты. Однажды вода с песком, видимо, грунтовая, залила очень большое пространство штолен. Целый год ее не могли откачать, но потом все-таки уладили стихию.

Весной 43-го случился страшный голод. Зиму как-то протянули, а весной началось. Правда, еще с зимы начались болез-

* Артур Иванович Вебер (р. 1927). Воспоминания были записаны внуком Иваном Вебером, учащимся 11-го класса, в сентябре — ноябре 1999 года в городе Гремячинске.

ни: дизентерия, цинга и прочее. Весной же все это разбушевалось. Умирили в основном от дизентерии (обезвоживание). Лечить толком не могли, — не хватало медикаментов. Был построен специальный бокс у больницы, откуда живым не выходил никто. В целях борьбы с дизентерией нанимали даже специальных санитаров, которые дежурили у туалетов: многие ведь скрывали свою болезнь, не хотели попасть в страшный бокс, таких хватало и насильно волокли в больницу. Я тоже болел, но меня чудом выходил мой дядя.

Потом, ближе к лету, появились почки на деревьях, потом грибы, рябина и прочие растения, и люди прекратили болеть и умирать. В последующие годы все потихоньку наладилось.

Жили мы тогда в бараке № 2. Мой дядя Александр Иванович по приказу сверху организовал мастерскую по изготовлению деревянных чашек для столовой, но потом появился гончар и стал делать глиняную посуду из добываемой здесь же неподалеку глины. Мы стали не нужны и переквалифицированы на другие столярные работы. В первую очередь стали делать бочки, ведра из дерева, а заодно учились и другому столярному делу. Весной 43-го строили больницу, осенью — клуб и мебель для него.

Еще в 43-м из Усвы или из Губахи привезли кое-какие инструменты, и был организован «джаз» под руководством Адольфа Константиновича Ротермеля. А осенью 44-го привезли новый, купленный шахтой комплект инструментов для духового оркестра, и я стал играть в нем.

Потом была построена новая столярка, и я стал там работать.

Хорошо помню День Победы. По радио выступил диктор, и 9 мая было объявлено нерабочим днем. Мы сразу вышли с оркестром и стали играть на улице. Собрался народ, начался митинг.

В клубе стали показывать кино. Клуб стоял на месте первого немецкого дома № 127. Рядом были баня, стадион. На месте дома № 1 была контора УНШ (Управление новых шахт). Жизнь потекла по ровному руслу. В 1950 году начали строить Дворец культуры. В 53-м закончили и начали культивировать за ним парк. Тогда же строили больничный городок. Первым из нового больничного комплекса был запущен роддом.

В Гремячинске было два кирпичных завода. Сперва, так как УНШ переехало на Скальную, нашу столярку передали одному из заводов, потом оба завода были закрыты из-за низкого качества производимой продукции. Затем нас присоединили к бетонному заводу, а его, в свою очередь, — к Губахе. Специальная комиссия признавала наш столярный цех лучшим в Кизеловском угольном бассейне несколько лет подряд.

Я много занимался спортом. Ходил на лыжах. В зиму с 1949-го на 1950-й были проведены первые лыжные соревнования. Инвентаря не было, и я взял лыжи у электрика, соседа по комнате. На лыжах были мягкие крепления, бежал в сапогах, которые попросил у шахтеров. Десять километров я и еще пара человек пробежали за 56 минут. Меня заметили, и Геннадий Осетров, руководитель парткома, дал нам возможность тренироваться. Кроме того, Осетров же вел, будучи сам боксером, секцию по этому виду спорта. Я стал ходить и туда, но долго не проходил, так как часто разбивал губы, и приходилось выбирать между трубой и боксом. Я выбрал трубу. Играли у нас и в футбол, но я не увлекался из-за ревматизма, а там надо много делать резких движений ногами, и суставы болели. Зато много играл в хоккей с мячом, катался на коньках. Очень моден был тогда волейбол, и почти у каждого дома была площадка. Увлекался и бегом. Даже участвовал в первом кроссе на приз газеты «Шахтер».

Потом построил дом, и переехал туда уже с женой Вершиной Ниной Александровной. В 1953 году у нас родилась дочь Татьяна. Потом — сын Владимир и еще одна дочь — Елена.

Так до сих пор мы и живем с моей женой в старом доме на улице Мичурина.

Письма Федора Алексеевича Евсеева

Наш отец и дедушка Федор Алексеевич Евсеев был арестован 27 октября 1937 года в г. Перми. В период следствия содержался в городской тюрьме у старого кладбища. После вынесения приговора — 10 лет лишения свободы — был выслан по этапу в район Усть-Кяхты, в 177-ю лесную колонну 7-го отделения БАМлага НКВД, куда прибыл 3 февраля 1938 г. Там работал на лесоповале. В конце зимы был на грани смерти от истощения и болезней.

Зимой 1938/39 г. переведен в 7-е, а затем во 2-е отделение Южлага на скальные работы при строительстве железной дороги в Монголию. По окончании строительства переведен в Заполярье (ст. Кандалакша Алакурты, затем — ст. Пинозеро, позже — у озера Имандра). Работал на лесоповале.

Последнее письмо написано 2 февраля 1941 г.

Умер в июле 1942 г. в Бельских лагерях от крупозного воспаления легких (устное сообщение ГУЛАГа в ответ на запрос 1952 года).

Реабилитирован посмертно в 1956 г. за отсутствием состава преступления.

Семья Евсеевых

Письмо 1-е. Без даты.

Здоров, получил все: 2 простыни, 1 пару белья грязн., 1 в. руб. с запонками, 1 мыло (?), 1 навол., кепку, 2 платка (?), 1 майку, кашне. Нужно: мундштук, коричневую косовор., защ. брюки, коробку для махорки. Гимнастерку старую. Целую всех, папа.

Письмо 2-е. 16 августа 1938 г.

Мама, мамочка, Котик, Лёка, мои дорогие, хорошие, такие далекие, но еще более милые!

Вот уже который месяц продолжается кошмар. За что и почему, я так же мало знаю, как и вы. Верь, что даже помыслом я не виноват в том, в чем меня обвиняют, во всей этой дикой бессмыслице. Впереди есть луч надежды на встречу, если я физически выдержу.

Но пережитого не забыть, прошедшего из памяти не вычеркнуть. Посылку вашу я получил как нельзя более вовремя — 9 июля. Судя по цифре на рисунке Котика на коробке, она послана около 20 июня. Вес 21 кг 400. Ни письма, ни описания того, что находится в посылке, я не получил. Не получал также и перевода, о котором тебя просил. В посылке получил: 1 бут. растит., колбасы 3 палки... одну сгущ., молока 1 бут., толокно..., карт. мука, сушен. мясо, сах..., 1 конверт и 20 марок, ириски и проч... Большое спасибо тебе, Леночка... тебе было трудно сэкономить на такую посылку, но она меня спасла.

Дело в том, что на колонну я прибыл 3 февраля и половину марта работал, а потом подкралась цинга и декомпенсированный миокардит, и я потерял работоспособность. Лежал в лазарете с 3 марта по 7 мая. Май и июнь работал, а в конце история повторилась, и я как крайне истощенный и больной снова 9 июля отправляюсь на лечение и получаю вашу посылку. Я был очень слаб писать об этом раньше, да адрес не определился. При крайнем истощении жиры и противогинготные ставят с помощью врачей меня на ноги. Я тебя просил посылать посылки, хотя и небольшие, но чаще (1 раз в месяц), а ты больно размахнулась. В частности, ирис, молоко, какао — это роскошь, колбаса очень дорогого сорта, много тяжелой тары. Ведь тебе материально трудно. Я тебя, Леночка, прошу, не отрывай у детей и в следующей посылке я хотел бы найти в возможном для тебя количестве сало, масло, немного сыру, подсушенную для дома подкопченную дешевую колбасу, чеснок, чеснок, чеснок, лук, сахар, хлебные (пшеничные) сухари, махорку, побольше курит. бумаги ... черные и суровые, баночку лимонных (?) корок. Жду от тебя перевода ... сразу и рублей по 10 ежемесячно ... Продавай модные вещи, если нет возможности извернуться ... в случае они (вещи) будут

вообще ... я возбуждаю ходатайство о возвращении отобранных при обыске ценностей. Я очень бы хотел, чтобы ты сообщила маме, Вячеславу, Галине, может, они тебе помогли бы и сами послали бы кое-что. Помни, у нас еще ценят человека по экономическим возможностям, и Фомка — Фома, коли денег нема. Здесь это особенно ярко бросается в глаза. Нужда в деньгах сказывается в изменчивости цен: кило хлеба от 1,50 доходит до 30 копеек (это между заключенных).

Деньги шли телеграфом, как я тебя просил (первый раз). Я работал в лесу на лесоповале, на лошади по вывозке, по укладке леса. Работа тяжелая и для моего здоровья непосильная. Сейчас я поправляюсь, сердце работает лучше, опухоль и отеки проходят, остается слабость, головокружение и головные боли, да ноги из-за цинги плохо слушаются и работают.

Пиши про себя: работаешь, как устроилась с детьми, как они учатся, как себя ведут. Как расчеты мои со школой, как использовали овощи и картошку, какое к тебе отношение окружающих, кто из старых работает в ф. школе и о себе, и о детях подробно ... каникулы. Где думаешь работать. Привет Мар. Мих. и Илье Григор. Пиши чаще. Очень ... не получать писем. Мне писать ... ведь «дома», откуда идут письма... Привет родным. Целую крепко Вас.

Кате и Лёке спасибо за карточки, картинки на коробке, ириски и платочки. Только почему у Лёки поцарапан нос? Он шалит? Да платочки мне девать некуда: они чистые, а я и окружающие наоборот. Пишу плохо, потому что рука болит и забинтована.

Адрес: Б.-М. АССР, п/о Усть-Кяхта, 7-е отделение БАМлага, 177-я лесная колонна, Евсееву.

Все, что посылаешь, шли в мешочках, а не кульках и коробках.

Передай Нат. Аграф., что Осип Ив. лежит со мной в одной палате, болел долго, теперь выздоравливает, сам писать не может и просит посылать ему посылки и письма, хотя бы ответа и не было. Посылки аналогичного с твоим содержанием, но добавить ветчину и сыр посылать головками, иначе он гниет. Денег с кошелечком можно рублей 30 положить в посылку. Телеграфный перевод он по болезни не получил и ... сейчас у обоих ни копейки... а писем он на... два пустые, писанные чужой рукой, не стоят внимания ... возможность, то посылки можно слать каждый месяц и чаще, одежды ему не надо. Пусть напишет, как она устроилась, служит или живет дом. хозяйством и что от него осталось. Думаю, что вы сходите к ней в выходной и переговорите. Дети там порезвятся и проч. Пишите часто и подробно.

Переписала ли ты на себя квартиру? Целую крепко и жду. Как живет Зина? Есть ли вести от Славы?

Напиши про маму, как ее здоровье? Где работает Валентина? Галина? Деньги можно в каком-нибудь кошелочке рублей 20—30 вложить в посылку.

Письмо 3-е. 4 сентября 1938 г.

С большой радостью спешу сообщить, что 20 августа я получил 30 рублей, 27 августа — письмо, писанное 4—25 марта и наконец 29 августа — посылку ценой 50 рублей. 25 р., о которых вы пишете, что посланы телеграфом 15.03, я так и не получил. Большое спасибо и за деньги, и за посылку, и особенно за письмо. Вы правы, что неизвестность — одно из косвенных и очень жестоких наказаний. У нас почта работает так, что можно считать, что эта сторона неизвестности хорошо известна и учтена. Последние 20 км письмо шло с 23.03. Больше от вас ни строчки, хотя вы, наверное, и пишете. Но спасибо и за то, что хоть мартовское письмо дошло. Я рад, что Катя и Алеша хорошо учатся, что они слушают маму и ей помогают. Я знал, что вы хорошие — я за это вас еще больше люблю. Очень хотел бы знать, как окончили учебный год, как провели лето. Очень сожалею, что не могу дать им того внимания и ласки, которых они заслуживают. Что ждет их впереди? Поэтому хотелось бы, чтобы их детство было наиболее ярким и красочным. Мне жаль, что из скромных ваших средств приходится отрывать еще и для меня. Думаю, что это будет недолго, иначе провались все на свете. И те красивые слова, которые измозолили всем уши. В посылке в другой раз, когда вы сумеете послать, хоть немного, но хотелось бы найти сала свиного, масла, немного хотя бы дешевой колбасы, чеснок, чеснок, чеснок, лук, немного сахару, махорку и книжечек 50 кур. бумаги, писчей бумаги, толокно не надо, компот и сгущенное молоко — это уже роскошь. Пока у меня есть запас карт. муки — ее тоже не надо. Хорошо, если будет немного сухарей и дешевых кренделей.

В посылку надо положить опись содержимого, письмо и даже можно немного денег. Письмо так дойдет вернее. Из одежды и белья мне ничего не надо. У меня все раскрыли и просто разграбили. И не я один решил — голыми так голыми, босой так босой — мне не стыдно. Так что ничего из одежды не надо.

Письмо 4-е. 4 февраля 1939 г.

Далекие, но милые и родные!

По не зависящим от меня причинам я не мог написать вам раньше, получился большой перерыв. За все время я получил от вас два письма: одно, писанное 15.03.38 г., получил 29.8, а другое, писанное 18.09.38 г., — на днях. Больше ни строчки. Но я рад этому. Особенно дорого, но и тяжело для меня пос-

леднее письмо. Тяжело для меня потому, что тяжело для вас, а я бессильный помочь. Рад, что дочь растет здоровой, рад, что вы здоровы, что дети учатся хорошо, что помогла школа, эти услуги не забываются, а черные дни бывают у каждого, и в наше время ничто не гарантирует от этого каждого. Я очень хотел бы получать от вас весточку, получили ли вы от меня доверенность на право получения 500 руб. и 2080 руб. облигаций, отобранных при обыске. Я ее послал 1 сентября 1938 г. Если не получили, то скорее пишите открытку.

За это время я получил от вас 4 посылки: первую — 8 июля, вторую — 22 августа, третью — 18 октября и последнюю — 29 ноября. Из них только в одной была опись, а во второй — 20 руб. денег, больше ни описи, ни денег в посылках не было. Получил от вас 30 рублей перевод в августе, телеграфных переводов не получал. В этом отношении лучше перевод почтовый. Особенно для меня были ценны посылки первая и вторая, когда я был на один шаг от смерти. Они помогли мне встать на ноги.

Теперь я здоров (относительно). У меня развилась очень сильная одышка. Но я снова приобрел тело, которое в июле отсутствовало,— была кожа, натянутая на скелет. И сильно подводит нога: быстро и много ходить не могу и при движении особенно сказывается одышка. Тяжело сказываются климат и отсутствие витаминов и жиров в питании. Но все-таки живем теперь лучше, чем в начале 1938 года. Между прочим, 3 февраля ровно год моего прибытия на колонну. Мало прожито, но как много пережито... Я два раза почти умирал, но все-таки живу, не зная для чего: десять лет — срок для меня почти безнадежный. А за что — я не знаю. Если бы знал, было бы легче. Я не знаю, как восприняли мой арест дети, как ты им объяснила мое отсутствие. Я хотел бы, чтобы вы все мне поверили, что ни делом, ни помыслом не виноват в той чепухе, которую городил следователь. Врагом народа никогда не был и не буду, хотя вся история со мной есть ничто иное, как попытка сделать из меня такового. Я работал и жил по-честному, таким я или выйду отсюда, или погибну здесь. Я знаю, как вам трудно живется, и от этого мне очень тяжело. Я не буду просить от вас ничего. Но т. к. посылки идут примерно 20 дней, то вы что-нибудь дешевенькое посылайте: я буду знать, что вы живы. На письма я не надеюсь. Противоцинготные, животные жиры, сахар и прочее, но только для вас материально доступное. В посылке — опись того, что вкладываете, краткие сведения о себе и здоровье.

Поздравляю Алешу и Катю, хоть задним числом, со днем рождения. Будьте здоровы, растите честными людьми, учитесь прилежно: то, что вы знаете, бессильны отнять тюрьма

и ссылка, это сила, которую вы будете иметь и которую никто у вас не отберет. Целую всех и маленькую Верочку. Мой адрес: Бурят.-Монг. АССР, п/о Усть-Кяхта, 7-е отделение Южлага НКВД, 224-я колонна, Евсееву Ф. А. Пишите про все: что с мамой, почему уехала Валя, где соседи и А. М. Про О. Ив. получил в октябре сведения, что он в тяжелом состоянии находится в лазарете. Его посылку разворовали, и он быстро ослабел.

Письмо 5-е. 6 июля 1939 г.

Милые, родные!

Одно письмо я написал 1 июня, в выходной день. Теперь, в следующий выходной день, пишу снова. Чаще писать некогда: едва остается свободного времени на сон. Я относительно здоров. В июне, в конце, десять дней снова лежал в лазарете, т. к. от ревматизма распухли руки и ноги, свело сухожилия, так что я одеться сам не мог. Выписался 28 июня, а 4 июля я опять не мог работать: свело ногу. Выходит так, что я вылечиться в здешних условиях не могу и к чему это приведет, не знаю. Поддерживает надежда увидеться с вами. Помогает в трудную минуту кое-кто из администрации. А вообще ослабевший здесь будет затоптан здоровым, или просто пропадет от недоедания. Работа все та же — земляная и скальная: кирка, лопата, лом, тачка. Посылки вашей, посланной 6 апреля, я все еще не получил. Верно ли, что некоторые, взятые в 1937 году, пришли домой? У нас об этом говорят много. Вообще жизнь наша здесь настолько примитивна, элементарна, что я решительно ничего не знаю про то, что делается на воле, и даже не могу представить себя в прежней обстановке. Работа и сон — на остальное нас уже не хватает. Очень хотел бы знать, как дети закончили учебный год, как у тебя с 6-й группой по матем. прошли испытания, как твоя основная группа закончила уч. год, как здоровье вас всех, как чувствует, воспринимает мир новый для меня человек с таким хорошим именем Вера? Как думаете провести лето? Очень хотел бы, чтобы вы поставили перед собой самую важную задачу — отдохнуть. Не бери дополнительной работы на лето, лучше поскромнее прожить, но отдохнуть. Может быть, я это советую, глядя со своей колокольни, — отдохнуть, заснуть, забыть все виденное, слышанное, пережитое за это время — умереть, забыть этот Дантов Ад. А Лешу без себя на реку не пускай. Он ведь по-прежнему все такой же увлекающийся, импульсивный. Катёнок, наверное, все занята ботаникой. Я помог бы ей, но нет возможности: здесь очень много лилейных исключительной красоты, что очень резко выделяет их в этой бедной выжженной горной стране. Но мне не до этого. Пусть простит меня за это Катя. Я думаю, что они за это время выросли, измени-

лись, и я, если суждено вернуться, приду к людям, которых не смогу сразу понимать. Займись здоровьем Алеши — меньше бегать, разнообразнее питание, посоветуйся с врачами. Обо мне сильно не беспокойся, у себя не отрывайте: я понял, от судьбы не уйдешь: никакие законы не служат защитой человеческой мелочи, которая служит разменной монетой в крупной игре больших людей. Если вернусь, это будет скоро, через большой срок моего возраста отсюда не возвращаются.

Об О. И. имею сведения, что он тяжело болен, в ноябре-декабре уже не мог подыматься с постели, а сейчас в лазарете слышал, что с ним случилось то, что люди не поправляют... Интересно, когда от него было последнее письмо? Это передал Вас. Ив. Журавлев, К. Деревня, 2, Ключевая, № 24, с которым я виделся в лазарете. Узнал, что на соседней колонне нач. Гринкевич, б. завхоз ТФК. Видишь, как я скверно пишу, рука отвыкла и пальцы плохо гнутся от ревматизма. Писем после написанного 6 апреля от вас не получил. Хотя для меня это был бы большой праздник... Пишите открытки: может, дойдут скорее. Целую крепко всех. Желаю здоровья и доброго отдыха.

Письмо 6-е. 7 сентября 1939 г.

Ваши письма от 6 апреля и 12 июня получил. Посылки тоже получил: обе 20 августа. Напишите, что в них было положено. Описи в обеих не было. В посылке от 6 апреля много ваты, сухари, сахар и промасленная газетная бумага. В посылке от 12 июня масло и варенье, плохо закупорено. И наполовину вытекло. В общем, все в ... сильно подозрительном виде. Посылок больше не посылай. Когда можно будет, напишу. Я уже писал, что посылку надо зашивать самым тщательным образом. Не знаю, получила ли ты мои письма. Последнее я писал в свой предыдущий выходной день, т. е. 6 июля.

Другого пока не дождался и получил возможность тебе написать сегодня, потому что освобожден на день от работы фельдшером: у меня лихорадка от солнечного перегрева. И ногу ударил кувалдой, разбивая камень. Я окреп, поправился и с точкой справляюсь легко, хотя она и нелегкая. Не знаю почему, но у меня живет надежда увидеться еще с вами. Здесь говорят, что многие уже дома.

Относительно переводов по телеграфу от марта и июня 1938 года пиши заявление на почту и в Улан-Удэ прокурору с просьбой расследовать причины их неполучения мной. Денег больше в посылки не вкладывай, их не выдадут. Лучше почтовым переводом.

Я рад, что все вы здоровы, что Алеша и Катя хорошо учились. Я их поздравляю с похвальными грамотами и сильно буду

надеяться, что и в последующем году оправдают звание отличников. Твердо пусть дети запомнят, что знание всесильно, его не в состоянии отобрать никто: ни высылка, ни пытка, ни каторга. Я убедился, что самые отчаянные головорезы отступали, теряясь перед знаниями. И мелкая сошка из власть имущих теряется, злится на собственное бессилие. Поздравляю с началом нового учебного года, желаю... здоровья, бодрости, успехов.

Пишите, как прошли экзамены в 6 классе по математике, как провели лето, как цветник, кто за ним ухаживает. Как огород, как растут овощи, как живет и растет Верочка. Буду ждать письма.

Письмо 7-е. 17 ноября 1939 г.

Дорогие, родные!

После 6 июля так другого выходного не дождался, когда можно было бы написать более подробное письмо. В праздник 7—8 тоже не смог: у меня во время предпраздничного обыска была отобрана бумага и конверт, присланные вами. У нас бумаги ни за какие деньги не найдешь. Добыл бумагу и пишу. Письмо от 30 июля я получил 2 ноября, открытку от 26 июля — 15 ноября. Денег и посылки, посланных, как я узнал из письма, я не получил. Предыдущие посылки я все получил, причем посланные 6 апреля и 12 июня были, очевидно, растащены: ни описи, ни денег в них не оказалось. В апрельской вложены вата, промасленные газеты. В июньской сохранилось в двух банках немного масла, в одной — варенье, сахар, хлеб, сухари, лимонные корки и мука. Я уже писал, чтобы ты каждую посылку тщательно обшивала. Не так удобно расхищать. Ты пишешь, что посылать. Сахару у нас норма 200 граммов в месяц, и того не получали 2 месяца, жиров 3 грамма на человека в день. Но их не видим. А потому: жиры всех видов, лук, чеснок, сахар, махорка, курительная и для писем бумага. Кстати, сухари, но пересылка их сильно удорожает. Лучше, если 15—25 р. простым почтовым переводом. На них можно прикупать хлеб. Телеграфом не посылай, я ни одного твоего тел. перевода не получил. Напиши заявление на почту, пусть наведут справки, и их ответ пошли с заказным мне. Я попробую здесь разыскать, хотя надежды мало: таков порядок, такие нравы... Посылки посылай недорогие, тщательно обшитые, при условии, что это не отразится на питании детей. Деньги — только почтовым переводом, чаще, но небольшими суммами. Из одежды не нужно ничего. Я последние месяцы работал «по-стахановски», и меня одели сносно к зиме. В посылку положи какую-нибудь тряпочку, на полотенце и что-нибудь на портянки. Больше ничего не надо. Что не на мне, то будет украдено. Я здоров, только миокардит в последние полмесяца здорово мучил, но теперь проходит. Работа:

тачка, кувалда, лом, кирка, лопата и скала — камень, камень без конца. Тяжело: не сгибаются кисти рук, трещат кости,— 14 часов летом, теперь от темна до темна без выходных, последний — 6 июля. Беспробудный сон, как кошмар, и снова встречаемое проклятиями утро. Ни книги, ни газеты: матерщина, воющая, дух спаирующая, цинизм невообразимый. Вот все, что я имею. Ты пишешь о свидании: брось эту мысль. Человеку, не бывшему в таких условиях, знакомство с ними будет равносильно убийству. Я, если бы все только от меня зависело,— и то я на свидание не согласился бы, жалея тебя и детей.

Ваше незнание этих условий сохранит хоть небольшой запас жизненной радости и бодрости. Все, что я читал и знал раньше об этом, обман и одурь. И все это ни за что. Уже третий год... Явились ли домой соседи по квартире? Что про это слышно на воле?

Я рад, что Катя и Алеша хорошо учатся, что ты в школе занимаешь положение, с которым считаются. Я знаю, что тебе смертельно тяжело, но я бессилён что-либо сделать, бессилён часто даже мыслить — все силы отдаешь работе. Иначе умрешь от голода или, как медики вежливо говорят, «крайней степени истощения». Рад, что Верунька растет боевой — это хорошо. Пиши чаще открытки, они как будто идут скорее. Жду каждой строчки — ведь без меня уже вырастают дети, они меня узнавать не будут... Не волнуйся, не нервничай, когда нет писем. Их или написать не на чем, или они не доходят. Ведь я писал каждый месяц хоть раз. Сейчас я на 238-й колонне. Почти в конце дороги. Снега нет, но Селенга почти замерзла. Идет суровая ветреная азиатская зима. Желаю счастья в труде и учебе.

Целую крепко всех.

Письмо 8-е. 1 декабря 1939 г.

Дорогие, милые!

Письмо ваше от 6 октября получил в конце ноября, после письма и открытки, посланных в конце июня с. г. За них спасибо. Я вам пишу сравнительно часто, но письма не доходят. Таков стиль и организация здесь. После 6 июля сегодня, 1 декабря, первый выходной, если не считать 7—8 ноября праздничных, хотя ты пишешь: не верится, я даже не представляю, что это так. На воле вообще многому не верится, но здесь кулисы жизни, а из-за кулис многое кажется и нелепым, и смешным. И вера в прежние кумиры исчезает, как дым. Здесь жизнь так обнажена, зверски элементарна и бессмысленна, что человеку на воле этого не понять: он привык гнаться за мыльным пузырем. Вашу посылку и деньги, о которых ты пишешь в июльском письме, я до сих пор не получил. Я даже думаю, что посылать

больше не следует, — это, пожалуй, неразумно, ввиду кризиса у вас. Если будет возможность, то посылай изредка 10—20 рублей простым почтовым переводом. А нет возможности, то и этого не делай. Все ваши посылки за все время я получил полностью. Об этом писал в нескольких письмах. Раскупорены были только апрельская и июльская, что там было, я уже написал. Из теплых вещей ничего не нужно. Пошли как-нибудь, когда — безразлично, что-нибудь на портянки и что-нибудь вместо полотенца, больше ничего не нужно: что не на мне, то будет украдено, а рукавицы нужны 1 пара на день: ведь у нас работа с камнем, а потому посылать их бесполезно. Здесь все упрощено, и наша жизнь особая, по принципу: нет, так и не нужно, не мне стыдно, и т. д. Здоров, работаю, рад, что вы все здоровы, что дела у вас, учеба идут хорошо. Рад, что вы к зиме имеете дрова. Только до слез обидно, что Кот стоит в очередях. Береги детей, и, в частности, в крайнем случае, посылай в очередь. Есть ли письма от О. Ив.? Если нет, то, вероятно, это то, на что я намекал...

Пишите чаще, не смущайтесь, что я молчу, посылайте конверт и бумагу для ответа. Я рад вашему письму. Пока ничего мне не посылайте.

Письмо 9-е. 18 января 1940 г.

Дорогие, родные!

Выходного после 1 янв. не было. Но, к счастью, у нас четвертый день стоит 48° мороза, и нас на работу выгоняют только после 13—14 часов. Так что я пользуюсь случаем и пишу. От вас я ничего не получил после письма, писанного 6.10.39 г.— ни перевода, ни посылки, которую вы обещали в письме (от 30 июля). Может быть, вы не собрались это сделать, но и то хорошо, потому что ходят упорные разговоры о том, что ввиду окончания постройки ж. д. от Улан-Удэ до монгольск. границы нас пошлют на новую работу. Куда — неизвестно, этап отправляется в конце января. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что можно отдохнуть. Перестанут ныть кости, болеть сухожилия и мускулы. Прекратятся ночные кошмары: камень ползет по склону, по откосу щебень сыплется, ты прыгаешь, отбрасываешь его, отталкиваешь, а он засыпает тебя, бьет по ногам, рукам, грозит тебя задушить. Наконец в изнеможении от этой борьбы с камнем просыпаешься к суровой действительности.

Плохо в этапе то, что уже раз пережито и никогда не забудется. Это промерзлые вагоны, теснота, грязь, холод, голод, палатки на снегу, примерзшая к палатке шапка и волосы к ней. Смертельная борьба за кусочек хлеба и глоток воды. Это те условия быта, которые заставляли меня в 39-м году помирать два

раза, но в трудную минуту июля меня, полуживого, ты спасла через первые две посылки и июньский 30 руб. перевод. Об этом пишу прямо, потому что это уже пережито. То же ждет впереди. Но я здоров, окреп, привык и к грязи, и ко сну на голых досках, на которые валишься, в чем одет, от усталости. Ведь у нас постельных принадлежностей нет, взятые из дому раскрадены. В помещении, т. е. в бараке типа сарая для сена, холодно, и все мы в одинаковом положении. Я привык и к лагерным нравам, и к морали, а каковы они, ты можешь видеть из этого, что здесь все должности заняты т. наз. бытовиками, т. е. ворами, жуликами, мошенниками и прочей шушерой, контроля никакого и всюду господствует «блатарь», т. е. отпетая шпана, смиренный здесь затеряется, опускается, «доходит», т. е. погибает. Но все хорошо, что прошло, а будущее — кто его знает. Нас приучают смотреть не дальше сегодняшнего дня, так что мы постепенно доходим до понимания дикаря: думать о пище, когда голоден.

Так что ни денег, ни посылок не посылай, пока я об этом не напишу. Отсутствием писем не смущайся: в дороге их писать невозможно. О посланных тобой переводах по телеграфу пиши заявление на почту и требуй возвращения. Если получишь ответ, то его заказным перешли мне по новому адресу, который я сообщу. Работа все та же: камень, лом, кувалда и пр. Как здоровье твое, детей, как идут дела учебные? Как обстоят вопросы питания и одежды? Вообще — обо всем подробно. На месте ли Илья. Гр. и А. М.? Почему ты о них мне ничего упорно не пишешь? На них у меня кое-какие есть расчеты. Что об О. Ив.?

Пиши о детях. Я во сне вас часто вижу, особенно Алешу. Хотелось бы знать, здоровы ли вы, все ли у вас благополучно. Наша жизнь так глуха, сера, неприглядна, однообразна, что и писать нечего: сон, работа, еда, т. е. сечка или овсянка без конца и такого питательного свойства, что котелок, который моется холодной водой, проржавел. Жиров у нас нет совершенно. Если попадет мясо, то это легкое, т. наз. сбой. Другие продукты бывают редко. Сахар 200 г в месяц, мы не получали уже за два месяца. Коптилка мигает, а надо идти на улицу, в мороз мыться: у нас нет ни умывальника, ни ведра, чтобы это сделать в бараке.

До свидания, крепко целую всех.

Привет всем, кто верит, что я не преступник.

*Письмо 10-е. (С дороги, на листах курительной бумаги.)
7/п из Омска*

Мама!

Нас везут на запад, куда — не знаю. В Перми будем 12—15 февраля. Сделай передачу: хлеба булки 4, вообще что-либо

из хлебных изделий, мясных и жировых продуктов, рыбы кеты,— в зависимости от того, что легче доставать. Крупы манки. Самое первое — хлеба или сухарей. Свидания не дадут, но передачу примут. Для этого через служащих Перми II узнай, когда будет эшелон заключенных. Добивайся встречи с начальником эшелона или дежурным по эшелону. Они разрешат передачу и возьмут то, что принесешь. Договорись с кем-либо на станции, чтобы о приходе эшелона сообщили по телефону. Стоять будем полсуток, а может, и больше. Время прихода и отхода — секрет, и сразу не скажут.

За многим не гонись, нужда прежде всего в хлебе. Черкни записку — опись и здоровье. Адрес: эшелон заключенных, 238-я колонна, бригада Солодова. Я здоров, но условия этапа все-таки не шутка. Как учатся дети, как их здоровье? Целую всех вас. Папка.

Письмо 11-е. 6 октября 1940 г.

Мои дорогие!

Писанное 6 октября 1939 г. я получил, это последнее письмо, и вот уже год я не знаю о вас ничего. Последнее письмо я писал 19 января из Монголии, и если вы его получили, то вы хоть примерно знаете, что со мной. В пути я бросал кое-как сделанные письма. В частности, из Омска вам и Вячеславу. 13 фев. я 14 часов ждал вас на Перми II. Но или письмо не дошло, или поезд стоял за депо и вы не могли его разыскать, так как о нас, как о чумных, избегают говорить. Представь мое состояние. Я был бы очень рад, если бы вы совсем моих писем с дороги не получили. Для вас было бы меньше беспокойства и огорчений. 3 марта 1940 г. мы высадились в Заполярье, и начались угарные дни исключительной по напряженности работы. Письма не ходили, да и писать их было негде, не на чем и некогда. Теперь пишу, хоть без надежды на ответ. Я относительно здоров. Весной, апрель и май, я перенес жестокую малярию. Температура 41°. Я написал было прощальное письмо, но, как видите, вы его не получили, а я не послал. Думаю, что это письмо будет лучше того. Чувствую себя сносно, работаю не ниже середняка, часто лучше. Работа тяжелая, одышка, ревматизм дают себя знать все сильнее. Но я не сдаюсь: ведь интересно, чем кончится эта свистопляска разнузданных диких инстинктов. Старость ли, или условия, но делают из меня философа типа стоиков. Отрекаясь от личных чувств и желаний, видишь все чрезвычайно отчетливо. Игра человеческих страстей под гром трескучих фраз кажется жалкой и смешной. Можно было бы «осчастливить» потомство чем-нибудь вроде «Записок из Мертвого дома», но, к счастью этого потомства, писать и нечем, и не на чем. В марте обе-

щали очень много, не знаю, что выполнят: пока работаю, смотрю и жду.

Пишите: меня интересует, как ваше здоровье, как окончили учебный год, как провели лето, как начали новый учебный год. Как успехи у тебя, у Кати и Алеши? Как растет Верочка? Как у вас материальное положение? О ценах у нас здесь, среди скал и болот, ходят дикие речи. Напиши цены госторговли на предметы первой необходимости.

Пиши чаще о вашем житье-бытье. Я не рискую получить ответ скоро, но, может, хоть что-нибудь дойдет. Буду очень рад получить хоть небольшую весточку.

Адрес: Мурманская область, ст. Кандалакша, Алакурти, п/я 130/2.

Целую крепко всех.

P. S. Напишите и скоро письма не ждите. Едем на этап, по слухам, на Кавказ. Постараюсь писать с дороги...

Целую, мои милые, всех.

Письмо 12-е. 01.11.40 г.

Милые мама, Катя, Алеша и Вера!

От вас я не имею вестей с 06.10.39 г. Я хоть с дороги пытался вам писать в январе и феврале 40-го года. Я думаю, что вы хотя бы одно из писем получили и спокойны. Я в них обещал, что долго писать не смогу, что если со мной что случится, то об этом напишут мои друзья. По пути из Монголии в Заполярье мы в Перми простояли полсуток, но, к великому моему горю, вы моего письма или не получили, или вас не пустили. Я был бы очень рад, если бы вы его не получали, и, значит, не беспокоились бы. Работа здесь та же, как я писал. Работал тяжело, а иначе прожить нельзя. Природа здесь та, что называется лесотундрой: камень, болото, мох и корявый лес. Сырость везде без конца: 1,2—1,5 метра снегу, тает в половине июня, падает с октября. Я теперь здоров, тяжело болел малярией, ревматизм, сердце дают себя знать. Цинга караулит на каждом шагу. Надежда была вырваться из этой пустыни, но не оправдалась: окончил одну стройку, перебросили на другую.

Я очень хочу знать ваше здоровье, особенно Кати, ваши успехи в учебе, конец прошлого и начало нового учебного года, материальные условия, положение на службе. Обо всем пишите подробно. Пусть Катя и Алеша напишут самостоятельные письма! Сколько, мама, получаешь, какие цены и что можно достать на рынке? У меня нужда в луке, чесноке, пришли их во что бы то ни стало. В аптеках через Фридм. или врача достань витамин С, акрихин и плазмоцид с расчетом прохождения полного курса лечения против малярии. Нужны письменная бумага, конверты. Табак — хоть что: махорка, самосад, папиросы.

Здесь пачка махорки — 10—18 рублей. Ты поймешь, что это единственное средство побаловаться в наших условиях. Паек тот же, если не хуже того, о котором писал. Значит, остальное по возможности сообрази сама (жиры).

Письмо 13-е. (Без даты и начала)

Мама, напиши хоть одно письмо подробно о своей жизни и работе, о бытовых условиях, о питании, о том, как провели лето. Письмо от вас от 03.10.40 г., о котором упоминают дети, я не получил.

Целую крепко всех.

На обороте:

Почему нашли такого скверного фотографа? Ведь я Катю и Алешу на карточке не узнал. Ему быть сапожником, а не фотографом. За карточку спасибо. Почему на ней нет мамы?

До свидания, родные.

Ваш папка. Жду весточки.

Письмо 14-е. 22 декабря 1940 г.

Дорогие, милые, родные!

Писал вам два раза из Заполярья, но ответа до сих пор не получил, хотя письма сюда идут лучше и быстрее, чем в Монголию. Живы ли вы? Здоровы ли? Ведь последняя весточка от вас была 06.10.39 г. После того писал несколько раз, но адрес не указал, так как я жил, что называется, по-походному. Теперь пишу с третьей стройки. Мой новый адрес: Мурманская обл., ст. Пинозеро, п/я 120.

Мне очень интересно было бы узнать, живы ли вы все и здоровы? Как складывается ваша жизнь теперь? Как ваши материальные обстоятельства? Ведь с доли до нас доходят слухи о дикой дороговизне, о карточках, об отсутствии сахара и вообще сладкого и другие непонятные вещи. Поэтому я хотел бы знать, как вы живете. Как здоровье, особенно Котенка, как она слышит, как учатся она и Алеша? По-прежнему ли они отличники? Или они обманули меня, старика,— ведь они обещали учиться только на «отлично»? Много ли шалит Алеша и слушает и помогает ли он своей маме? Ведь он может от товарищей научиться плохому, если не будет слушать маму. Как растет Вера? (Вера — во что, мама?) К сожалению, верить не во что. Все кумиры разбиты, и отсюда отчетливо виден весь обиход жизни, ее кулисы с пылью, грязью, окурками, обрывками бумаги на полу и паутиной в углах. Пиши, как у тебя прошел учебный год, как провели лето, как начали новый учебный год. Где работаешь, и основное — здоровье и самочувствие. Держат ли нервы окружающую свистопляску? Нер-

вы — главное: сдадут — расшибешься в бешеном беге жизни. Мама, Катя, Алеша! Пишите чаще, пишите много и подробно про все. Ведь тупеешь от бесконечной работы. Мой день — работа, еда и сон. Ни книги, ни газеты, ни звука о воле, жизни. Пишите, милые, обо всем, даже мелком, незначительном. Буду очень рад всякой вести.

Мы живем в Заполярье, и если в ноябре видели солнышко полчаса-час в сутки, то в декабре его совсем не видели. Утренняя заря сливается с вечерней, краснеет южный небосклон, один-два часа сумерки — и опять бесконечная ночь, под тихую, величественную немую музыку северного сияния.

Я здоров, работаю крепко — ведь без этого здесь умрешь с голоду. Кругом безлюдная тайга, скалы и болота, должен быть сыт тем куском сегодня, что заработал вчера. Из Монголии я писал подробно о работе и рационе. Здесь то же, но похуже. В Монголии я зарабатывал 50—60 рублей, а здесь — 1—4 рубля в месяц. Но пока живу, очень было бы хорошо получить посылку: чеснок, лук, табак — махорку, дешевые папиросы, коробок 5 папирос хороших, акрихин и плазмоцид противомаларийный для прохождения полного курса лечения от малярии, противоцинготный витамин (нужное выпиши через знакомого врача) в каком-нибудь концентрате. Остальное — второстепенное для меня, так как я не знаю, как вы материально живете. Но у меня нужда та же, что и в Монголии, откуда я писал вам подробно о своих нуждах. Я боюсь, что вы сами голодаете, и ни в коем случае не допускаю, чтобы ты оторвала что-либо у детей для меня. Писчая бумага, курительная бумага, газетная здесь на вес золота, а за махорку мы платили 15—18 рублей за восьмушку. Если нет в продаже махорки, то пришли хоть самосаду. Пусть купит кто-либо на знакомых курящих. Я сейчас, накануне весны (июнь), боюсь вспышки ревматизма, возврата малярии. Последнее для меня особенно опасно — слабо сердце. Пишите в эту холодную, безлюдную пустыню — каждое слово для меня очень дорого. Очень, очень жду. Целую крепко всех.

Ваш папка.

Письмо 15-е. 2 февраля 1941 г.

Мои милые, родные!

Ваше письмо от 17.12.40 г. (39?) получил 17 января. Это прошло больше года, как я не имел от вас весточки. Я боялся получить от вас какие-либо неприятные вести и очень рад, что вы все здоровы, работаете, учитесь. Это для меня самое главное. Я очень рад, что Алеша и Катя учатся хорошо. Но очень жаль, что вы не упоминаете, как слух у Кати, улучшился или по-прежнему Кате трудно слышать обычную разговорную речь. По-

чему вы, ребяташки, не пишете, что читаете? Ведь кроме уроков нужно читать книги, чтобы облегчить себе уроки в будущем. Теперь для вас особенно важно читать книги по географии, истории, зоологии, ботанике. Подойдет другое время — нужны будут и другие книги. Читайте, ребята, больше — лишь то, что вы знаете, не сможет отобрать ни один деспотизм мира. Знание — самое дорогое для нас и самое страшное для произвола дело. Вы еще не пишете, ребята, как помогаете маме, слушаетесь ли маму? Если Алеша маму не слушает, то пусть его козел Бяшка бодает каждый день.

24.01.41 г. я получил от вас посылку. В посылке я получил опись, и все согласно описи выдали полностью. Пишу письмо на вашей бумаге, у нас бумаги писчей и курительной очень трудно достать. На конверты и письма к вам я использовал бумагу изпод аммонала, которым взрывают скалы. Газеты из посылок курю и сейчас. Почему не прислали акрихина и плазмоцида от малярии? Идет весна, и она для меня — самое страшное время. А весна у нас будет в конце июня. Как начинается таяние снега в мае, так начинается и малярийная пора.

Ваша посылка мне сказала многое о вашей жизни. О чем я просил вас писать, но письма от мамы до сих пор не получил. Видно, что живете вы неважно. Слухи, которые доходят до нас о жизни на воле, имеют, очевидно, под собой почву. Иначе объяснить содержимое и дозировку в посылке нельзя. Мама обещает в письме другую послать. Я очень бы просил не отрывать у себя того, что необходимо и важно для детей. Я привык ко всему. Сахару мы не видели год. Чаю тоже. Масла коровьего забыли вид. Изредка заметно растительное в супе или кусочек требухи. Основа питания у нас — кило хлеба, если выполнишь норму работы. Не выполнишь — получишь меньше, а такого, без жиров, питания нужно много, и голод и упадок сил наступают быстрее. Работа та же, что и в Монголии. Тачка, кирка, лом, лопата; скалы и болото царят здесь. Мягкой земли почти нет. Посадить картошку негде, косить сено тоже негде, все занято мхом и ягодником. Слой моха больше полметра — не редкость. Солнце мы увидели в половине января, на горизонте оно не больше часа. Северное сияние каждую ночь заменяет солнце и луну. Я здоров, работаю крепко, сильно сказывается ревматизм ног и рук, но дышится здесь легче, чем в Монголии. Но все же выдержать здесь год на этой работе для меня вещь немыслимая. Пишу негнущимися пальцами в полутемноте, в палатке, не знаю, как разберете. Пишите чаще все по очереди и подробно обо всем. Буду рад каждой строчке. Посылку, если пошлете, то кроме всего, что найдете,— табак и папиросы и все по возможности.

Прокуратура Союза ССР

**ПРОКУРАТУРА
Пермской области**

614600, г. Пермь, ГСП,
ул. Луначарского, 60

10.11.93 г. № 13-1084-93
на № от

614016, г. Пермь,
ул. Г. Успенского, 4—8
Евсеевой Екатерине Федоровне

614039, г. Пермь,
ул. Г. Успенского, 2а —111
Евсееву Алексею Федоровичу

614077, г. Пермь,
ул. Ушинского, 9—10
Евсеевой Вере Федоровне

СПРАВКА

о реабилитации отца

Дана на Евсеева Федора Алексеевича, 7.02.1894 г. р., уроженца д. Каролины Новогрудского района Минской области, в том, что он был незаконно арестован органами НКВД по политическим мотивам 28.10.1937 г. На день ареста проживал в Перми, преподавал военное дело в фельдшерско-акушерской школе и физкультурном техникуме. Имел семью: жену — Елену Павловну, 1898 г. р., дочь Екатерину, 9 лет; сына Алексея, 7 лет; дочь Веру (родилась после ареста отца).

По постановлению тройки УНКВД по Свердловской области от 5.12.1937 г. подвергнут по ст. 58-10-11 УК РСФСР десяти годам лишения свободы.

19.01.1938 г. этапирован для отбывания наказания в БАМлаг, а затем в Печерлаг НКВД.

Согласно извещению из Печерлага Евсеев Ф. А. умер там 12.07.1942 г. от крупозного воспаления легких и порока сердца.

Определением военного трибунала УралВО от 2.06.1956 г. полностью реабилитирован по этой репрессии.

Согласно ст. 21 Закона РФ от 18.10.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» дети реабилитированного — Екатерина, Алексей и Вера — признаны пострадавшими от политических репрессий и имеют право на льготы.

Справка выдана для предъявления в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Старший помощник
прокурора Пермской области
старший советник юстиции

А. С. Уткин

С. Сметанин

ТАМ БЫЛИ РАЗНЫЕ ЛЮДИ

Там были очень разные люди... «Типикок». Чукча. Во время войны в фактории перестали поступать охотничьи боеприпасы. А без них охотник не проживает. Но чукча знал, что на Аляске тоже есть фактории. Сел в каяк и... Он тоже считался полити-

ческим заключенным. Русского языка не знал. Его невозможно было использовать на общих работах — ему эти работы казались бессмысленными, а бессмысленные действия он просто не мог выполнять. Его приставили к бакам кипятить воду. Когда она закипала, он бежал по баракам и кричал: «Типикок!»

Были там немецкие коммунисты и социалисты, которые вели в подполье борьбу с Гитлером, и девушка с берлинской панели, которая не делала различия между американскими и советскими офицерами. Но это, оказывается, угрожало государственной безопасности СССР. Она попала сюда в летних туфельках и легком платье.

Это рассказывал Лев Семенович Гордон, основная сознательная жизнь которого прошла в сталинских лагерях. Он строил еще Беломорканал, потом был и на Колыме, и в Средней Азии. Называл он лаги и на севере европейской части страны.

Дело в том, что по происхождению он был парижским евреем. Я не знаю, имел ли он родственников за границей, но друзей за границей у него было много — в основном это были французские и итальянские коммунисты. Я запомнил имя лишь одного из них — знаменитого искусствоведа Лионелло Вентури. Жена Вентури изучала русский язык, и словесные обороты ее очень милых писем были очень смешными. У нее было очень своеобразное представление о том, как надо писать по-русски. Прислал как-то Вентури большую бутылку чудесного итальянского вина с зеленым растеньицем внутри, и моя доля этого вина ждала меня несколько месяцев, потому что причаститься этим вином должны были все друзья Льва Семеновича.

Естественно, что человек, имевший много друзей по обе стороны границы, не мог избежать обвинения в шпионаже, а потом, в период гонений на космополитов, он оказался воплощением этого зла. В лагерях он нашел свою будущую жену, женщину невероятной смелости и остроты языка, которая по одному только своему независимому характеру не могла миновать лагерей.

Временами Льва Семеновича выпускали на свободу, и в эти короткие промежутки между лагерями он успел защитить кандидатскую диссертацию и подготовить докторскую — о литературных предтечах Французской революции. Когда его освободили окончательно, с полной реабилитацией, он стал читать историю европейской литературы в Пермском университете. Но его лекции очень уж выделялись на фоне рутины, студенты-филологи в конце каждой лекции устраивали овацию, и этого, конечно, не могло долго терпеть университетское начальство. Гордон скоро вынужден был уйти из университета.

Но больше всего в этом человеке поражали даже не энциклопедические знания и яркий талант, а невероятный оптимизм

и жизнелюбие. Мне было непонятно, как это могло сохраниться у человека, который провел жизнь в страшных лагерях. Но он и в лагерях умел найти светлое. И не только в том, что там собрался цвет интеллигенции. Оказывается, когда прокладывали в невероятно суровых условиях железную дорогу, то, оглянувшись на материальные результаты своего труда, можно было чувствовать удовлетворение. И надо было видеть детскую радость этих людей, когда они получили в Перми маленькую квартиру. Первое свое жилище, которое надо было обживать, первая своя посуда — набор пиал... И не для себя. Ведь в этой квартире были частые гости — в основном молодежь. Здесь было чему поучиться...

*В. Докукин **

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ЗАБВЕНИЯ

Однажды в «Краснокамской звезде» преподаватель музыкальной школы М. Зеленина поведала со слов отца, старейшего работника ТЭЦ-5 П. С. Комова, о том, что первый директор ТЭЦ-5 Хорошев был в конце 30-х годов расстрелян, что тогда в Краснокамске было много репрессий. Меня эта заметка заинтересовала.

Для начала я решил узнать, как звали Хорошева, выяснить, кто его помнит.

Все было тщетно! Интересовался у одного из бывших директоров ТЭЦ-5, но он ничего не слышал о первом директоре. И не удивительно, что нынешнее руководство ТЭЦ-5 тоже ничего о нем не знает. Порадовало лишь то, что директор и начальник отдела кадров приняли в поисках участие, но в архиве ТЭЦ ничего не обнаружили.

Обратились к ветеранам ТЭЦ. Тоже полный провал. Лишь одна из них поведала члену правления «Мемориал», что Хорошев был молодым, стройным, с богатой шевелюрой. И все!

На этом поиски в Краснокамске закончились. Пришлось обратиться в Пермский государственный архив по делам политических репрессий. Спасибо директору архива, она отнеслась ко мне с пониманием.

И вот после второго посещения архива у меня в руках страшная бумага — приговор, в котором говорится, что Хорошев Василий Андреевич, 1889 г. рождения, осужден по статье 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к расстрелу. Суд состоялся в Свердлов-

* Докукин Василий Ильич, председатель Краснокамского отделения общества «Мемориал».

ске 13 августа 1937 г. (До 1938 г. Пермская область входила в состав Свердловской.)

Решение суда гласило, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит и подлежит немедленному исполнению.

Прах В. А. Хорошева, видимо, покоится в одной из многочисленных братских могил на 12-м километре от Свердловска, где в наши дни создан мемориальный комплекс.

А всего там нашли последний приют более 8 тысяч жителей Прикамья. Все они были расстреляны сталинскими опричниками. Знаю, что там покоятся отцы многих краснокамцев.

Свердловская «тройка» штамповала приговоры. А обвинен Хорошев был в том, что якобы являлся участником контрреволюционной террористической организации в системе Главэнерго, проводил подрывную работу, направленную к срыву снабжения электроэнергией, промышленных предприятий Урала. Какая чушь!

И погиб человек в свои 39 лет, а сколько бы еще он мог сделать для своей страны!

А о том, что он погиб безвинно, гласит определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 19 мая 1956 года.

Вот оно, это определение:

«Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 августа 1937 г. в отношении Хорошева Василия Андреевича отменить и дело о нем на основании ст. 4, п. 5 УПК РСФСР прекратить за отсутствием состава преступления».

Заверено подписью и печатью.

Казалось бы, можно поставить точку, ведь человек реабилитирован, ему, пусть посмертно, но возвращено доброе имя.

Но я посчитал, что дело о В. А. Хорошове нужно довести до логического конца. И вот я в архиве истории г. Перми, где хранится и партийный архив.

Я решил, что В. А. Хорошев был членом ВКП(б), так оно и получилось.

У меня в руках его учетная карточка члена ВКП(б). Оказывается, Василий Андреевич по национальности украинец, член партии с 1917 года, у него богатый послужной список.

Он начинал трудовой путь слесарем, в 1918 г. работал секретарем военно-революционного штаба, затем заместителем заведующего в управлении губотдела, заведующим управления в уездном отделе, заведующим финотделом и управляющим Госбанка, управляющим и начальником строительства Коксо-строля.

Из мест работы известны Шепетовка и Криворожье. Затем работал директором Кизеловской ГРЭС, в Москве — в распоряжении Главэнерго.

23 сентября 1936 г. принят на партийный учет в Краснокам-

ске, утвержден директором Закамской ТЭЦ-5. При его участии 10 октября 1936 г. был осуществлен пуск ТЭЦ-5. А в 1998 г. Василию Андреевичу исполнилось бы 100 лет. Такой вот печальный юбилей.

Я полагаю, что руководство ТЭЦ-5 увековечит память этого незаурядного руководителя. Память о нем в Краснокамске не подлежит забвению. А у меня в блокноте записана очередная фамилия одного из руководителей предприятий г. Краснокамска, опять предстоит работа в архивах, встречи со старожилами города. Считаю, что все жители Краснокамска должны о нем больше знать, память о нем также необходимо увековечить.

1998 г.

Первым директором Краснокамского бумкомбината был Горячев Яков Иванович. Родился он в 1899 г. в поселке Новинка Окуловского района Новгородской области.

Трудовой путь начал табельщиком на Окуловской бумфабрике. Закончил рабфак, институт народного хозяйства. Затем работал представителем фабкома на Окуловской фабрике, секретарем и председателем ЦК Союза бумажников, директором Дубровской фабрики, в Центробумтресте, начальником УКС в «выходной».

С 1932 г. был назначен начальником строительства на Камбумстрой, а с 1935 г. был назначен директором Камбумкомбината. На этой должности проработал до 16 декабря 1937 года, когда в составе группы руководящих работников комбината был арестован и осужден на 8 лет заключения в исправительно-трудовой лагерь по ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР постановлением Особого совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР от 27 августа 1940 г.

Основные члены группы тоже получили по 8 лет, за исключением Ф. Грингофа, которому дали 3 года.

Все были обвинены в том, что являлись участниками правотроцкистской организации и «занимались вредительством на Камском бумажном комбинате. Здания строились на заболоченных местах, объекты сдавались в эксплуатацию с недоделками, нарушалась финансовая дисциплина, нарушались технические правила, составлялись фиктивные акты на невыполненные работы, закупали ненужные материалы, допускали демонтаж смонтированного оборудования».

Я. Горячев и другие виновными себя не признали. После отбытия срока наказания Яков Иванович был отправлен на пожизненное поселение в Красноярский край, где и пробыл до реабилитации.

Шли годы... Сначала был расстрелян Ежов, затем Берия с подельниками, был выдворен из мавзолея главный злодей...

Суды стали пересматривать дела политзаключенных.

И вот Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР в заседании от 26 октября 1955 г. определила:

«Постановление Особого совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР от 27 августа 1940 г. в отношении Горячева Якова Ивановича, Бутылкина Михаила Павловича, Соколова Владимира Алексеевича, Талалаева Ивана Тимофеевича, Грингофа Фадея Генриховича отменить и дело производством прекратить за недоказанностью преступления».

Вот такова вкратце история Я. Горячева и его помощников. А ведь был Яков Иванович незаурядным человеком. Архивные документы свидетельствуют о том, что он был опытным, знающим свое дело организатором производства, требовательным, но в то же время и отзывчивым, внимательным к людям, готовым всегда прийти на помощь рабочему. Много занимался вопросами строительства жилья, улучшения социальных и бытовых условий рабочих комбината.

Судьба распорядилась так, что в 38 лет Яков Иванович начал лагерную жизнь политического заключенного, в расцвете сил прекратилась его деятельность крупного организатора производства.

Надеюсь, что его вклад в строительство комбината будет оценен по достоинству: мемориальная доска будет установлена на подобающем месте, почетное место займет его портрет (которого пока нет), будет учреждена премия имени Я. И. Горячева для лучших рабочих КЦБК, а учащиеся старших классов, возможно, будут писать сочинения о первом директоре и его многострадальных соратниках.

А главное — нужно всем работать в том направлении, чтобы навсегда исключить возможность возрождения тоталитаризма в России.

1999 г.

*Г. Великанова **

СУДЬБА ИНЖЕНЕРА

Павел Павлович Мельцер на Бумстрой был переведен из-под Ленинграда в конце декабря 1933 года. С 1 января 1934 года его назначают главным инженером строительства Камбумкомбината. Потом были годы строительства и пуск комбината. Затем не менее трудные годы становления нового мощного предприятия.

* Г. Великанова — заведующая музеем Пермского ЦБК.

Судьба этого человека трагична. В числе других 14 ведущих специалистов Камского комбината в 1937 году он был репрессирован.

В фондах музея комбината хранятся три фотографии. На первой — П. П. Мельцер в своем кабинете; на второй — он с двумя дочерьми; на третьей — его дом на Техническом поселке, а перед домом на скамейке его жена с детьми.

Нам удалось разыскать его жену Наталью Николаевну Мельцер, которая сейчас живет в Ленинграде. Когда Павел Павлович работал на строительстве комбината, она была рядом с ним. Наталья Николаевна любезно согласилась поделиться с нами воспоминаниями о своем муже.

Родился Павел Павлович в 1890 году в городе Варшаве. Отец его был военный. Был у Павла Павловича старший брат, который погиб в 1904 году во время революционного выступления. Он обратился к казакам с просьбой не стрелять в народ, за что был сражен пулей. Ему было тогда всего 17 лет. Отец после этого должен был выйти в отставку, так как не положено было офицеру иметь сына революционера. Вскоре отец умер. Павел Павлович учился в гимназии, которую окончил в 1908 г. и поступил в Технологический институт Петербурга, который окончил с отличием в 1917 году. Знал французский, немецкий и польский языки. В бумажной промышленности начал работать с 1920 года в Югбуме. Потом Мельцер был назначен главным механиком на фабрику им. Горького в Ленинграде. В 1926 году новое назначение — техническим директором на фабрику им. Володарского. Через год он был назначен главным механиком Ленбумтреста, так что в его ведении находились все бумажные фабрики Ленинградской области.

Наступил 1930 год. Началось строительство Саянского ЦБК. Павел Павлович назначается туда главным механиком, а затем техническим директором. После пуска комбината Мельцер в 1933 году возглавляет в Ленинграде Буммонтаж. А потом в его биографии был Бумстрой...

«Павла Павловича арестовали 2 декабря 1937 года, — вспоминает Наталья Николаевна. — У нас было две дочери, старшей шесть лет, а младшей было два года, когда они лишились отца. Я помню, как младшая говорила мне: «Мамочка, я хочу, чтобы папина карточка разговаривала...» Павел Павлович очень любил дочерей и всегда носил их обеих на руках, играл с ними в то небольшое свободное время, которое ему выпадало.

Он всегда очень быстро находил дефекты в оборудовании и так же быстро их исправлял. Я помню, что его называли «механический бог». Павла Павловича очень ценил нарком Семен Семенович Лобов (он тоже стал жертвой сталинщины). Когда на комбинат из Москвы приехала комиссия, товарищ Енукидзе,

выступая, сказал, показывая на Павла Павловича: «Вот кому надо ставить памятник». Много его рационализаторских предложений и изобретений были внедрены тогда в бумажной промышленности. А я даже не знаю, где похоронен мой муж».

В своих воспоминаниях К. С. Гунько, главный энергетик Камского комбината, работавший вместе с Мельцером на строительстве, так пишет о нем: «Мельцер решал все вопросы, в том числе и трудные. Быстро, смело и всегда находчиво, зачастую с риском для себя лично». И еще строки из воспоминаний Натальи Николаевны: «Дело отправили в Москву, на Особое совещание. Всех выслали на 8 лет в Коми, в Ухту. Условия там были ужасные. Последнее письмо от мужа я получила в конце июня 1941 года и больше писем не имела...

После смерти Сталина я получила реабилитацию и из загса Коми (Сыктывкара) справку о смерти мужа в 1941 году. Почему-то, когда пришла реабилитация, оказалось, что Павел Павлович умер. Пособие на утрату кормильца в размере 6000 рублей Камбумкомбинат мне выплатил, но я так и не знаю правду, когда и почему умер мой муж.

В 1948 году меня навестил бывший сослуживец мужа. Я ему сказала, что Павел Павлович умер в 1941 году. Он ответил, что в 1948 году был в Перми и виделся с профессором Ясницким Петром Алексеевичем, который сказал, что ему позвонил начальник МВД и просил приехать в управление осмотреть больного. Больным оказался П. П. Мельцер, работавший в каком-то секретном конструкторском бюро. И это был не единственный случай, когда его видели после 1941 года живым.

Позже дочь послала запрос, и ей пришел ответ из КГБ Коми АССР о том, что Павел Павлович Мельцер в 1941 году был расстрелян».

Конечно, в те годы никто не вел точного учета расстрелянных, выселенных или умерших от голода. В годы «великого террора» жертвами массовых репрессий стали миллионы людей. Среди них были и люди из хозяйственного актива, представители интеллигенции. Их участь разделил и Павел Павлович Мельцер.

*Н. Борисов **

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХ КЦБК

За пять десятилетий со дня пуска Камского комбината (1956—1996 гг.) было написано много воспоминаний, статей, брошюр и книг, посвященных строительству гиганта на Каме и его

* Н. Борисов — краевед, старожил Краснокамска.

людям. Повествователями были знатные и почетные первостроители В. А. Кубасов, В. А. Черепанов, Н. А. Шумилов, писатели П. П. Бажов, И. Арамичев, наш А. В. Каменский, местные краеведы и, конечно же, парторги С. М. Ширинкин, А. П. Мельникова, П. В. Сорокин и многие другие.

Все они справедливо отдавали должное благородному порыву коммунистов и комсомольцев, их мужеству и стойкости духа в преодолении многочисленных трудностей, с которыми приходилось встречаться в начале нелегкого пути. Заманчивая картина будущего вселяла в сердца молодых строителей энтузиазм, энергию и упорство. Многие из них удостоились заслуженного признания, похвалы, почетных званий, грамот и наград.

Но свидетеля тех далеких лет и событий не оставляет в благостном покое и другая незабываемая картина — картина жизни еще одной категории людей, непосредственно причастных к Бумстройю. Дело в том, что уже в мае 1930 года около тысячи заключенных — мужиков с Дона и Кубани, не принявших принудительную коллективизацию, — валили здесь лес для стройплощадки будущего комбината и рабочего поселка, копали первые котлованы для варочного и кислотного цехов. Они же строили первые бараки поселка Соломиты и обносили их проволочными заграждениями в два ряда с вышками для часовых. Одним из свидетелей этого был электрик М. С. Красильников, приехавший добровольно на Бумстрой летом 1930 года.

Строительство поселка Соломиты было развернуто на территории между нынешней ТЭЦ-5 и бывшим болотом, теперь засыпанным шлаковыми отходами той же ТЭЦ. Соломиты — это дощатые бараки, в простенках которых, для утепления, закладывались соломенные маты. В бараках были сплошные нары, рассчитанные на 100—120 человек в каждом.

В январе 1931 года строительство комбината было временно законсервировано и этих заключенных, видимо, перевели в другие районы области.

Но 21 августа того же года строительство было снято с консервации. Потребовалась новая рабочая сила. И она прибыла в самом начале сентября 1931 года. Это была огромная партия спецпереселенцев — раскулаченных крестьян из Татарской Республики. Сотни семей, в каждой из которых было по три-четыре способных к труду. Вот их-то и поселили в готовые бараки со сплошными нарами. В поселке сохранились проволочные заграждения по всему периметру и полуразрушенные вышки.

Новый контингент рабочих — это землекопы, плотники, арматурщики, такелажники, грузчики, коновозчики, конюхи, ассенизаторы и т. д.

В 1932—1933 годах на Бумстрой этапировали большую партию заключенных с Украины и Дона. Это были в основном

осужденные за «колоски» в голодном 1932 году. Их поместили в так называемые «уитловские» бараки; что напротив современной железнодорожной станции. Этих заключенных умерло очень много. Некоторые даже на наших глазах падали замертво, когда их водили с работы. Конвоиры были немилосердны и бессердечны.

Летом 1933 года сюда, на Бумстрой, привезли оставшихся в живых спецпереселенцев из Красновишерского и Ныробского районов. Их разместили в бывших «уитловских» бараках. Они тоже пополнили армию первостроителей комбината.

Но примечательно вот что: до недавнего времени ни в одной газетной статье или очерке, ни в одном из воспоминаний и свидетельств тех лет, ни в выпретенных писаниях репортеров местных и приглашенных писателей, и местных краеведов — ни слова о заключенных или хотя бы о спецпереселенцах, которые выполняли самую трудную, самую черную работу.

Ну полное затмение! А ведь речь идет не об одном или двух десятках людей, а о многих сотнях, даже тысячах. Только лишь бывший главный энергетик КЦБК К. С. Гунько кое-что поведал об этом, и то со слов давно погибшего человека, в газете «Камский бумажник» в 1990 году.

В апреле 1938 года, когда комбинат уже отлаженно заработал, ему потребовалось огромное количество балансовой древесины. Всех спецпереселенцев из Краснокамска подчистую вывезли на лесоповал. И об этом тоже всегда умалчивали любители амбициозных воспоминаний.

Таковы некоторые факты из истории строительства КЦБК. Они не должны подлежать забвению, если мы не хотим по-прежнему погружаться в пучину аллилуйщины и набивших оскоми-ну ностальгических песнопений.

*Д. Красик **

ДОЧЬ ВРАГА НАРОДА

Нынешним пермякам имя Александра Яковлевича Гольшева ничего не говорит, а 60 лет назад его у нас знали все. Еще бы! Секретарь Пермского горкома ВКП(б), руководитель всей Пермской области, входившей в то время в состав Свердловской.

Что же это был за человек, о котором в хронике «Пермская областная организация КПСС», изданной в 1983 году, есть

* Дмитрий Евгеньевич Красик — журналист. Печатается по: Звезда, 1997, 18 июля.

только одна фраза, сообщающая, что в 1935 году на съезде колхозников-ударников Пермского района «в докладе секретарь Пермского горкома партии А. Я. Голышев отметил большие достижения животноводства»? Сейчас понятно, почему появилось, хотя бы такое, упоминание: арестованный и расстрелянный в 1937-м, он был посмертно реабилитирован в 1956 году.

Александр Яковлевич был образованным и интеллигентным человеком. Работая, репетиторствуя, он преподавал в школе для рабочих и получал образование сам. В 1918 году направлен с группой студентов, «вошедших в революцию», в Одесский горвоенком, где трудился до высадки белого десанта, а далее вел с товарищами подпольную работу. После разгрома армии Деникина служил в Красной Армии, работал в Донбассе, Сибири, Москве... Кстати, в Москве А. Я. Голышев был заместителем небезызвестной Н. К. Крупской, председателя Главполитпросвета. Отсюда и направлен на Урал для организации в тогдашней Свердловской области десяти вузов. Затем — Пермь... Роковой 37-й... Полетели кругом головы, настал и его черед.

Из документов ясно, что Александр Яковлевич сам никого не «заложил» (говорит только о тех, чья судьба уже была решена) и заранее знал, что его ожидает...

Взять его «заключительный» партактив: 24 выступающих (!) — из мединститута, «Камлесосплава», конечно же, горкома ВКП(б), горпросвета, горнешторга, сельхозинститута, милиции, НКВД, горсовета... — и ни единого слова в защиту. Не будем называть имена, так как сейчас живут потомки этих «пламенных ораторов».

Но нельзя удержаться от минимального цитирования. Вот он, уровень «общественного осуждения». Тут и страх, и карьерные соображения, и сведение счетов за мелкие обиды — чего только нет.

Из выступлений на «разоблачительном и обвинительном» партактиве.

«Голышев умел маскироваться, чтобы скрыть предательскую работу в пермской парторганизации, занимался внешней классово-бдительностью».

«Руководство горкома имело контрреволюционеров в лице первого и второго секретарей, завотделами и инструкторов».

«Этот враг народа настолько замаскировался, что его трудно было разоблачить. Враг народа Голышев не занимался профорганизациями, и это не случайно: потому что, действительно, чтоб было больше жалоб».

«К Голышеву невозможно было попасть. Голышев и его аппа-

рат создали такую обстановку, чтобы создать нервозность, нервность. И в этом-то родились подхалимы. В городском комитете партии подхалимы живут и сейчас — они не разоблачены...»

«А почему так получилось, что сам Голышев оказался враг народа? Какими методами руководил Голышев? Это буквально издевка... Возьмите его пресловутое слово «маразм». Он всегда его употреблял. Что это значит? Разложение, гниль и т. д.»

«Он говорит: «Я как секретарь горкома обязан провести перерегистрацию». Понятно, началось паника, многие люди начали каяться, как грешники, в своих преступлениях, которых нет».

«В 1935 году я подвергался не раз ярлыку маразма, даже исключался из партии. Хотели исключить из членов бюро горкома в мае 35-го года, но Голышев решения не выпустил, а вынесли строгий выговор. Кругом дискредитировали членов партии — такая линия была у врага народа Голышева».

«Приезжал член бюро обкома, председатель облисполкома Головин, делал доклад о троцкистско-зиновьевском центре. В президиум на этом собрании были избраны Голышев, Дьяченко, Матвеев — враги народа. А когда Головин говорил, что враги народа покушались на убийство нашего великого вождя тов. Сталина, посреди актива были несколько десятков аплодисментов. Тогда председательствовал Дьячков. Мне хотелось в этот момент вскочить и крикнуть: «Что вы делаете?» Но когда я вижу, что президиум спокоен, получилось какое-то недоразумение... Но это было не случайно в свете сегодняшнего дня»...

Вызов в Свердловск, арест, обыск в пермской квартире в тот же день — все это типично для кровавого 37-го. Как, наверное, и то, что в протоколе обыска тщательно записаны номера разных членских билетов, упомянута пустая кобура, есть список 395 изъятых (запрещенных тогда) книг и ... ни словечка о каком-либо ценном предмете. Словно семья из пяти человек жила, обходясь одними «корочками» да «запрещенкой». Все имущество куда-то исчезло. Голышевых (да простится плохой каламбур) почти в буквальном смысле голышом выселили сначала в Куюду.

А осенью, когда Александр Яковлевич был уже расстрелян, арестовали его жену, Лидию Михайловну, которая «знала о контрреволюционной деятельности мужа», но не донесла. Дали восемь лет лагерей. А детей — пятнадцатилетнюю Анну, четырнадцатилетнюю Ленину и восьмилетнего Льва — отправили в «детучреждения».

Из воспоминаний Анны Александровны:

— 25 октября мама с работы не вернулась, а к нам пришли представители НКВД. Смотрели наши вещи, спрашивали, где

на фотографии наши родители. Мы им показали, и эти фотографии они забрали. Потом погрузили наши детские вещи и посадили нас в сопровождении женщины — работника НКВД — на вечерний поезд... При этом большая часть вещей осталась, потому что поезд очень быстро отошел. Так мы оказались в детском распределителе Свердловска, потом — в его пригороде, каком-то лагере для заключенных: там были вышки с часами, была натянута проволока... Детям репрессированных дали отдельный дом. Их привозили днем и ночью, поездом и на машинах — в конце концов этот дом стал настолько переполнен, что мы, две сестры были вынуждены взять к себе еще и брата.

Потом часть детей начали увозить... На станции в Свердловске были двери-вертушки, и нас, не говоря ни слова, если так можно выразиться, «крутанули»: детей: в возрасте 14—15 лет — в одну сторону, 8—9-летних — в другую, малышей — в третью.

...Ехали поездом четверо суток. В Челябинске нас подвели к ресторану, закрыли его, выпроводив пассажиров, и накормили горячим обедом. Потом нас высадили на станции, название которой я не помню. Кругом была степь... Еще километров 50 везли на грузовых машинах, и мы оказались в городе Темир Темирского района Актюбинской области Казахстана. Поселили нас в домиках с земляным полом. Было много верблюдов, на которых в холодные дни за нами приезжали в школу...

В конце концов НКВД разрешило родственникам забрать детей Голышевых, и Анна закончила 8 классов. Хотела быть врачом, как мама, но «с учетом материальных обстоятельств» поступила в подмосковный индустриальный техникум и была уже на третьем курсе, когда началась война и техникум закрыли.

И все-таки совершенно непонятно: как она, дочь врага народа, смогла получить высшее образование и стать врачом?

Из воспоминаний Анны Александровны:

— Когда немцы подошли к Москве, был отдан приказ вывезти всех детей... Мы с сестрой оказались в Новосибирске. Там я работала и сдала экстерном за десятилетку, поступила на следующий год в мединститут.

Из Новосибирска уезжала в настолько переполненном поезде, что четверо суток была вынуждена просидеть на своем фанерном чемоданчике... Перевелась в Московский институт. По воскресеньям и ночам работала медсестрой, днем училась, а затем ехала через всю Москву в туберкулезный институт к сестре, которая умирала там от этой страшной болезни...

Питались мы тогда так. Студентам давали 400 граммов хлеба, а карточек столовой хватало на полмесяца. Давали там тарелочку «супа», в котором плавали 2—3 кусочка мороженой ка-

пусты и столько же картошки, и давали при тебе ложечку жира, иногда похожего на машинное масло,— тогда, если не успеешь попросить, чтобы его не наливали, первое невозможно было есть. А на второе — или две-три ложки слипшейся вермишели с этим же жиром, или затируха. А жареные дрожжи — это был предел мечтаний!...

Учеба в вузе тогда была платной, стипендия — гроши. Я покупала на рынке шерсть, и сестра лежа вязала кофты. На это мы и жили. Она своим вязанием давала мне деньги на учебу — я брала их и плакала горячими слезами.

Профессор сказал мне тогда: «Вы без пяти минут врач... Ваша сестра живет только на одном энтузиазме. Она ждет, когда вернется ее мать, а жить ей нечем». Ну, вот она и умерла.

А училась она еще лучше меня, талантливая была. Какие сочинения писала! Знаете, она писала письма Маршаку, Чуковскому, и они ей отвечали! Она хотела стать журналисткой и начала изучать французский. А когда уже умерла, ей пришло письмо: почему вы не присылаете контрольные?

Анна все-таки стала врачом и поехала под Владимир за освободившейся наконец мамой... А в деревне Чамерево, в глуши оказалась в связи со вспышкой страшной болезни. «Глушь» — потому что в то время там, в 40 километрах от Владимира, еще не светили «лампочки Ильича», а передвигаться по бездорожью можно было только на лошадях.

И она, сугубо городской житель (никогда не держала никого, кроме кур, кошек и собак; совершенно не умеет ориентироваться в окрестных лесах), в любое время суток отправлялась на вызов в самую дальнюю деревню. И была врачом на все руки — единственным здесь: и терапевтом, и акушером, и хирургом...

Анна Александровна всю жизнь училась на разных курсах, «чтобы не отстать от медицины», выписывала специальную литературу. Десятилетия лечила она всю округу, как здесь ее называют, Синеборье. И при этом как истинный интеллигент получала массу газет, журналов и книг, если удавалось поехать в Москву — шла в музеи, галереи, театры...

Это ее трудами здесь появилась не только поликлиника, но и стационар... В конце концов стала Анна Александровна заслуженным врачом России.

Нет, жизнь никогда не баловала ее, наоборот — была сурова до жестокости. Уж нет на свете дочери Леночки, мужа Ивана Павловича Фомина ... Анна Александровна стала пенсионеркой (всем известно, как легко им живется в нашей стране). Сократилась местная медицина «в связи с государственными переменами» до амбулатории. Но Анна Александровна не ожесточилась, готова и сейчас хоть ночью помочь нужда-

ющемся. И помогает. И никогда не жалуется. И ходит вечерами на реку купаться до осени.

Мы с ней ежегодно встречаемся и подолгу разговариваем о разном — нам есть о чем.

— А знаешь — вдруг говорит она, — как это все странно... Мой отец был убежденным, искренним большевиком-коммунистом и был объявлен врагом народа. Сейчас строят капитализм и проклинают коммунистов — выходит, я опять дочь врага народа?

Г. Селиванов *

ЧЕРНЫЕ НАЧИНАЮТ И...

Он был одним из многих, кого осудили в 1937-м, назвав «врагом народа». Но жестокие испытания не сломили этого человека.

Вряд ли его имя что-то говорит широкому кругу читателей, но любители древней русской игры — шашек — знают его прекрасно. Впрочем, не самого Николая Петровича, а его творчество. Еще при жизни Торопова называли королем шашек, гроссмейстером-кудесником шашечной композиции. И только очень немногие люди — близкие родственники и друзья — знают о трагической судьбе самобытного мастера, двукратного чемпиона СССР по шашечной композиции.

Об этом пусть расскажут письма Евдокии Андреевны Тороповой.

«Николая арестовали осенью 1937 года. В тот день на их предприятии было общее собрание, где клеймили «врага народа» — директора СУГРЭС (дело происходило в Свердловской области). На том собрании Николай и несколько человек из его бригады выступили в защиту директора. В ночь после собрания их всех арестовали.

...После ареста Николая долго допрашивали, предъявили ему обвинение в сговоре с «врагом народа», подготовке диверсий на предприятии и прочее, прочее. Коля был ошеломлен, все отрицал. Поначалу он вообще не воспринимал происходящее всерьез, считал, что произошло недоразумение, со дня на день все объяснится и его отпустят. Но потом, когда его стали бить, требуя нелепых признаний, он все понял... Продолжалось это довольно долго, Николай очень ослабел в тюрьме. И тогда следователь дал ему совет:

* Геннадий Петрович Селиванов — журналист. Печатается по: Звезда, 1988, 19 декабря.

— Парень, ты еще молод. Попадешь в лагерь, будешь работать — выживешь. А так, если ничего не подпишешь,— живым тебе отсюда уже не выбраться...

Когда подписал бумаги и получил десять лет, отбывал срок на севере, в разных лагерях. Когда началась война, написал много заявлений, чтобы его отправили на фронт, но ни на одно не было ответа. Только однажды один из тюремных чинов сказал ему: «Не хочешь получить добавку к сроку — заткнись».

Он искренне надеялся, что если будет лучше работать,— его быстрее выпустят, хотя старые каторжане советовали: не надрывайся, а то останешься в этой мерзлоте навечно. Но он все равно работал на пределе сил. На работе и получил тяжелую травму — перелом позвоночника и, как следствие — паралич обеих ног. Произошло это в 1943 году. А до этого Колю и таких же, как он, не раз пугали расстрелом. Особенно когда немцы прорвались к Москве, а затем к Волге.

Когда Николай получил травму, он долгое время находился в тюремной больнице, в ужасных условиях, несмотря на свое крайне тяжелое состояние. Вспомнил, как рядом с ним умирали люди от дизентерии и голода. Это были люди разных национальностей — русские, белорусы, украинцы, поляки.

В лагере Николай познакомился со многими известными в то время людьми, о них сейчас много пишут. Партийные и государственные деятели, старые коммунисты без конца писали письма Сталину, но положение их никак не менялось. Многие так и умерли, не дожив до реабилитации. Я прочитала в «Литературной газете» о судьбе Вавилова — защемило сердце, так это все похоже на рассказы Николая о том времени.

Ну, а что же было после больницы? Колю перевели в лагерьный барак, где содержались «доходяги». Медперсонал относился к ним как к потенциальным покойникам, все ... было ... поставлено так, чтобы как можно больше людей умерло. Коля не умер, и его в 1945 году «сактировали». Считали, видимо, что протянет недолго. Позже он вспоминал: «Когда везли из лагеря в дом инвалидов, на вокзале и в поезде пассажиры считали меня стариком, а мне было всего двадцать восемь лет».

Домой Николай не захотел возвращаться: с мачехой у них отношения не сложились, а отец в то же время тоже был в лагере. Там же, кстати, он и погиб, а потом был полностью реабилитирован. Отец до ареста работал директором школы.

С 1945 года начались Колины мытарства по домам-интернатам. В 1946 году его в тяжелейшем состоянии положили в госпиталь для воинов (там было несколько мест для нуждающихся в протезировании). В палате лежали молодые ребята, только что вернувшиеся с войны. Вела палату врач, у которой по ложным обвинениям были расстреляны два сына. Она при-

няла искреннее участие в судьбе Николая, держала его в госпитале до реформирования, постаралась устроить сносное питание. В госпитале он немного оттаял, пришел в себя.

Но должна сказать, что все последующее время до реабилитации Николай жил на «волчьих правах»: если поднимал где-то голос в свою защиту или защиту других, ему тут же вспоминали 58-ю статью. Он долго мотался после войны по югу, на Украине. Лежал в основном в больницах. Мы познакомились с ним на Урале, в доме инвалидов в Куве в 1962 году. Поженились. Этот год был вдвойне счастливым для нас — Николай тогда уже получил справку о реабилитации».

На основании справки Н. П. Торопову назначили пенсию — 18 рублей. Этого хватало, чтобы запастись на месяц папиросами, чаем и сахаром. Еще оставалось на конверты — Николай Петрович в то время стал серьезно заниматься шашками, играл по переписке, посылал свои композиции в редакции газет и журналов. Двух-трехрублевые гонорары, которые он время от времени получал оттуда, не могли, конечно же, существенно улучшить его материальное положение.

— А зачем мне деньги? — горько шутил он. — Я ведь живу, как при коммунизме: за квартиру платить не надо, питание бесплатное.

Из письма Е. А. Тороповой:

«Я должна сообщить Вам еще об одном невеселом эпизоде из нашей жизни. Николай никогда не рассказывал Вам об этом, эта была глубоко запрятанная боль и чувство бессилия перед нашими собеседскими чинушами. В 1964 году мне надо было ложиться на операцию. Николая тоже положили в больницу. К тому времени у нас уже рос маленький сын. Куда его? Нас уговорили на это время устроить Андрея в Дом ребенка, что мы и сделали. Когда я выписалась из больницы и поехала за сыном, мне его не отдали. Сказали, что есть приказ из облсобеса. Вскоре приехал Николай. Но сколько мы с ним ни бились за возвращение сына, Андрея нам не отдали. Поставили условие: если хотите иметь ребенка при себе, уходите из дома-интерната. А куда мы пойдём, оба инвалиды — ни кола ни двора. Конечно, все это очень плохо отразилось на Николае. А обо мне не стоит и говорить.

Потом сына отдали в школу-интернат, мы постоянно ездили к нему, забирали на выходные к себе. Мы оба видели, как ему там плохо, но о том, чтобы забрать насовсем, нельзя было и заикнуться. В 1972 году Андрей заболел. Мы побывали у многих специалистов, которые признавали его здоровым. И вот, когда Андрей упал на улице и его подобрала «скорая», — только тогда сделали настоящее обследование. Обнаружили опухоль

мозга. Увезли его на вертолете в Пермь, но уже было поздно делать операцию. Тогда нам наконец-то разрешили взять его к себе. И мы уехали с ним в Александровский дом инвалидов — боялись, что в Куве ему может кто-нибудь сказать о его безнадежном положении. И вот представьте наше состояние, когда мы узнали, что в интернате Андрея систематически избивали, что его не раз находили без сознания. В связи с этим и образовалась неизлечимая болезнь. Если бы не я, Николай вряд ли бы смог перенести смерть сына».

В этом же письме Евдокия Андреевна размышляет:

«Для меня остается загадкой, какие силы держали Николая на этой земле после всего, что произошло в его жизни. Как он не спился, не сломался... Он так много работал, не жалея себя даже в последние годы жизни, когда стал часто болеть...»

Что же в самом деле заставляло Николая Петровича так истово (не подберу другого слова) работать? И быть не ремесленником, а мастером, творцом в деле, которое избрал? Что-то прояснить помогла короткая надпись, сделанная когда-то рукой Николая Петровича на внутренней обложке одного из томов полного собрания сочинений Л. Н. Толстого из личной библиотеки. Над профилем великого писателя красными чернилами четким, почти каллиграфическим почерком написано: «Всегда начинал именно из-за него». От каких-либо комментариев по этому поводу воздержусь: прежде надо прочитать, как это сделал Николай Петрович, все собрание сочинений Толстого, чтобы понять вдохновляющую силу таланта писателя и его связь с человеческой душой.

Сохранилась и другая запись. В 1976 году выступление Н. П. Торопова записывали на магнитофон для городского радио. Пленка та вряд ли сохранилась, но текст использовала городская газета «Боевой путь»:

— Моя жизнь сложились совсем не так, как мечталось. Что ж, бывают такие обстоятельства, которые оказываются сильнее нас. Но человек не должен идти на поводу у своего несчастья. Я говорю прописные истины? Но это по-человечески, в высшей степени по-человечески: найти в себе силы быть нужным людям, жить для других. А люди... Люди когда-нибудь оценят это.

Он надеялся не просто на понимание, но и на достойную оценку своей жизни, своего труда. Горько, но факт: в Александровске, где Торопов прожил с 1972 по 1985 год (самый плодотворный период его творчества), имя его напрочь забыто. Помнят разве что любители шашек. А ведь он должен быть дорог нам не только как чемпион. Жизнь таких людей — это пример мужества, стойкости человеческого духа. Это и рана нашей совести, которая никогда не должна заживать.

Помню, однажды, еще при первом знакомстве с его композициями, я спросил: «Почему у всех концовок одинаковое условие — «Белые начинают и выигрывают»? Почему не могут выиграть черные?»

Мастер удивился наивному вопросу, но ответил: «Это условие определяет исход партии. Для того чтобы выиграла черные,— им надо и начинать. Но это будет противостоестественно...»

Никакого подтекста, конечно же, в этой фразе не было. Это я сейчас, вспоминая, провожу аналогии игры с жизнью. В жизни же черные силы, как правило, начинают. И нередко выигрывают. Может быть, потому выигрывают, что в жизни нам проще, спокойнее быть пешками в чьей-то игре, чем жить по чести и совести. Именно это обстоятельство чаще всего создает для черных перевес. За доской такая ситуация называется безобидно — проигрыш, в жизни же оборачивается преступлением против человечности. И если мы хотим быть людьми, а не пешками, мы должны хорошо помнить об этой закономерности.

*Л. Разгон **

БУНТ НА БОРТУ...

*...Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.*

Я смотрел, как на лице капитана Намятова попеременно краска ярости сменяла бледность страха, на рефлекторные подергивания его руки к кобуре нагана и пытался вообразить, как с потертых обшлагов его гимнастерки сыплются лепестки брабантских манжет...

— Чего лыбишься-то?!

Ну не объяснять же капитану Намятову, что он карикатурно вызвал в моей памяти знаменитые строчки стихотворения Гумилева.

— Я же вас предупреждал, гражданин капитан, что не нужно заводиться с ними.

— А чего не заводиться? Такие же зэки, как все. Подумаешь, хуаны черномазые! И не таких ломали! Коминтерновцы у меня сортиры чистили, а здесь эти пацаны мне бунт устраивают! Они,

* Лев Эммануилович Разгон — писатель. Печатается по: Юность.— 1989.— № 2.

видите ли, испанцы — тоже мне, гордая нация! С быками привыкли драться...

Признаться, не ожидал от капитана Намятова такой эрудиции: даже слышал про бой быков в Испании.

— Так вы бы им все объяснили, гражданин начальник. Сказали, что-де прощаете их, все зачеты восстанавливаете и этого надзирателя, что обозвал их, уберете с командировки...

— То есть как это я им объясню? Когда они самому начальнику лагеря, самому полковнику сказали что-то матерное поихнему. «Ходэр» — это что такое? Буквы те же.

— Да кто их знает. Раз буквы похожи, так значит...

И вот тут-то мне следует объяснить, с чего это у капитана Намятова посыпались не то что розоватые брабантские манжеты, а все его капитанское величие, насмерть усвоенное убеждение, что нет ничего, что может противостоять его власти. Ибо его власть — это власть всей огромной, немислимо огромной и немислимо могучей махины, что называется «советская власть». И противостоять ей никто и ничто не может. А тут нашлись. Да и кто!

Смерть тирана — любого тирана — всегда не только приятна, но и интересна. Ибо вслед за ней неизбежно начинаются реформы, изменения, перемещения. Часто они бывают идиотическими, бессмысленными, ухудшающими то, что и раньше было плохо. Но зато — новое. «Хоть гирше, да иныше» — это доподлинная, выстраданная народная мудрость. Значит, с марта 1953 года, с того блаженно счастливого дня, когда мы готовы были пуститься в пляс под траурный марш, началась для всех нас непрерывная полоса реформ. Выгоняли по «бериевской» амнистии уголовников, ломали лагпункты и переделывали их в поселки, куда якобы приедут завербованные лесорубы; разделили лагерь на собственно лагерь, продающий зэков для работы в другой лагерь, который вроде бы нанимал этих зэков, с их помощью валил лес и вообще что-то производил. Все эти великие реформы, затеянные светлыми умами с Лубянки и Кузнецкого моста, лопались с таким громким и вонючим треском, что старые опытные зэки, не имеющие никаких шансов стать объектом либеральной реформы, помирали со смеху.

Амнистированные быстро вернулись назад с новыми сроками и вполне довольные. Побыли на воле, попили, пограбили, побабилась, отвели душеньку — и вернулись в родной дом, получив по либеральному Уголовному кодексу вполне сносный, сравнительно с прошлыми, небольшой срок. В бывшие лагпункты, вместо убранных нар привезли кровати, застелили их простынями и прекрасными шерстяными одеялами. Потом привезли туда «завербованных»: чахлах молодых мужиков и баб, сохранившихся еще чудом в лесах Мордовии, Чувашии, Удмур-

тии. «Чудь начудила и меря намерила...» Все, черт, стихи вспоминаются в самое неподходящее время! Но чудь и меря вовсе не собирались допиливать прикамскую тайгу. Через месяц-другой все они удрали, увозя с собой одеяла, простыни, тиковые чехлы с матрацев и даже подушки, набитые какими-то особыми жесткими перьями неведомых птиц. Все удрали. До одного. Кровати, пока их не разворовали и не продали на сторону, увезли, снова поставили привычные, родные нары и снова начали возводить совсем недавно уничтоженную зону. Все возвращается на круги своя.

Из великой реформы с разделением лагеря на тюрьму и производство ничего не вышло, кроме разных смешных ситуаций. Тюремщикам, что брали в зоне эков и возили их лес пилить, конечно, без туфты обойтись нельзя было, ибо от них требовали план. Тюремщики, которые эками торговали, получали за них (воображаемые, конечно) деньги, исходя из того, сколько они напилили. Все они были кровно заинтересованы в туфте, и она стала принимать совершенно феерические размеры. Когда я был в предыдущем лагере — в Устьвымлаге — какой-то не утративший любопытства и юмора заключенный плановик подбил крайне занятные итоги выполнения производственного плана всего лагеря за год. Он подсчитал, что леса было вырублено больше, чем числилось по таксаторным картам. Стреловано леса больше, нежели вырублено. Вывезено больше, чем стреловано. Укатано в катища больше, нежели вывезено. Сброшено во время сплава в реку больше, чем укатано. Вытащено больше, чем сброшено. И отправлено потребителям больше, чем было вытащено... и все сошлось. И все были довольны. Конечно, начальники. Что же касается тех, кто по пояс в снегу валил лес, тащил его к трелевочным волокам, возил, укатывал, сбрасывал, вытаскивал — тем было все это совершенно безразлично, они были не людьми, а «контингентом». Вот только умирали они значительно быстрее, нежели на это рассчитывали начальники. Но ГУЛАГ зорко следил, чтобы лагерная машина крутилась, и вместо тех, кто заполнял безымянные могилы на лагерных кладбищах, привозили новый «контингент».

Я прошел через все великие, средние и малые послесталинские лагерные реформы, меня перегоняли из Усть-Сурмога в Кушмангорт, из Кушмангорта на Мазунь, я поистаскался на самом отвратительном и опасном, что есть в лагере, — в этапах, и был почти счастлив, когда осел в Чепецком отделении, под светлыми, почти херувимскими крыльями капитана Намятова. Привезли меня туда по спецнаряду как старшего нормировщика, а значит, пределы барского гнева по отношению ко мне были ограничены. Ну, а на барскую любовь я не рассчитывал и у более человекоподобных, нежели капитан Намятов.

Чепецкое отделение было новым. В нем строилась железно-дорожная узкоколейка для вывозки леса, а на дорогу нанизывались новые лагпункты. Вообще, он был «перспективным», на нем можно было рассчитывать на получение новых званий, должностей и множества мелких и крупных привилегий, составляющих главную прелесть пребывания в начальниках.

Однажды я был вызван в начальственный кабинет. Кроме самого Намятова, там находились люди, появление которых ничего хорошего не предвещало. Кроме нашего домашнего лагпунктовского «кума» — оперуполномоченного 3-го отдела. В кабинете находились почти все высокое начальство, включая и самого подполковника — начальника 3-го отдела управления лагеря. Вскоре я понял, что они от меня хотели. Проектировали строительство «спецкомандировки». От меня требовался расчет рабочей силы. Почему-то подкомандировка должна была строиться не на линии железной дороги, а в глуховатом углу тайги, куда нелегко было и материал доставлять, и рабочих посылать. Зачем?

— Командировка специальная, — важно сказал подполковник. — Рассчитана на особый контингент, который должен быть изолирован от общего контингента и не будет с ним смешиваться на общих делянках и прочих объектах.

— Значит, штрафная?

— Не штрафная, а специальная! Там будет находиться особый контингент. Конечно, такие же зэки, как все, да не совсем такие.

— Какие же, гражданин начальник?

— Хуаны.

— Кто, кто? Это что, особый вид законников?

— Э, да ни черта вы не смыслите, а еще с образованием! Хуаны — это испанцы. Привезли их к нам мальцами, когда в Испании война была, а потом они выросли и осели тут на нашу голову. Конечно, они все советские. И сроки советские получили. Кто за кражу, кто за хищение социалистической собственности, кто за антисоветское поведение. Забыли, мерзавцы, кто их спас, выросли и позволяют себе — не нравятся им, видите ли, наши порядки.

— А почему же особая командировка? Тут же у нас есть всякие зэки. И китайцы, и персы, и поляки...

— Хуаны — не все. Они особые. Очень дерзкие. Не могли им слова сказать, на все способны. Ему надзиратель замечание сделает, а он ему — ты у меня попробуешь наваху! А что такое наваха?

— Кажется, такой особый нож с двумя лезвиями.

— Вот-вот. И у всех навахи, или еще что, и с ними ухо надо держать востро. Помните, вам с ними работать, они должны вы-

полнять, кормить и начислять зачеты им будут на общих основаниях.

Вот так возникла «спецкомандировка». В общем-то, совсем обычная: с зоной — забором из высоких стволов; «запреткой» из колючей проволоки, с вышками по углам; баней в зоне, вахтой, инструменталкой и бараками для охраны за зоной — словом, все как у всех. И карцер в углу зоны, и «хитрый домик» для того, чтобы «кум» мог принимать стукачей, — отличная, четко функциональная, на века отработанная архитектура.

И однажды весенним днем все свободное в то время от работы население зоны — врачи, санитары, повара, дневальные, конторские — все сбегались к реке. По Каме катер тащил небольшую барку, в которой обычно перевозят заключенных. На берегу стояла охрана, все начальство, лаяли и облизывали кровавые рты овчарки на поводках.

По наведенному трапу на берег начали сходить хуаны. Молодые ребята, среди которых были почему-то рыжие, а не только черные. Синие небритые щеки, огненные и абсолютно непокорные глаза. Вот эта непокорность и была наиболее отличительным свойством молодых испанцев. Я глядел на них и вспоминал фотографии и кинохроники тех лет, когда я еще был на воле. Палубы пароходов, заполненные мальчиками и девочками, цветы и объятия, лавина очерков, статей, рассказов, репортажей о любви и заботе, которыми окружили жертвы гражданской войны, детей, вырванных из рук фашистов. Где они были, эти мальчики и девочки, после того, как завяли букеты цветов, кончились объятия, журналисты нашли новую тему — врагов народа? Жили, наверное, в детских домах. И хотя эти дома тоже имели прибавку «спец», но они были такими же, как все: с атмосферой духовной несвободы, казарменным режимом, школой, в которой было запрограммировано все — от урока на завтра до классного собрания, до обязательных песен, выкрикивания коллективных лозунгов, скучной «физкультуры». А потом ПТУ, или как там тогда назывались, и первые годы на заводе... А если не хочется на заводе? А если хочется совсем другой работы, другой жизни, а если не нравится жить в общежитии?

Они были непохожие на других, а значит, чужие. Чужие для своих сверстников, для товарищей по заводу, по общежитию, улице, городу. Поэтому они сплачивались, у них выработались свои законы, свои нормы поведения. Кто постарше — успел побыть в армии, они как могли дрались с фашистами, но не все были сыновьями Долорес Ибаррури, и не все подвиги были отмечены, и не все смерти были оплаканы. У них был общий язык, на котором они могли разговаривать друг с другом и который не понимали другие. У них сохранились, пусть детские, но все же воспоминания о своей родине — ее холмах, городах и белых

домиках в селах; они помнили еще свои песни. Они учились в русских школах, читали и говорили по-русски, но ребята постарше хорошо знали родной язык, умели не только читать, но даже доставать испанские книги и читать своим товарищам. Инстинкт крови и засевшее в генах то неопределенное, что зовется «испанским», заставляло их сопротивляться всему, что они считали унижительным, и немедленно бросаться, не раздумывая, на вырубку своим.

Вот такими они сходили по трапу на берег, и все мы тут увидели, что они — не как все... Их не посадили на корточки, не поставили на колени, не заставили сесть на землю. Процедура обычная, обязательная при любом этапе: выходящих из вагона или «воронка», слезающих с грузовиков, сходящих с палубы баржи обязательно сразу же — невзирая на любую погоду, на снег, грязь, дождь — заставляли сесть или же встать на колени, чтобы потом, когда выйдут все, когда вокруг построится конвой с овчарками, заставить встать, построиться по четыре, устроить перекличку, заставить выслушать «конвойную молитву»: «... шаг вправо, шаг влево, конвой стреляет без предупреждения», и лишь после этого двинуться этапной колонной.

Так вот хуанов никто на колени не ставил, на корточки не сажал. Их быстро пересчитали, не заставляя слушать «конвойную молитву», быстро повели к подведенной к берегу узкоколейке, так же быстро погрузили на несколько подготовленных платформ и увезли в тайгу. Испанцы проходили эту процедуру с любопытством и весело, они осматривали незнакомый пейзаж, незнакомых людей и, обращаясь к людям в омерзительно знакомой им форме, кричали какие-то слова. Слова были вполне русскими и классическими.

Вскоре началось генеральное совещание у капитана Намятова, посвященное решению испанского вопроса. Я увидел, что решается он почти со всеми классическими трудностями, свойственными решению всех испанских вопросов за многие века. В начальники «спецкомандировки» назначили старшего лейтенанта Шкардыбу. От обычного конвойного вертухая его отличали какая-то воинствующая тупость и железное убеждение, что три звездочки на его погонах должны автоматически приводить всех эзков в полную покорность. Фельдшером решили послать недоучившегося студента Ленинградского университета. Недоучился он, собственно, русской филологии, ибо его схватили, когда он был на третьем курсе филфака. Но в лагере проявил несвойственную филологам цепкость, устроился в санчасти, стал «лепилой», начал носить белый халат и сразу же вошел в важный и очень привилегированный слой лагерных медиков. В самом большом затруднении были производственники. Что будут делать хуаны?

— Как что? — возмутился Намятов. — Дорогу строить. Конечно, рельсы им свинчивать не дадим, пусть насыпь отсыплют, на земляных работах можно даже и таких...

— Нет-нет,— уныло сказал начальник строительства дороги.— С нас управление лагеря каждый день спрашивает погонные метры дороги, а с ними какие же метры! Сегодня метры, а завтра сантиметры, а то и вовсе не выйдут на работу, разбирайся с ними, а вечером на селекторной переключке докладай, на сколько протянули дорогу.

Да, с этим и Намятов не мог спорить. За дорогу спрашивали строго.

— Ну, что нормировщик скажет? — Намятов посмотрел в мою сторону.

— Давайте, гражданин капитан, поставим их прокапывать канавы вдоль насыпи. На них не только плана, но и технических условий нет. Сколько прокопают, столько и прокопают, глубоко ли, или же так, землю поцарапают — все равно они ни к чему. И в план не входят, и отчитываться за них не надо.

— То есть как это не надо? А выполнение нормы, а деньги, а зачеты?

Вот это уже было серьезней. Дело происходило летом 1955 года. Из старых кондовых гулаговских законов осталось, что кормили «по выработке». Ну, это дело простое. И даже в самые грозные лета в моей нормировочной практике не было ни одного зэка, не выполнившего нормы и не получившего своей кровной горбушки. Но среди великих реформ было нечто новое и существенное. Во-первых — деньги. За выполнение норм зэкам платили. Прямо почти как вольным. Конечно, у них вычитали за кров и пищу, да так, будто этим кровом был уютный пансионат четвертого управления, а пищей — икра с креветками и консоме с гренками. А потом надо было зэкам содержать всю охрану, всех своих начальников, начиная от последнего надзирателя и кончая генерал-майором Тимофеевым. Но и после этого что-то оставалось. И, учитывая астрономическую туфту, в которой больше всего было заинтересовано само начальство,— оставалось немало. Достаточно, чтобы покупать в ларьке редкие припасы, спирт у деревенских спиртоносов, а очень многим даже разными путями деньги семье переводить.

Но самым главным нововведением были зачеты. До сих пор не пойму, как на это пошли большие гулаговские начальники. Разве что из уверенности, что резерв у лагерного «контингента» большой. Значит, были зачеты. Этим славным студенческим словом обозначалось то, что срок наказания снижался соответственно выполненным нормам. За выполненную норму день наказания считался за два, а за перевыполнение — день

за три. И всем заключенным выдали на руки отпечатанные на коричневой оберточной бумаге «зачетные книжки», в которых страницы были поделены на квадратики, где регулярно проставлялась новая дата окончания срока. И каждые три месяца зэк сдавал свою «зачетку», через день ее получал и впивался взглядом в новый «звонок» — новый конец срока. Разглядывать эту книжечку было одним из самых больших и острых ощущений. Вот видишь, как на глазах худеет твой срок, как быстро (день за три!) приближается день свободы! Я это сам испытал...

Но в этих «зачетах» были свои прелести для начальства и свои ужасы для заключенных. Капитан лагерного отделения, то есть лично капитан Намятов, мог эти зачеты не то что не давать, но и снижать старые. «За нарушение лагрежима». А в это нарушение входило все возможное: отказ выйти на работу, невыполнение приказа любого начальства, вплоть до бригадира и десятника; за то, что «прекословил» — так странно назывался недостаточно почтительный ответ начальству; за то, что помочился в непопозволенном месте... Список возможных нарушений, за которые можно лишать зачетов, был бесконечным. Намятов и его многочисленные подручные пользовались этим не только щедро, но и с каким-то садистским наслаждением. Старший лейтенант Шкардыба лично вызывал к себе по очереди зэков и каждому вручал полученные с головного лагпункта «зачетки». Вручал медленно, давая возможность зэку тут же раскрыть зачетку и увидеть, как вдруг у него срок набежал назад, как он удлинился. И не на день, и не на две недели, и даже не на месяц. Иногда он удлинялся на год, а то и больше. Вынести это могут не все. Я не раз видел, как выходили от Шкардыбы пожилые рыдающие люди. Или же бледные, с застывшими на губах матерными словами, старые и опытные «законники». Меня самого не раз лишали зачетов. И хотя больше чем день за два, да и редко-редко, в порядке поощрения, я не получал, а мой десятилетний срок был отбит только наполовину, но все равно очень трудно было стряхнуть с себя чувство унижения, беспомощности, ощущение полной своей зависимости от всей этой шайки недочеловеков.

Да, в этих желтых тетрадочках была взрывная сила, и я тогда уже почувствовал, что с хуанами начальству будет плохо. Нормировщиком я решил послать молодого еще арестанта, недавнего студента Тимирязевской академии, бытовика, получившего свой немалый срок за «попытку изнасилования». Витя мне пытался объяснить, что понималось под «попыткой», но в этом не было надобности. Год назад вышел специальный указ «Об усилении ответственности за изнасилование», и лагерь был полон виновными или же совершенно невиновными жертвами своих страстей. Был этот неудавшийся насильник сообразитель-

ным, способным парнем, и, направляясь на «спецкомандировку», я объяснил задачу.

Что всем без исключения надобно «выводить горбушку», Витя уже знал. У нас никогда «невыполненных» не было. А вот с «перевыполнением»? Это деньги и зачеты...

— А кто у них пахан, Лев Эммануилович?

— Вот это тебе следует знать. И помни, что это не воры, не законники. У хуанов паханом — главным и авторитетным человеком — становятся совсем по другим правилам и обычаям.

— А по каким?

— Вот придем, узнаем, как и что.

Командировка, куда мы пришли, уже существовала два дня. Назавтра начался льготный срок устройства, и людей должны были вывести на работу. Для нормировщика и счетовода продстола выделили маленькую комнату, сам Шкардыба занял комнату, отдельную, как кабинет: самодельный письменный стол, самодельное кресло с подлокотниками, табуретка, прикованная к полу. На окне частая решетка. Все как надо. Но хозяин начальника кабинета был встревожен.

— Что, не слушаются, гражданин старший лейтенант?

— Да нет, слушаться-то они слушаются, да не того, кого нужно.

— Кого же?

— А есть у них такой — Антоний. Антон по нашему. Сам из себя маленький, щуплый, а без его слова — ничего и никуда. Начал их разбивать на бригады, а они — как Антоний скажет. Бригадиров он же назначал. Я против него пока сказать ничего не могу — тихий из себя, вроде не грубит, но много про себя думает... Ох, как много!

— Ну и пусть, гражданин начальник, правит своими. Вам же легче.

— Да нет, тут не детский дом, не санаторий, тут лагерь, тут тюряга, все должны понимать, что они зэки и отбывают заслуженное наказание. И не Антона своего должны они слушать, а поставленное над ними начальство.

С Антонио я через несколько минут познакомился. Пошли мы с ним в контору и там часа два-три разговаривали. Мои познания об Испании были весьма ограничены. Историю я знал по университетскому курсу; политику — по довоенным газетам; быт — по дореволюционным очеркам Василия Ивановича Немировича-Данченко и романам Бласко Ибаньеса. Но и этого оказалось достаточно, чтобы расположить к себе Антонио. Тем более, что он сразу понял, «кто есть кто»... Антонио хорошо говорил по-русски, понять, из какой он среды, я так и не смог. О себе рассказывал очень скупно, вернее — ничего не рассказывал. Родом был из небольшого городка неподалеку от Барсело-

ны. Родители занимались сельским хозяйством. И, упомянув их, он вздрогнул, и лицо у него стало застывшим. Наверное, они были жертвами гражданской войны — она у них была почти такой же жестокой, как и наша. Вывезли его из Испании 8—9-летним ребенком, сейчас ему уже было лет 26, хотя он выглядел еще моложе; небольшого роста, но очень приземистый, сбитый, с плотно сжатыми не улыбающимися губами и черными, жесткими, даже скорее жестокими, глазами.

На командировке находились 172 испанца. Разного возраста, но больше молодые — самому старшему было 32 года. Срок у них были почти у всех «бытовые» и по нашим меркам «детские» — 5—7 лет. Одни получили за то, что, работая грузчиками в магазине, прихватывали что-нибудь, чтобы выпить и закусить. Делали это, конечно, все, но они были чужие, на них легко было свалить и другие, не такие мелочные хищения. Много было ребят за «злостное и особо дерзкое хулиганство». Ибо, когда начиналась драка, в которой били кого-то из своих, хуаны бросались на выручку и в таких драках были беспощадны. А когда являлась милиция, то к своим испанским ругательствам прибавляли и русские, которые были первыми русскими словами, выученными в России. Некоторым чересчур дерзким, сумевшим особо уязвить представителей власти, пришивали и 58-10 — «антисоветскую агитацию». А по ней меньше десятки не давали. Но таких было немного, и они находились как бы под негласной опекой всей командировки.

До того как их всех собрали в Соликамской пересылке Усольяга, они были в разных местах: на лагпунктах Усольяга и Ныроблага, в тюрьмах «на материке», в детских колониях, где терпеливо ожидали, когда им исполнится 16 лет, когда можно их будет сплавить в общий лагерь. Объединились они все на пересылке, где, очевидно, и стал их лидером Антонио. Он был для этого подходящим человеком. Властный, не опускавший глаза перед начальством, готовый из-за «своего» дойти до самого высокого чина. Справедливый, ничего ни у кого не отнимающий. Он знал русский лучше других, хорошо говорил, читал и грамотно писал. Но со своими разговаривал только по-испански и их заставлял между собой говорить только на родном языке. Это обстоятельство впоследствии стало одной из «болевых точек» отношений между хуанами и начальством, каковые требовали, чтобы все говорили на языке, им понятном. А на незнакомом — мало ли что могут говорить и о чем только могут договориться. Будущее показало, что начальство, как всегда, право...

С Антонио было просто и естественно обо всем договориться. Я объяснил ему, что копанье канавок, да еще летом, да еще в песчаном грунте — детские забавы, что важно не столько ко-

пать, сколько делать вид, и когда появляется начальство, то не валяться на траве, а держать в руках лопату. Ибо за это пойдут зачеты. Для них, «малосрочников», была реальная возможность скинуть половину срока. У самого Антонио было семь лет. За что — не спрашивал, по нашей лагерной этике спрашивать об этом не полагалось. С зачетами испанцы встретились впервые, их ввели только недавно, и Антонио сразу же оценил значение маленьких книжечек на оберточной бумаге, которые им уже успели выдать. Распрощались мы совсем по-хорошему, и я впервые увидел улыбку Антонио, когда, прощаясь с ним, я лихо сказал ему подслушанное «сеа буэно».

Своему Виктору я дал инструкции, которые он понял с полуслова. Канавы прокапываются в странном грунте, могущем существовать только в рабочих нарядах лагеря, который одновременно представляет из себя почти гранитный монолит, но почему-то оплетен сосновыми корнями и к тому же прилипает к лопате. И такой странный, ни в каких учебниках геологии не значившийся грунт не выбрасывается на бровку, а относится в сторону метров этак на десять... С контрольным десятником у меня были хорошие отношения, он должен был освобождаться через полгода, и у него не было никакого расчета ходить к странным хуанам и качать права. Правда, вся командировка была конвойной, и на работу испанских зэков водили молодые солдатики срочной службы, но при всем том, что они были отличниками боевой и политической подготовки, им было совершенно наплевать на то, как работают их подконвойные. А те — и это стало сразу же очевидным — бежать не собирались. Что от них конвою и требовалось.

В первый же свой приход на головной (Виктор был расконвоирован) мой нормировщик доложил мне, что дела на спецкомандировке идут хорошо. Приходят с работы весело, порядок соблюдают, рабочие наряды заполняют не бригадиры, а сам Антонио под диктовку нормировщика, и выработка у каждого никогда не бывает меньше 140% — как раз столько, чтобы получить «день за три».

Собственно, я рассказываю здесь о своих служебных преступлениях. Ибо все, что я делал как нормировщик, все, что я санкционировал, было, безусловно, преступно. Приписывались несуществующие работы, у государства незаконно, путем обмана, изымались товарно-материальные ценности — крупа, мука, треска, уплачивались лишние деньги и пр., и пр. Это был полный набор уголовно-наказуемых преступлений. Их совершал не только я. Их совершали все зэки, начиная с самого рядового заготовщика веточного корма и кончая самыми высокими зэковскими чинами — вплоть до начальника работ.

И никаких угрызений совести мы не испытывали тогда, как

я не испытываю их и сейчас. Мы не имели никаких обязательств перед государством, которое нас схватило, разрушило или убило семью, держит и мучает здесь. Несправедливость уничтожает всякое чувство ответственности и любые обязательства. Я могу сопротивляться всем этим намятовым или шкардыбам только одним путем — стараюсь выжить назло им всем. И для этого годится все: обман, неограниченная туфта — все! Впрочем, даже те зэки, у которых еще на крылышках сохранились бледные следы пыльцы наивности, не могли не понимать, что начальство в туфте заинтересовано не меньше, чем мы, только туфтить они хотели за наш счет.

Уверен, что то всеобщее разложение, обман, приписки, коррупция, взяточничество, которое стало характерным для периода со странным названием «застой», вышло из архипелага ГУЛАГ. И те, кто там сидели, и те, кто их там держал,— все они вышли из лагеря, утратив всякое представление о таких реликтовых понятиях, как «служебный долг», «служебная честность». Приписки миллионов тонн хлопка в Узбекистане, феерические взятки и поборы, рабско-тюремные порядки на «социалистических полях», сращивание прямых уголовников и убийц со всякими начальниками — от милиции до партийного руководства — все это, по моему убеждению, порождено лагерями, через которые прошли миллионы людей. Пусть в самом, казалось бы, разном качестве. В своем знаменитом сочинении Солженицын прикоснулся к частице этого уникального в истории человечества явления. Недаром он называл архипелаг ГУЛАГ опытом художественного исследования, в котором участвовали бы историки, экономисты, врачи, психологи, социологи... До сих пор лагеря являются самым что ни на есть «белым пятном», к которому разрешают прикасаться только лирическим или же темпераментным очеркистам, пишущим на темы «возвращенные имена».

Но я не собираюсь тут рассказывать об экономических и всяких особенностях архипелага. Мне предстоит поведать о недолгой жизни и необычном конце «спецкомандировки» для хуанов. В конце июня прибежал на головной лагпункт мой встревоженный нормировщик и рассказал, что там у них «началось». Начало было для нашей обычной лагерной жизни событием совершенно нормальным. Во время развода колонна заключенных чего-то по своему, по-испански, чрезмерно развеселилась, и дежурный надзиратель, весьма обыкновенный вахлак, грубо накричал на Антонио — накричал не по-испански, разумеется, а по-русски. Тот ему ответил на ставшем ему уже полуродном языке, что он думает о надзирателе, старшем лейтенанте Шкардыбе, капитане Намятове и всех других начальниках. Не ручаюсь, что туда не попал самый высокий и августейший начальник, но

могло быть и такое. Шардыба укрощал арестантскую бузу в старой привычной манере. Приостановил развод, схватил Антонио и еще парочку хуанов и поволок их в карцер. Тогда вся командировка отказалась выйти на работу и вернулась в бараки. А только что кончился месяц, и заветные «зачетки» были забраны у эзков и отвезены Намятову. Они вернулись чистыми. Все предыдущие зачеты были сняты, у всех конец срока был точно такой, каким числился в первичном арестантском формуляре.

И командировка забастовала. Вся. Мало того — пошли к карцеру, который, как обычно, охранялся лишь одним дневальным, набили этому дневальному морду, сорвали замок и выпустили Антонио и его верных оруженосцев. Вероятно, если бы это случилось с обычной командой, то ее укротили бы обычным путем, не очень-то пуская в ход угрозы. Но дело происходило в самый разгар послесталинской либерализации, да и командировка была особой, и народ на ней особый, и не только начальство, сам черт не знал, что еще будет дальше и какие новые реформы воспоследуют. Поэтому уговаривать хуанов было самое высокое начальство из Соликамска. Сам полковник вышел перед толпой — увы, не строем, а толпой заключенных — и пытался им втолковать основы пенитенциарной системы в Советском Союзе. На что услышал всякие, в том числе и чисто испанские, но тем не менее понятные даже русскому человеку слова... Что требовали забастовщики? Чтобы к ним немедленно прибыл самый главный прокурор из самой Москвы, которому они объяснят, что никаких законов они не нарушали, вели себя примерно и что, в конце-концов, им надоело вести такую жизнь, «как все». Пусть их всех отправят домой — в Мадрид, Басконию, Кастилию — словом, к своим собственным полицейским и надзирателям.

И тогда Намятов, естественно, с благословения начальства, приказал не кормить бунтовщиков. Ворвавшиеся надзиратели потребовали опрокинуть котлы, уже наполненные баландой, хотели забрать весь хлеб из хлеборезки, продукты из ларька и продовольственного склада. Но бунт хуанов был не «бесмысленный и жестокий», как характеризовал русский бунт Пушкин, а значительно более осмысленный. Восставшие испанцы выгнали из зоны всех надзирателей. Они вежливо вошли на вахту и предложили оробевшим вертухаям немедленно удалиться с вахты. Мало того — приказали убрать с вышек вооруженных надзирателей. И все это спокойно, без особого шума, поигрывая своими экзотическими ножами, которые вдруг оказались у каждого заключенного. После чего они заперли ворота зоны, воздвигли около нее баррикады, разобрали на кирпичи все печи в бараках и на кухне, из всего металлического наделали холод-

ное оружие и заявили, что из зоны не выйдут и будут защищать ее до смерти, пока не прибудет к ним самый главный прокурор из Москвы.

Вот в такой препозиции я и давал никчемные и оппортунистические советы капитану Намятову, который впервые столкнулся с подобным событием. Собственно говоря, подавить бунт 172 безоружных людей ничего не стоило. За пределами зоны была казарма, где жили с полсотни вооруженных солдат. У них были автоматы, пулеметы, которые почти всегда убедительнее уговоров. Но время, ах, это странное и неопределенное время, наступившее после смерти тирана!

На головном царило невероятное возбуждение, зона была полна неизвестных нам начальников разных рангов, по лагерю уже шли слухи, что на бронекатерах, чуть ли не на линкорах привезли усиленное подкрепление, с артиллерией дальнего калибра, что вся мятежная командировка окружена и скоро начнется ее штурм. Ожидают только московского прокурора. Действительно, скоро «броуновское движение» в зоне стало еще оживленное и по направлению к мятежной командировке потянулась целая колонна людей. И не только начальства всех сортов, но и всех бесконвойных, имеющих хоть какой-нибудь ничтожный повод двинуться к командировке. Естественно, что я был из всех не последний...

Был конец июня, и лесная дорога была прекрасная, вокруг огненно цвел иван-чай, и ничего тревожного не было в нашей довольно большой толпе. Вскоре мы подошли к бунтующей командировке. Ни орудий крупного калибра, равно как и малого калибра, ни даже пулеметов вокруг не было видно. Стояла в довольно большом отдалении цепь из солдатиков и не без интереса смотрела на происходящее. Все здания в зоне были без кирпичных труб, на вышках вместо солдат стояли черноволосые и оживленные зэки, ворота прочно заперты, но перед ними стояла группа людей — очевидно, руководителей мятежа. Среди них я узнал Антонио.

Главный прокурор в малопонятном для нас мундире с малопонятными нашивками смело пошел вперед, сопровождаемый начальством. «Пойдем!» — вдруг сказал мне Намятов... И я двинулся в этой начальственной толпе. Сначала все шло тихо, и речь шла о предъявлении полномочий. Антонио спокойно сказал, что они ждут главного прокурора из Москвы или же его заместителя. И разговаривать они будут только с ним, потому что речь идет вовсе не о внутренних делах.

— Я помощник Генерального прокурора Советского Союза,— важно произнес прокурорский чин. Он был в меру толстый, в меру важный, но мундир на нем был совершенно новенький, еще не помятый. В таком в далекую командировку не едут.

И вообще печать провинциализма лежала на этом «помощнике Генерального прокурора».

— Где вы работаете? — тихо спросил Антонио.

— То есть как где? В Генеральной прокуратуре.

— А где она находится в Москве?

— Смешно спрашивать! На Пушкинской улице, на улице имени поэта Александра Сергеевича Пушкина. А прямо напротив — подвальчик с холодным пивом. (Почти все присутствующие мечтательно облизнулись.)

— А живете вы где, гражданин помощник Генерального прокурора?

Помощник немного замялся от неожиданного вопроса.

— И живу совсем неподалеку — на улице Максима Горького. Это главная московская улица, там все главные магазины. И вообще, что вы меня об этом спрашиваете! Я коренной москвич, родился в ней, всю жизнь прожил, знаю в Москве каждый переулок, не только улицу Горького!

Мы все стояли вокруг прокурора и Антонио, предъявлявшими друг другу «верительные грамоты». Я присутствовал при очередной наглой попытке хоть в чем-то, да обмануть заключенных. Мне было совершенно ясно, что этот тип знает только улицы Соликамска, а в Москве — лишь здание прокуратуры да подвальчик с холодным пивом.

Как бы почувствовав мое состояние, Антонио ко мне слегка повернулся, и я ему тихо сказал:

— Спроси, где в Москве Хоромный тупик...

— А где, гражданин помощник Генерального прокурора, в Москве находится Хоромный тупик?

— Тупик Хоромный? Да нет в Москве такого. И вообще, нет в Москве никаких тупиков — ни хоромных, ни бесхоромных, ты мне брось тут экзамены устраивать!

И вдруг всем, от Антонио до самого последнего солдата вокруг, стало очевидно, что прокурор этот вовсе не из Москвы, что приезд его — липа...

Антонио, до того оживленный, вдруг напрягся, как струна, побелел и, подойдя вплотную к прокурору, спокойно сказал:

— Ихо дэ пута... Врешь, не из Москвы ты, и разговаривать с вами не будем!

Он резко повернулся и через мгновение вместе с товарищами был за воротами. Мы услышали скрип запираемых ворот зоны, с вышек испанцы кричали по-русски и по-испански почти одинаково звучащие слова, растерянный прокурор пошел к казарме — главному штабу осады мятежной командировки.

И в это время ко мне подбежал нарядчик:

— Разгон, быстро, немедленно мотай в зону, прямо в УРЧ — в учетно-распределительную часть.

...Они что — слышали? И кто доложил? И почему в УРЧ? Но когда вызывают в УРЧ, то не задают вопросов и не задерживаются. Я, запыхавшись, вбежал в контору и открыл дверь в УРЧ.

Начальника не было, он находился в зоне действий у мятежной командировки, но лицо старшего нарядчика было совершенно расплывшимся.

— Разгон, тебе что сегодня снилось?

— Да ладно тебе, некогда мне с тобой шутками заниматься!

— Ничего себе шуточки! Свобода тебе! Понимаешь — свобода!

Из писем я знал, что мои близкие подали во все инстанции заявления, даже наняли адвоката, чтобы он поехал в Ставрополь, где меня в последний раз судили. Но чтобы так, сразу! И неужто можно этим шутить!

— Ну, давай быстро в КВЧ к одноному!

Значит, серьезно! Одноногий инспектор КВЧ делал фотографии для тех, кто шел на освобождение.

Признаюсь, эта новость выбила у меня из головы все на свете, включая даже взбунтовавшуюся командировку. И спать не мог. И даже не расспрашивал о том, как идут дела там, у бунтовщиков.

Утром второго июля меня вызвал Намятов. Он сидел за столом, от бессонной ночи помятый, без своей обычной уверенности. На столе у него лежали мои документы, и среди них я узнал заветную «Справку об освобождении», к углу которой была приклеена маленькая фотография с моей недоумевающей и абсолютно уголовной физиономией.

— Освобождаетесь за прекращением дела. Можете ехать куда хотите. А зачем вам ехать? И тут люди живут!

В каком-то другом рассказе я говорил, что я ему ответил.

— А как там, на командировке, гражданин капитан? (Сказать ему «товарищ капитан» я бы не смог даже под дулом пистолета!).

— Ничего, обрааем! Они думают, что из Москвы им свободу привезут! Вот придет из Москвы прокурор, он им всем дополнительные сроки навешает. Срока им, хуанам проклятым, а не зачеты! Через час моторка в Бондюг уходит. Собирайтесь, поедете с ней.

Через час несколько человек бесконвойных и вольных усаживали меня в лодку.

— Ну, как там, у испанцев? — очнулся я.

— По-прежнему, — ответил начальник плановой части. — Сидят в осаде, потребовали, чтобы им сухой паек дали. И дали. Ждут из Москвы настоящего прокурора.

— А тот был липовый?

— Ну конечно. Это ж наш был, из Соликамска. Как они его

так быстро раскололи? Ну, теперь с ними будет москвич мучиться. Оказывается, тут целый международный вопрос!

Лодка была загружена до самого уреза воды. Кроме меня еще два окончивших срока блатника, почтальонша, завхоз, еще кто-то. Как бы мотор не заел!

Мотор не заел, и мы пустились вниз по Каме. Был солнечный прекрасный день 2-го июля. Я сидел и все не мог себе представить, что буду в Москве. Буду в Москве проходить мимо милиционера и не бояться его.

Неподалеку от Бондюга нам навстречу взревел, разрезая воду, полуглиссер самого начальника лагеря.

— Прокурор из Москвы едет, — сказал всезнающий завхоз. — Ночью из Москвы на самолете прилетел. Его-то они, эти испанцы добывались. Да чего другого добьются?

Так я тогда этого не узнал.

Теперь-то я знаю, что они все же — во всяком случае, большинство из них — добились своего. Добились родины. И живут в городах или деревнях своей Испании и иногда, по вечерам, в прохладной таверне — или как там еще называется забегаловка — рассказывают о том, как бунтовали они в далекой тайге в верховьях русской реки Камы.

Да, я иногда об этом вспоминаю. Никого бы из них, конечно, не узнал. Кроме Антонио. Вот его бы узнал! Даже постаревшего, почти неузнаваемого — но узнал бы, встретившись с ним на какой-нибудь испанской улице.

Так ведь не встретимся...

В. Буковский *

ИЗ КНИГИ «И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»

Днем и ночью, без перебоя, идут этапы на восток. Пересылки забиты до отказа — по 60—80 человек в камере. Спят и на нарах, и под нарами, и просто на полу, рядами, и даже на столе. Дохнуть нечем. Вагоны набивают так, что дверь не закроешь — конвойные сапогами утрамбовывают. Матери с грудными детьми, беззубые старухи, подростки, инвалиды, угрюмые мужики, бесшабашные парни... И на каждого — «дело» в коричневом конверте. Сверху и фотография, и биография, а то как разобьются конвою?

* Владимир Константинович Буковский, 1942 г. р., правозащитник, писатель, биолог. Автор книг «И возвращается ветер...» (1978), «Письма русского путешественника» (1981). Был узником колонии «Пермь-35». В 1976 г. обменен на Луиса Корвалана и прямо из лагеря увезен в Москву и отправлен в Швейцарию.

- Фамилия?
- Имя-отчество?
- Статья?
- Срок? Проходи!
- Фамилия?
- Имя-отчество?
- Статья?
- Срок?

Шалеешь после тюремного однообразия. Точно вся страна двинулась. Братцы! Да остался ли кто-нибудь на воле или уж всех переловили? Крик, ругань, топот, истощный детский плач, а где-то уже подрались.

— Быстрее, быстрее! — торопит конвой.

Кто с узелком, с мешком, с облезлым чемоданом, а у кого только казенная селедка торчит прямо из кармана да хлебушек в руках. И в путь!

— Кудааа, кудааа... — орет протяжно паровоз.

— На восто-о-о-ок! — протяжно отвечает другой. — Ты селедочкой-то не пренебрегай, землячок. Хоть и ржавая, и вонючая, а другой тебе не дадут. Путь долгий — сжуешь. За двое суток все вокруг пропитается этой селедкой, все перемажется. Воды потом не добьешься — где же конвою успеть напоить такую ораву? До исступления дойдешь, до хрипоты. Ну а напившись, не допросишься в туалет. И все-таки припрячь селедочку-то, хоть в карман засунь. Послушай старого зэка. К вечеру, когда все уляжется, уймется ребенок, затихнет перебранка, а в соседнем отсеке бабы затянут жалостную песню, ты ее сжуешь за милую душу вместе с костями. Плевать, что весь перемазался, — все-таки попало кое-что в брюхо. Можно и подремать немного.

Старого зэка всегда отличишь. Пока вы там разбирались да в дверях мешкали, он себе занял лучшее место — полочку справа, на втором этаже, откуда можно даже на волю поглядеть, если удастся уговорить начальника приоткрыть окошко в коридоре. И узелок у него небольшой — словно в банку собрался, а все там есть, что в дороге нужно. Какая-нибудь рубашечка или свитерок — толкнуть конвою за пачку чаю, и пожевать немного, и покурить. Где-нибудь зазначена «моечка», небольшой ножичек, мундштучок наборный, лагерной работы, — это тоже чтоб толкнуть какому-нибудь дикарю в погонах. Есть и чистая кружка — туберкулезных хоть и везут отдельно, а кружка-то на всех одна. Деньжата тоже есть, только не найдешь, сколько ни шмонай.

И ничем ты его не выманишь теперь, не растревожишь — что толку в пустых разговорах? Разве вот только чаю добудешь. И пока ребята помоложе приспособятся варить этот чай на чистом, свернутом в трубочку полотенце, а другие станут к дверям — прикроют их от конвоя, — он не спеша начнет травить

бывальщину, только слушай. Главные же истории — впереди, когда идет кружечка по кругу.

Иной раз и не поймешь, куда клонит. Целую новеллу или философский трактат сочинит, чтобы в самый напряженный момент сказать невзначай:

— Давай-ка закурим, землячок.

К слову пришлось. Есть целый набор признаков, по которым безошибочно определишь настоящего зэка. Во-первых, он всегда сидит ни за что. Так, за халатность: корову украл, а теленка оставил. Во-вторых, у него всегда есть какая-нибудь хроническая, неизлечимая болезнь. Грыжа, например. Хорошая болезнь — целое состояние, и умный зэк свою болезнь лелеет, бережет про запас. На тот случай, когда уж так прижмут, что хоть в побег иди. Кто поглупее — руки ломает или пальцы рубит, а запасливый зэк — в санчасть.

— Так и так, гражданин начальник. Грыжа у меня — не могу работать.

Иногда ведь неделя канту — год жизни.

Потом обязательно должна быть у порядочного зэка застарелая тяжба с начальством — какие-нибудь недоплаченные деньги, недовыданные сапоги или зажиленная посылка. Годами будет он писать нудные жалобы, перебираясь по инстанциям все выше и выше. Тяжба обрастает бумагами, решениями, указаниями, и под конец уже никто не помнит, в чем дело. Но только прижмет его начальник покруче — пошла писать губерния! Без конца и начала, без точек, запятых и прочих знаков препинания — в одну непрерывную фразу вся жалоба. И что сидит ни за что уже 17 лет, и что болезнь тяжелая, а начальство не лечит — на вредную работу гонит, и что сапоги зажилили... Но легче всего определить настоящего зэка, если вдруг задел его кто-нибудь, — такого виртуозного, фантастического мата, с переливами, завитушками и причудливыми коленцами, ни от кого больше не услышишь. Все затихают и почтительно прислушиваются. Новички — с завистью, знатоки — с одобрением. По этой мелодии знающий человек сразу определит всю его тюремную биографию.

— Да ты, браток, колымский, что ли?

А уж если повезло — удалось купить у конвойного водки или хоть тройного одеколона, так и спать не захочешь. Совсем иные пойдут истории — жаль только, записать нельзя. И срок начинает казаться не слишком длинным, и жизнь хороша, и посадили правильно...

Стучат колеса, швыряет вагон на стрелках, грустно поют бабы да ходит взад-вперед по коридору конвойный, поглядывает сквозь решетку на зэков.

— На восто-о-о-ок! — вопит паровоз.

Куда же нас тащат? В Коми, в Тюмень, Киров или Пермь?
А, какая разница!

Мой адрес — не дом и не улица,
Мой адрес — Советский Союз.

На запад же идут вагоны совсем пустые — незачем везти нас на запад...

* * *

Странно мне было оказаться вдруг среди людей, которых я давно знал заочно. Словно на тот свет попал. Ведь вся информация об арестах, судах и обстоятельствах дела проходила через мои руки. После приходили от них известия из лагерей — протесты, заявления и голодовки. Только увидеться не приходилось, и теперь я с любопытством их разглядывал.

Вот «самолетчики» — осужденные по ленинградскому «самолетному делу». Бог мой, как давно это было!

В тот сумасшедший, лютый декабрь 70-го, когда власти полностью перекрыли все контакты с Ленинградом, отключили телефоны, снимали с поездов, только одному Вовке Тельникову удалось прорваться в Москву с текстом приговора и стенограммы суда. Потом — безумная гонка по Москве: проходные дворы, подъезды, метро, машины... Нам все-таки удалось тогда уйти от чекистов, и где-то у Пушкинской площади, в квартире одного моего приятеля, мы лихорадочно перепечатывали текст. Ночью мне еще предстояло прорваться к корреспондентам.

30 декабря был день моего рождения — первый раз за много лет я встречал его на воле. И весь этот день проторчали мы у Верховного Суда, ожидая результатов кассационного слушанья «самолетного дела». Только поздно вечером вышел Сахаров — сообщил об отмене смертной казни.

— Вам-то что! — смеюсь я. — Погорели со своим самолетом и отсиживаетесь теперь. А сколько нам всем хлопот устроили!

Украинцы — Светличный, Антонюк, Калинец — сели позже меня, но я знал их по самиздату.

А это кто такой тощий, словно жертва Освенцима? Иосиф Мешенер? Как же, помню. Два школьных учителя из Молдавии — Сусленский и Мешенер, 7 и 6 лет за протест против вторжения в Чехословакию.

Павленков — это по горьковскому делу, университетский самиздат. Гаврилов — дело офицеров-подводников Балтийского флота, тоже самиздат. Да тут живая «Хроника текущих событий»!

— Братцы! А чай у вас в зоне пьют?

— Еще как!

— Ну, так пошли, заварим.

До моего ареста все политические лагеря находились в Мордовии. Практически Мордовия вся была перегорожена колючей проволокой. Даже по официальной переписи населения вышло в Мордовии больше мужчин, чем женщин, хотя в большей части страны наоборот. Политические лагеря существовали там чуть не с самого начала советской власти. Сперва — Темники, потом — Дубровлаг, теперь — Явас, Потьма, Барашево. Посчитать невозможно, сколько там погибло людей, и если копают землю — непременно натыкаются на человеческие кости. Рассказывали, что только один досидел с тех еще времен до наших дней — матрос, участник Кронштадтского мятежа. Глубокий старик, большой и неразговорчивый, он бродил по зоне враскачку, как по палубе крейсера в штормовую погоду.

Конечно, столь длительное соседство лагерей не прошло бесследно для местных жителей. Несколько поколений их работало надзирателями, передавая место от отца к сыну. На лагерь привыкли смотреть как на кормушку. За пойманного беглеца — мешок муки.

— Папа, у вас сегодня был шмон? — спрашивал сынишка отца. — Ты мне принес что-нибудь?

Со временем коммерческие отношения между эзками и надзирателями зашли так далеко, что за деньги стало возможно сделать буквально все. Протесты, заявления, сообщения о голодовках и произволе свободно проходили на волю. В 70-м году до нас дошла даже магнитофонная пленка с записью выступления Гинзбурга.

Власти заволновались, и летом 1972-го наиболее «опасных» политзаключенных отправили спецэтапом в Пермскую область, подальше от Москвы. Операция эта была окружена строжайшей тайной. Чтобы эзки не ухитрились как-нибудь передать на волю сведения о своем маршруте, окна вагонов задраили наглухо. Стояла невероятная жара лета 1972 года, когда леса горели, а торфяники загорались сами собой, — удушливый дым висел над страной. Цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки. Люди задыхались, теряли сознание, один заключенный умер.

В Пермской области сделали два новых лагеря — 35-й и 36-й (позднее еще и третий, 37-й). Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтоб служили вернее, и очень тяжелый северный климат.

Я попал сразу в Пермскую область, в 35-й лагерь, около станции Всесвятская. Первый год после суда я досиживал во Владимирской тюрьме — по приговору мне полагалось два года тюрьмы, пять лет лагерей и пять — ссылки. К весне 1973-го,

когда мне предстояло ехать в лагерь, «пермский эксперимент» уже завершился, и в Мордовию я не попал.

Лагерь наш был небольшой — человек 300—350, и большую часть населения, как и в других политлагерях, составляли «старики», украинцы, литовцы — участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда и не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал — понять трудно. И представления о жизни, и традиции, и привычки сохранились у них прежние, каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают — даже в лагере, за пайку хлеба,— старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд — вопреки всему. На воле так больше никто не работает — отучила советская власть. У нас говорили в шутку, что любой из этих «старичков» заменит три станка, если свет перегорит.

Лагерь как-то консервирует человека. Седеют волосы, выпадают зубы, лица покрываются морщинами, а внутренне человек не становится старше, солиднее. Дико было видеть, как эти 55-летние мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока, и только сил уже не было, чтобы побегать взапуски. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по двадцать. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств.

По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами — играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился.

Это были остатки целиком загубленного поколения — в одной Литве «освободители» репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет велся на миллионы.

Им трудно было понять нас, увидеть смысл наших действий. Они все еще жили психологией 40-х годов — партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках, то какой смысл писать бумажки? А для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо: они же не признавали эти власти законными.

Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионасом Матузевичюсом. Он сам ушел к «лесным братьям» в начале 50-х годов, когда все уже было проиграно — борьба безнадежна. Может быть, оттого он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его

приволокли искромсанного пулями и буквально собрали по частям: он был нужен живым, чтобы пытать потом. Поражало меня, как он после всего этого плюс почти 25 лет лагерей сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это, но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверно, у него это было от крайнего, абсолютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу за десять дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило. Ионас же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал.

— Ионас,— говорили ему укоризненно,— что же ты делаешь? Это же на десять дней!

— А, черт с ним,— говорил Ионас,— вдруг завтра помру? Пусть хоть врагу не достанется.

Однажды мы работали с Иосифом Мешенером, разгребали какой-то хлам у котельной и вдруг нашли старый стоптанный кирзовый сапог — мало ли их валялось вокруг. Но тут мне в голову пришла шальная идея. Я пошел к ребятам, мешавшим бетон, и залил внутрь сапога жидкий раствор. Потом, когда раствор застыл, мы осторожно срезали сапог ножом. Получилась точная цементная отливка. Затем нашли круглый большой камень, кусок колючей проволоки и стали мастерить памятник кирзовому сапогу. Все приняли живейшее участие в этой затее. На камне из раствора сделали что-то наподобие карты мира, проволоку засунули одним концом под сапог и оставшуюся часть обмотали вокруг голенища. Все это хозяйство застыло, и мы собирались торжественно открыть памятник, произносить по очереди шутивно патетические речи и т. п. Ведь кирзовый сапог — это не только сапог надзирателя, охранника, солдата, но и сапог заключенного. На открытие позвали украинцев, литовцев, вообще всех желающих.

Но ничего не вышло — не получилось веселья. Никто как-то не решился рта раскрыть. Грустно постояли мы вокруг этого сапога и разошлись. Потом его нашли надзиратели и долго ломали — он успел здорово затвердеть.

Никто из этих мужиков и в глаза не видел своего приговора. Им просто объявили тогда: двадцать пять — и делу конец.

Впрочем, редко кому выдают приговор на руки даже теперь. Обычно дают только прочитать, а затем отбирают. Считается, что приговор «секретный», хотя советскими законами такого опять-таки не предусмотрено. (Практически приговор на руки получали только те, чье дело достаточно широко освещалось в самиздате или в зарубежной прессе.) Поэтому одной из наших задач в лагере было добыть и отправить на волю копии таких приговоров.

До последнего ареста я сам был немного дезинформирован — считал, что в наше время практически уже нет «случайных» политических дел, то есть таких, когда осужденный до ареста и не подозревал, что может попасть за свои действия в тюрьму. Теперь, думаю я, политические репрессии направлены только на участников движения за права человека, различных национальных и религиозных движений, то есть на людей, которые хотя и не совершили никакого преступления, но сознают, что в условиях тоталитарного произвола они в любой момент могут быть арестованы. Однако я оказался не прав. Процент «случайных» дел достаточно высок.

Прежде всего к ним нужно отнести жалобщиков и анонимщиков. Часто человек, возмущенный какой-нибудь несправедливостью, начинает писать жалобы в высокие инстанции и искренно считает, что таким путем можно исправить зло. Получая наглые ответы, человек постепенно начинает обобщать результаты, его жалобы принимают характер обвинений, тут его вызывает КГБ, и, если он не поддается запугиваниям, его сажают.

Например, в 1976 году сидел со мной во Владимирской тюрьме врач-стоматолог Айрапетов из Баку, армянин лет 47. Обнаружив у себя на работе хищения и взяточничество, он стал писать в ЦК, но ничего не добился и постепенно пришел к выводу, что ЦК умышленно покрывает коррупцию. Он несколько раз писал Брежневу, разоблачая махинации крупных властей в Азербайджане, и в конце концов был арестован. В КГБ раскаиваться отказался и был осужден на 3 года тюрьмы и 4 — лагеря за антисоветскую агитацию. Он никак не мог понять своей вины.

— Кого же я агитировал? — спрашивал он на суде. — Брежнева, что ли?

— Знаете, — отвечали ему, — у Брежнева много секретарей, помощников, референтов, вот их-то вы и агитировали.

Другие люди понимают, что за жалобы могут быть неприятности по службе, трения с начальством, и пишут анонимно. Однако арест и для них неожиданность.

Любопытную категорию составляют люди, осужденные за надписи на избирательных бюллетенях. Голосование у нас, по закону, тайное, и никто не вправе выяснять, кто как проголосовал и кто какой бюллетень опустил. Более того, существует специальная статья в Уголовном кодексе, предусматривающая лишение свободы для должностных лиц, нарушивших тайну голосования. Это, однако, не мешает КГБ сажать в тюрьму людей, делающих надписи на бюллетенях.

Меня очень интересовали такие случаи — признаться, я не очень верил, что дело обстояло именно так, как рассказывали пострадавшие. Уж это заливают, казалось мне. Наконец по одному такому делу мне удалось достать приговор, когда я был в

Пермском лагере. Приговор считался секретным, и стоило большого труда добыть его на полчаса, чтобы скопировать. Попросту говоря, мы его украли из спецчасти, сделали копию и передали на волю. Вот он:

ПРИГОВОР

Дело № 6-74

Секретно

Именем Украинской Советской Социалистической Республики от 15 июня 1971 г. Ворошиловградский облсуд в составе: председательствующего ЯРЕСЬКО В. А., народных заседателей БАРАНОВОЙ К. А., ДРОЖЖИНОЙ М. Ф., при секретаре ГОЛУБИЧЕЙ Т. М., с участием прокурора ЗИМАРИНА В. И. и с участием адвоката СОКОЛИКОВОЙ Н. М., рассмотрев в закрытом судебном заседании в г. Ворошиловграде дело по обвинению ЧЕКАЛИНА Александра Николаевича, рождения 19.12.1938, уроженца Слюд-Рудник Удеренского района Красноярского края, русского, гражданина СССР, беспартийного, образование 10 кл., ранее не судимого, женатого, имеющего на иждивении сына, рожденного в 1962 г., проживающего в г. Лисичанске Ворошиловградской обл., ул. Карла Маркса, 136/5, работавшего слесарем-монтажником на Лисичанском заводе «Строймашина», содержащегося под стражей с 27 мая 1971 года, преданного суду по ст. 62 ч. 1 УК УССР, установил:

14 июня 1970 г., во время выборов, подсудимый ЧЕКАЛИН А. Н. на избирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза и Совет Национальностей по Лисичанскому округу № 440 учинил антисоветские надписи, призывающие к свержению Советской власти, а также возводящие заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, совершив тем самым преступление, предусмотренное ст. 62 ч. 1 УК УССР. Подсудимый ЧЕКАЛИН свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал и пояснил, что в день выборов пошел на избирательный участок, после получения бюллетеней сделал надписи антисоветского содержания, возводящие клевету на советскую выборную систему; его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетеля ВЕРЕТЕННИКОВА Н. И., который во время выборов был зам. председателя участковой избирательной комиссии, и при подсчете голосов он увидел два бюллетеня с антисоветскими надписями. Он пояснил, что эти надписи он воспринял как призыв к свержению Советской власти и как клевету на нашу избирательную систему. Свидетель ЧЕКАЛИНА Е. Р., жена подсудимого, пояснила, что после дня выборов ей муж говорил об учинении им надписей антисоветского содержания; она также пояснила, что муж слушал передачи зарубежных радиостанций, в частности, он слушал «Голос Америки». Свидетель ЖИТНЫЙ В. Д., бригадир бригады, в которой работал подсудимый, пояснил суду, что ЧЕКАЛИН возмущался существующими в нашей стране порядками, высказывал желание уехать из нашей страны. Из показаний свидетеля ЧЕРНИКОВА С. П. видно, что ЧЕКАЛИН в его присутствии допустил оскорбительные выражения в адрес коммунистов. Подсудимый не отрицал, что он возмущался порядками, существующими в нашей стране, высказывал желание уехать в другую страну, периодически слушал передачи зарубежных радиостанций и в своих записях на бюллетенях воспроизвел частично слова из прослушанных передач ра-

диостанций. Вина подсудимого доказывается анализом вещественных доказательств, на которых, как это усматривается из заключения криминалистической экспертизы, надписи исполнены одним лицом — ЧЕКАЛИНЫМ.

Учиняя такие надписи на бюллетенях, подсудимый понимал, что он распространяет антисоветские идеи, ибо надписи на бюллетенях были прочитаны при подсчете голосов, и он желал того, чтобы они были прочитаны. Он действовал с прямым умыслом при распространении клеветнических измышлений на нашу избирательную систему, этого он не отрицал и сам, следовательно, указанное преступление он совершил с прямым умыслом, следуя антисоветские цели, о чем свидетельствуют вышеуказанные обстоятельства. Само содержание надписей на бюллетенях свидетельствует, что ЧЕКАЛИН имел антисоветскую цель в пропаганде своих идей. Его доводы о том, что он совершил это преступление из-за обиды на администрацию цеха в связи с непредоставлением ему отпуска в летнее время, являются необоснованными. За непосещение профсоюзных собраний от 12.03.70 он цеховым профсобранием был лишен права идти в отпуск летом. Преступление он совершил 14 июня 1970 г. К тому же никаких мер к обжалованию решения собрания он не принимал, а в своих первоначальных объяснениях о причине совершения преступления ссылался на указанные обстоятельства. При наличии таких доказательств областной суд считает, что вина подсудимого ЧЕКАЛИНА в антисоветской агитации нашла полное подтверждение, его преступные действия по ст. 62 ч. 1 квалифицированы правильно.

Решая вопрос о мере наказания, областной суд учитывает, что ЧЕКАЛИН совершил особо опасное государственное преступление, занимался общественно полезным трудом, имеет на иждивении ребенка, свою вину признал, раскаялся. Наказание он должен отбывать в ИТК строгого режима, учитывая содеянное им и данные об его личности, областной суд считает, что дополнительное наказание в виде ссылки применять нецелесообразно. Руководствуясь требованием статей 323, 324 УПК УССР, областной суд приговорил:

Признать виновным ЧЕКАЛИНА А. Н. по ст. 62 ч. 1 УК УССР и подвергнуть его наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без ссылки с отбытием наказания в ИТК строгого режима. Засчитать в счет отбытия наказания нахождение ЧЕКАЛИНА А. Н. под стражей с 27 мая 1971, меру пресечения оставить без изменения — содержание под стражей. Взыскать с ЧЕКАЛИНА в доход государства 11 руб. 88 коп. как судебные издержки. Вещественные доказательства — бюллетени — оставить при деле. Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР в течение 7 суток после его провозглашения, осужденным — в такой же срок после получения им копии приговора.

Председательствующий (подпись)
Народные заседатели (подписи)

Чекалин сидел потом с нами и во Владимире, освобожден в мае 1976-го по концу срока. Он почти совсем оглох за время заключения, так как у него было тяжелое, прогрессирующее заболевание ушей, а никакого лечения он, разумеется, не получал.

Совершенно анекдотическое дело было у В. Богданова, с которым я встретился в Пермском лагере. Он работал в подмосковном городе Электросталь рабочим на секретном предприятии по обогащению урановой руды. Несколько лет ютился в одной комнатухе с матерью и женой, обошел все инстанции, обил все пороги, но квартиру получить не мог. Тогда, обозлившись, он упер с работы секретную радиоактивную деталь — судя по описаниям, какой-то плутониевый стержень для уранового котла. Он ожидал, что охрана хватится пропажи, разразится скандал и тогда он вытребует себе квартиру в обмен на этот стержень. Но никто даже ухом не повел, словно ничего и не пропало. Месяца три этот стержень лежал у него дома под кроватью. Потом, выпив как-то с приятелями, он решил свезти стержень прямо министру среднего машиностроения.

Ехали через всю Москву — стержень везли под пальто. Дорогой еще выпили, и в министерство приехали сильно навеселе. Внутри их не впустила охрана. И сколько ни скандалили, никто из чиновников министерства их не принял. С расстройства зашли в магазин, добавили еще, потом еще. Несколько раз теряли они свой плутониевый стержень: то в сквере забыли на лавочке, то в магазине. Наконец решили продать его какому-нибудь иностранцу — деталь-то все-таки секретная. По представлениям советского человека, каждый иностранец — шпион, так и норовит разведать советские секреты. Долго искали в центре подходящего иностранца и наконец где-то у «Метрополя» наткнулись на американца. Как они объяснялись с этим американцем, Богданов уже не помнил, был сильно пьян. Помнил только, что американец страшно испугался, ударился в бег, и они долго преследовали его, пока не потеряли в толпе. Дальше, уже с отчаяния, пытались всучить секретный стержень какому-то поляку. И просили-то недорого — всего на бутылку, да тот не взял. После поляка пили пиво и совсем захмелели. Цена на стержень упала до одной кружки. Последующих событий Богданов абсолютно не помнил: как приехали в Электросталь, как добрались до дома, а главное, куда девался проклятый стержень — все стерлось из памяти.

Приятеля, однако, не успели утром проснуться, как побежали в КГБ. С большим трудом, уже в Лефортово, под следствием, вспомнил он, куда спрятал проклятый стержень, и признался следователю. В 1968 году дали Богданову 10 лет за измену Родине. Так и сидит до сих пор.

Наверно, к «случайным» делам нужно отнести и дело Николая Александровича Будулак-Шарыгина. Пятнадцатилетним парнишкой вывезли его немцы с Украины в начале войны в Германию, там он учился, работал, а при оккупации Германии союзниками оказался в английской зоне. Затем уехал в Англию,

прожил там двадцать лет, завершил образование, женился и последнее время работал представителем крупной лондонской фирмы электронного оборудования. По делам этой фирмы был послан в Москву заключать торговые сделки. Вел переговоры с Комитетом по координации науки и техники при Совете Министров СССР, с Министерством электронной промышленности, но вдруг, в самый разгар переговоров, был арестован. В КГБ из него долго надеялись сделать своего шпиона, то запугивали, то обещали золотые горы, но Николай Александрович не сдался. Дело приняло скверный оборот — как его теперь выпускать? Сообщения об этом странном аресте уже появились в английской печати. Но и посадить не за что. Как рассказывал сам Будулак-Шарыгин, вопрос решил в его присутствии лично Андропов. Долго разглядывал паспорт, прочие документы.

— Что вы все твердите: англичанин, англичанин... Родился-то он у нас, в СССР,— сказал Андропов своим помощникам, тыча пальцем в паспорт Шарыгина.— Ничего, английская королева нам войны из-за него не объявит.

Приговорили Шарыгина в том же 68-м году к тем же десяти годам, и тоже за измену родине — за то, что не вернулся после войны домой. Приговора, конечно, на руки не дали — «секретный».

Но еще более фантастическое дело встретили мы в 1974 году во Владимирской тюрьме. Привезли к нам самого настоящего китайца, по имени Ма Хун. Запуганный, всех боится, по-русски почти не говорит, но паренек шустрый, запасливый. В незнакомой стране, на новом месте, в тюрьме, а уже успел как-то в первый же день лишнюю матрасовку спереть. Так и заявился к нам с двумя матрасовками. Пообвык он у нас немного, пооттаял. Спрашивают его ребята:

— Ну как, Ма Хун, нравится тебе здесь?

— Каласо,— говорит,— очень каласо.

— Да что же хорошего? Здесь тюрьма, голод.

— Какой голод? — удивился Ма Хун и показывает пальцем на мух, летающих по камере. Дескать, был бы настоящий голод — этой дичи давно бы уже не водилось. Ребят аж в дрожь бросило: что же они, бедные, там у себя в Китае голодом называют?

Со временем рассказал Ма Хун про китайский голод, когда всю листву с деревьев съели, всю траву. Хоть сто километров иди — жука навозного не встретишь.

Настоящее имя его было не Ма Хун, а Юй Шилин. Родился он в 1941 году в провинции Ань-Хуй, в семье чиновника. А через несколько лет, при наступлении коммунистической армии, отец бежал на Тайвань. Семья осталась без средств, более того — постоянно преследовалась за свое непролетарское про-

исхождение. Чем больше он рассказывал про Китай, тем больше вспоминали мы 20—30-е годы, так называемый «сталинизм». Только, пожалуй, покруче было в Китае. Еще больше жестокости, цинизма, лицемерия. Не нужно было там Соловков — неугодных просто убивали. Например, всех китайских добровольцев, попавших в плен в Корею и возвращенных американцами, истребили поголовно. Да разве только их? И «классово чуждых», и «вредителей», и «оппортунистов». Конечно же, в первую очередь интеллигенцию. Остальных загнали в госхозы и коммуны — перевоспитываться трудом.

В армию его не взяли — не то происхождение. А не отслужив в армии, нельзя, оказывается, в Китае ни учебу продолжать, ни получить сносную работу. Даже чтобы стать трактористом, нужно сперва пройти армию. В военизированном госхозе, вблизи советской границы, куда его загнали работать, он был пастухом. Мать умерла — его даже на похороны не пустили: без специального разрешения нельзя ездить в Китае. Остался один младший братишка, и где он — неизвестно.

В разгар «культурной революции» был момент: многие такие, как он, поверили, что удастся свести счеты с властями. Да недолго это продолжалось. Подошла армия. Спасаясь от верной смерти, он в 1968-м бежал через границу в СССР. Принес с собой единственное свое достояние — радиоприемник. В Китае это большая ценность.

Здесь, в Советском Союзе, его сначала арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы. Но это формально. Фактически же грозили выдать обратно в Китай, если не согласится стать советским шпионом. Таких случаев было много, и китайские пограничники всегда расстреливали беглецов прямо на месте, как только их выдавали. Выбора не было. согласишься — пошлют в Китай шпионить. Не согласишься — выдают. Так и так смерть. Он отказался.

Когда шпиона из него не вышло, предложили последний шанс — вступить в тайную организацию китайских беженцев на советской территории. Видимо, КГБ мыслил это себе как зачаток будущей китайской «народно-освободительной армии». Вот тут-то он и стал Ма Хуном — его заставили сменить фамилию.

Он получил вид на жительство, устроился на завод, работал слесарем. Как лицо без гражданства, он не мог ездить по стране, но советская жизнь все равно казалась ему раем: за работу платили деньги, на которые можно было купить продукты, одежду, и все это без ограничений. Не то что в Китае — девять метров ткани в год на человека. А к лицемерию он привык. Советское лицемерие казалось ему детской игрой по сравнению с китайским.

Когда-то в детстве учили его играть на скрипке, и всю жизнь потом вспоминал он это время, словно сказку. Скрипка была для него символом благополучия. Не удивительно, что теперь он купил ее. Вечерами он иногда играл, но чаще слушал свой радиоприемник. Ловил Японию, Тайвань и даже Австралию.

Однажды он услышал в передаче из Австралии объявление. Сообщалось, что существует центр, помогающий китайцам найти своих потерянных родственников, и Ма Хун написал им с просьбой найти своего отца на Тайване. Тут его и арестовали.

Следствие продолжалось почти два года. Обвиняли Ма Хуна в шпионаже. Будто бы он с этой целью и пришел в СССР по заданию китайской разведки. Несколько раз проводили экспертизу его приемника — нет ли там внутри передатчика? Разобрали по винтику — не нашли. Взялись за скрипку. Зачем китайцу скрипка? Подозрительно. Разломали в щепки — и тоже ничего не нашли. Принялись за Ма Хуна.

— Признаешься — получишь пять лет. Не признаешься — десять.

Таких, которые «признались», в Алма-Атинском следственном изоляторе было много. Некоторые даже получили за шпионаж всего два-три года и работали в хозобслуге. Из них-то следствие и набрало свидетелей против Ма Хуна. Свидетели эти показывали, что видели Ма Хуна в своих разведшколах и был он там большим начальником.

30 ноября 1973 года военный трибунал Среднеазиатского военного округа приговорил его к пятнадцати годам (по 5 лет тюрьмы, лагеря и ссылки) и к конфискации имущества — за «покушение на шпионаж». Виновным он себя так и не признал.

Все мы очень привязались к Ма Хуну, помогали учить русский, расспрашивали про Китай. Вся тюрьма знала его, и даже уголовники, проходя на прогулку мимо наших дверей, заглядывали в глазок:

— Ну, где там ваш китаец?

Учился Ма Хун упорно, от подъема до отбоя, и через полгода говорил по-русски вполне прилично. Только вот никак не мог привыкнуть к нашим согласным — не получались у него «б», «г», «д», и вместо «работа» говорил всегда «на рапота». Без предлога он это слово и представить себе не мог, так его жизнь приучила.

Вместе с нами держал он голодовки и сидел на пониженном питании. На Новый год мы с ним сделали елку из зеленых обложек ученических тетрадей — иголкой вырезали хвойные лапы. А он еще сделал китайский фонарик — сплел каркас из веника и оклеил бумагой. Только в Китае этот фонарик, оказывается, не называют «китайским».

Ма Хун рассказывал, что жители каждой китайской провин-

ции отличаются какой-нибудь чертой характера. В одной провинции — все драчуны, забияки, хунхузы, в другой — коммерсанты, в третьей — уж такие подлецы, что никто с ними дела не имеет.

— А твоя провинция, чем она знаменита? — спрашивали его.

Долго он хитрил, уклонялся от ответа, стеснялся, потом все-таки признался:

— Упрямством.

Не знали, видно, в КГБ таких тонкостей, а то бы не стали связываться. Этим-то, наверное, и был он нам близок, ведь мы все немножечко из провинции Ань-Хуй.

Самый наш лучший специалист по жалобам, Михаил Янович Макаренко, написал ему жалобу на приговор, и Ма Хун с утра до ночи переписывал ее вместо упражнений по русскому языку. Больше полугода рассылал во все концы, во все инстанции. Одновременно мы грозили кагэбистам предать дело Ма Хуна гласности, если приговор не отменят.

Наконец что-то лопнуло — Ма Хуна увезли на переследование. Китайцы-свидетели признались, что давали показания под давлением КГБ. Но освободили его только еще через год — 9 августа 1976-го. Посадить-то легко — освободить трудно.

Да мало ли «случайных» дел встречал я за эти годы! В сущности, любое дело «случайно» — игра случая. «Неслучайными» были только полицаи, военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Они были запланированными.

Отдел борьбы с военными преступниками когда-то после войны был чуть ли не основным в КГБ. Полстраны тогда числилось в военных преступниках: все, кто побывал в плену, в оккупации. Иногда целые народы.

Но прошло тридцать лет. Сгинули по лагерям почти все, кто видел вблизи живого немецкого солдата, и оказался отдел на грани гибели — в любой момент его могли закрыть за ненужностью. Тут-то и оказались полицаи на вес золота. Сажать их не торопились, а просто брали на учет — пусть живут и пасутся до поры, до времени. Изредка вызовут одного-другого в КГБ, побеседуют и отпустят. Не подошла еще очередь.

Показательные процессы военных преступников устраивают регулярно, примерно раз в год. Много пишут в газетах, смакуют подробности, а потом приговаривают одного-двух к смертной казни, остальных — к пятнадцати годам. Каждый раз, конечно, делают вид, что только сейчас, ценой невероятных усилий, их поймали.

Такая метода устраивает и партийные власти — нужны ведь эти процессы для военно-патриотической пропаганды. Сами военные преступники безропотно ждут своей очереди, трудят-

ся, перевыполняют планы, участвуют в социалистических соревнованиях. В сущности, это самые обыкновенные советские люди — привыкшие гнуться, куда гнут. Многие из них за время войны по нескольку раз побывали у Сталина, у Гитлера, у обоих заслужили ордена, чины и часто заканчивали войну взятием Берлина. После войны сделались начальниками, председателями колхозов. Кое-кто даже в местные депутаты попал.

В лагере они все, как по волшебству, оказываются начальниками: бригадирами, активистами, «членами совета коллектива», повязочниками — словом, «ставшие на путь исправления», надежда и опора лагерного кума. Иной раз рта еще не успеешь открыть, а он уже бежит на вахту доносить. И старый, черт, еле дышит уже, а все ему нейдет. Не всех еще в жизни продал.

Любопытно, однако, бывает послушать, когда летом к вечеру сползется несколько таких ветеранов второй мировой потолковать, вспомнить молодость.

— Мы, значит, на одной стороне реки, за мостом. А они как попрут оттуда — не ждали, значит, нас. Ну, мы им тут дали жару!

— А ты у кого тогда был, дед,— вставишь невзначай,— у красных или у немцев?

— У немцев... нет, у советских. Стой, все-таки вроде у немцев... А ну тебя, не мешай! Дай досказать.

В лагере я пробыл недолго, чуть меньше года. С первых же дней началась за мной охота: почему не встаешь, когда входит начальник? почему не снимаешь шапку? почему не там встал, не здесь сел, не туда пошел? Рядом с тобой будет стоять другой — ему ничего. Тебе же наказания — лишение ларька, свидания, изолятор и т. п.

Перед тем, как этапировать в лагерь из Владимира, весной 1973-го, меня опять увезли в Москву, в Лефортово. Формально — допрашивать как свидетеля по делу Якира, фактически — уговаривать раскаяться. Все-таки мой суд и вообще дело с разоблачением психиатрических злоупотреблений имели значительный резонанс в мире. Не настолько значительный, к сожалению, чтобы остановить психиатрические расправы и принудить власти освободить меня (всемирный психиатрический конгресс в Мексике трусливо уклонился от обсуждения нашей документации), но все-таки достаточный, чтобы заставить их искать выход. Как всегда, они рассчитывали выйти из положения за наш счет. Работники КГБ в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно — не надо было судить. И готовы они сейчас исправить эту ошибку — выпустить меня. Но я, видите ли, должен им помочь — письменно покаяться, попросить помилования. Получалось совсем смешно: мы виноваты, а ты извинись.

Убедившись, что такой выход для меня неприемлем, они еще

больше снизили требования. По их словам, достаточно мне отказаться от какой-либо общественной деятельности в будущем, не говоря ни слова о прошлом или об убеждениях, — и в лагерь ехать не придется.

— Ну, если вам так не нравится слово «помиловать», напишите: «Прошу освободить».

И тут же намекали, что не станут препятствовать моему выезду за границу. А там — делай, что хочешь.

Я опять отказался. Этот вопрос я решил для себя раз и навсегда в 70-м году и больше не хотел к нему возвращаться.

Тут уже они потеряли терпение.

— Чего же вы хотите? Неужели так приятно сидеть в тюрьме?

Я объяснил, что создавшееся положение меня вполне устраивает. Сажу себе, книжечки почитываю, а в это время им на голову сыплются то протесты, то демонстрации, то резолюции. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, смогу ли доставить им столько неприятностей на воле, как самим фактом пребывания в тюрьме.

— Заметьте, я к вам на переговоры не просился. Вы меня сами привезли. Стало быть, вы больше заинтересованы освободить меня, чем я — освободиться. Впрочем, я согласен принять ваше предложение: и от деятельности отказаться, и уехать. Но прежде вы полностью откажетесь от психиатрических преследований инакомыслящих, публично осудите этот метод, освободите людей из психушек и накажете виновных. В сущности, вся моя так называемая «деятельность» состояла прежде всего в борьбе с психиатрическими злоупотреблениями. Если вы теперь от них откажетесь, мне действительно ничего больше делать не надо. И помилования не надо. Опротестуете мой приговор как положено по закону.

Это заявление их возмутило до крайности.

— Вы что, собираетесь нам диктовать? Говорить с нами «с позиции силы»? Не выйдет! Смотрите, еще сами попроситесь. Путь для помилования вам всегда открыт. Думайте, размышляйте. А мы вам поможем не забыть о нашем предложении.

С таким напутствием я и уехал в лагерь. Последняя фраза звучала довольно зловеще, обещала мало приятного.

В лагере же и помимо этого обстановка была напряженная. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ — администрация только исполняла их волю. Изоляция полная, каналов на волю никаких, климат тяжелый, североуральский. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи, и тогда станет понятно, что означал этот «пермский эксперимент».

Среди привезенных сюда из Мордовии стариков многие уже

были тяжелобольными, доживающими свой век людьми. Да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее. Словом, привезли нас сюда самых нераскаявшихся, чтобы без шума прикончить.

Вскоре после моего приезда специальная «врачебная» комиссия из Перми осмотрела почти всех заключенных и всех признала здоровыми, годными к работе. Группы инвалидности лишали даже тех, кто имел ее с рождения: даже горбатого Василия Пидгородецкого и двоих одноногих признали трудоспособными, а уж о язвенниках, сердечниках, туберкулезниках и говорить нечего.

Результаты не замедлили сказаться, и в августе умер заключенный Куркис, двадцатипятилетний, от прободения язвы. После лишения группы инвалидности его послали на тяжелую работу, и через пару недель он был готов. 24 часа он пролежал в больничке, рядом с лагерем, истекая кровью. Ни запасов крови, ни нужного оборудования, ни даже хирурга в этой больнице не было. По чистой случайности нам удалось передать на волю эту информацию весьма оперативно, так что через три дня наши друзья в Москве знали о случившемся. Одновременно мы начали кампанию протестов — нужно было спешить. От нашей оперативности зависело, сколько людей избежит подобной смерти. Но это было только начало.

1973 год был в известном смысле решающим для всего движения в целом. Добившись определенного успеха в деле Якира и Красина, власти стремились парализовать движение. Десятки людей открыто подвергались шантажу: им грозили арестом — притом не их самих, но друзей и близких, — если они не прекратят своей правозащитной деятельности. Приостановился выпуск «Хроники текущих событий»: на каждый новый выпуск КГБ обещал отвечать новыми арестами. Действовала система заложников. Одновременно была развернута бешеная кампания травли Солженицына и Сахарова по уже знакомому рецепту — от академиков до оленеводов и доярок.

Так бывает всегда: стоит ослабнуть одному, как увеличивается давление на всех. И десять человек, поддавшихся шантажу, могут вызвать панику десятков тысяч. Лагерная жизнь — как барометр, и в лагерях в такие моменты свирепеет режим, теряется завоеванное годами голодовок, и все вдруг оказываются на краю гибели. Нужно нечеловеческое усилие, чтобы отстоять свою жизнь, свои права.

Мы отбились первые, и к концу года лагерная медицина была разгромлена. Что ни день — наезжали комиссии, ходили по зоне важные генералы со свитами, шустрые полковники в лампасах, какие-то штатские личности, перед которыми все начальство изгибалось вопросительным знаком. Специальным распоряже-

нием Москвы был прислан хирург из Перми заведовать нашей больницей. Возвращали группы инвалидности, назначали лечение больным, и даже из ПКТ удалось перевести в больницу одного тяжелобольного, чего никогда не случалось раньше.

На воле перелом наступил позже — с высылкой Солженицына. Это событие всколыхнуло всех и, как бывает в минуты настоящей беды, придало всем решимости. Вновь стала выходить «Хроника», но власти уже не рискнули действовать по системе заложников — обещанных арестов не последовало. Кончился шантаж, как только перестали ему поддаваться. Нам же предстояла еще долгая и тяжелая борьба, чтобы вернуть все отнятое за это время.

Конечно, от властей не ускользнуло мое участие в прорыве «пермской блокады», да и время им пришлось выполнить свое обещание — напомнить мне тот лефортовский разговор о помиловании.

Начальник лагеря майор Пименов не скрывал от меня, что решение пришло сверху, помимо его воли. Он не любил КГБ: они делали его власть фикцией — и при каждом удобном случае норовил отплатить им мелкой пакостью. Он хотел быть настоящим «хозяином», единственным властелином в своем мирке и, выполняя распоряжение КГБ, всегда старался сделать так, чтобы глупость распоряжения стала еще очевиднее.

Приказано дать пятнадцать суток? Пожалуйста. И он посадил меня за то, что я якобы отлучился с рабочего места 3 февраля, хотя это было воскресенье и никто вообще не работал.

— Затем три месяца ПКТ, ну, а потом — сам знаешь, — сказал он на прощанье. Имелась в виду Владимирская тюрьма.

От работы я отказался сразу. Не хватало еще работать в карцере за кусок хлеба. Да и нормы заведомо невыполнимы: нарезать резьбу вручную на 120 огромных болтах в день, когда и на один болт силы не хватит.

ПРИКАЗ МВД СССР № 0225 от 25 апреля 1972 г.

Согласовано с Прокуратурой СССР
и Советом Министров СССР

Осужденные, водворенные в ШИЗО без вывода на работу или с выводом на работу, но злостно отказывающиеся от работы или умышленно не выполняющие нормы выработки, довольствуются по норме 96, с выдачей горячей пищи через день. В день лишения горячей пищи им выдается 450 г хлеба, соль и кипяток.

ДНЕВНАЯ НОРМА ПИТАНИЯ 96

Хлеб ржаной	450 г	Картофель	250 г
Рыба	60 г	Овощи	200 г
Мука	10 г	Крупа (пшено, овес)	50 г
Жиры	6 г	Соль	20 г

Так что работай или не работай, а если норму сделать не сможешь — все равно будут кормить через день.

Три месяца и пятнадцать дней кормили меня таким вот образом. Да еще регулярно переводили в карцер — за отказ от работы. Тут и здоровый-то околеет, у меня же как раз открылась язва. Словом, у них все было рассчитано. И если я действительно не сдох тогда, то исключительно из упрямства. Не мог же я доставить им такое удовольствие!

— Так, сегодня день лишения горячей пищи, — радостно сообщает вертухай и кладет на кормушку паечку. — Кипяток брать будешь?

А как же! На кипяток-то одна надежда. Это вместо бульона.

— Соль давай! 20 граммов положено.

И на что она нужна, эта соль, — есть-то ее все равно нельзя. Но стробовать надо — для порядку. Положено — отдай.

450 граммов хлеба — это много или мало? Хочешь — сразу съешь. Тогда много. Хочешь — раздели на три части: завтрак, обед, ужин. Но тогда мало. А хочешь — вообще не ешь, чтобы не дразнить себя понапрасну. Говорят, люди мучаются, не знают, как похудеть. Изобретают диету, бегают по десять километров в день. По крайней мере, этой проблемы у меня не было.

Через пару недель вставать уже надо осторожно — кружится голова. Через месяц начинает слезать кожа на руках и ногах. Через два месяца читать становится невозможно — ничего не понимаешь, хоть убейся.

Конечно, власти меня не забывали. Приезжали какие-то важные чиновники — посмотреть, пощупать.

— Почему не встаете, когда входит начальник?

— Силы экономлю.

За это — семь суток карцера.

— Почему не хотите работать?

— На 450 граммах хлеба много не наработаешь.

— Подумаешь! В войну, в блокаду ленинградцы по двести граммов получали, и то работали!

Они сами сравнивали себя с фашистами.

В апреле подталяли сугробы, и вдруг открылось множество мышиных ходов — всю зиму они там под снегом вели светский образ жизни. Теперь им приходилось долго осматриваться, прежде чем проскочить из одной дырки в другую. Солнце пригревало уже так сильно, что можно было загорать у окошка. От вспаханной запретки поднимался пар. Травы в ту весну я уже не ждал.

— Сегодня день лишения горячей пищи, — говорил надзиратель по-весеннему бодро. — Возьмите хлеб.

В конце апреля приехал мой адвокат Швейский. Он мало изменился и по-прежнему дергал головой, будто невидимая

петля захлестывала ему горло. Многозначительно косясь на стенки, он говорил:

— Поверьте, я говорю не по чьему-то поручению, никто меня об этом не просил, но ведь надо найти какой-то компромисс. Так дальше нельзя. Мне почему-то кажется, что если бы вы сейчас обратились с ходатайством о помиловании...

Меня тоже никто не просил, никто не давал мне поручений, но я знал, что, когда слабеет один, всем другим становится хуже во много раз. В конце концов ленинградцам в блокаду давали только по 200 граммов.

Конечно, ребята делали всё, что могли,— и в Москве уже давно знали о моем положении. К этому времени связь с волей наладилась настолько четко, что уходили письма, заявления, копии приговоров, сборники стихов. Начали даже пересылать на волю свою «Хронику» — «Хронику Архипелага ГУЛАГ». В мае провели трехдневную голодовку — предупредительную. Начальство видело, что назревают серьезные события. Разрасталась кампания в нашу поддержку и на воле — только впоследствии я узнал о ее масштабах. Держать меня в ПКТ власти больше не могли. 9 мая с утра пришел Пименов. Хитро прищурясь, оглядел мою камеру и сказал:

— М-да... ПКТ оборудовано неправильно, не по инструкции. Придется ломать, делать ремонт.

Для убедительности прислали зэков из стройбригады, и они сломали нары. Так я был «амнистирован» на 11 дней раньше, хоть и не полагается освобождать из ПКТ досрочно.

Но та сила, которая вышвырнула меня из ПКТ вопреки всем законам, уже неудержимо несла нас дальше — наступил наш черед бить. Гайка, которую старательно закручивали много месяцев, сорвалась наконец с резьбы, и все понимали: если сейчас мы не остановим произвол, не вернем потерянного, то уже никогда не сможем это сделать.

Через три дня сорок человек объявили голодовку, а те, кто не мог голодать,— забастовали. По гарнизону объявили тревогу. Усилили охрану на вышках. Начальство пыталось уговорить, запугивать, шантажировать — ничего не помогало.

Вызывали украинцев:

— Чего вы связались с этими жидами и москалями?

Вызывали евреев:

— Чего вы связались с этими антисемитами? Вы же в Израиль собираетесь!

Голодовка продолжалась месяц. Кто не выдерживал — терял сознание после сердечного приступа или обострения других болезней,— тех уносили в больницу. Отдышавшись, они вновь включались в голодовку. Даже старики-двадцатипятилет-

ники приняли участие — забастовали, а некоторые объявили однодневную голодовку.

— Интересное время начинается, — говорил мне один из них, украинец, — даже освобождаться жаль.

Ему оставалось несколько месяцев до освобождения. Чуть позже забастовал соседний лагерь, 36-й. Требование везде было одно — прекратить производ. Власти не знали, что предпринять. Голодающих стали сажать в карцеры, и тогда мы отказались выйти на поверку. Прибежал посеревший, взбешенный Пименов.

— Вы понимаете, что это значит? Вы отдаете себе отчет? Немедленно выйти всем на поверку!

Никто не шевелится. Другая, не участвующая в голодовке часть лагеря, молча дожидается на улице.

— Не распускать строй! — командует Пименов. — Пусть все остальные вас ждут!

Но начинает накрапывать дождь, и все, даже стукачи, разбредаются по баракам. Режим рухнул.

Всё новые и новые люди присоединяются к нам. Кто на один день, кто на неделю — в зависимости от здоровья. Другие просто отправляют протесты.

Начальство в полной растерянности. Замполит кричит, что он введет в зону войска. «Кум» грозит всех судить за дезорганизацию работы лагеря. В то же самое время вызывают всех поодиночке, обещают разрешить посылку из дому и даже внеочередное свидание, если прекратишь голодовку. Ничего не помогает. В карцерах нет больше мест, все забито, сажать некуда.

В спешном порядке созвали так называемый совет коллектива, состоящий из полицаев. Но даже они отказываются осудить нас. Это было уже последней каплей. А по всем радиостанциям, вещающим на Советский Союз, передавали нашу «Хронику голодовки», «Хронику Архипелага ГУЛАГ». И надзиратели, те самые, специально подобранные, что получали сразу погоны прапорщиков за секретность, рассказывали нам шепотом подробности радиопередач. Разводили руками:

— И откуда они там все знают?

Пермский эксперимент провалился.

Я не видел конца этой эпопеи — 27 мая, на 15-й день голодовки, меня увезли во Владимир. Так и не удалось мне в ту весну наесться досыта — то ПКТ, то голодовка, потом месяц пониженного во Владимире. Черт с ним! Были бы кости — мясо нарастет.

И потянулись дни во Владимире, вечная режимная война, голодовки, карцеры — эти бесконечные граммы, градусы и сантиметры, в которых посторонний человек никогда не разберет-

ся. Монотонное, однообразное погружение на дно, от которого можно спастись только ежедневными напряженными занятиями.

Невеселые доходили вести с воли. То, чего не удалось властям достигнуть арестами, шантажом, системой заложников и даже психиатрическими тюрьмами, сделала эмиграция. Навсегда исчезали, как в могилу, люди, с которыми была связана вся моя жизнь. Одни уезжали сами, потеряв терпение, других выгоняли, но результат был тот же самый. Пусто становилось в Москве.

Они увозили на Запад по частям мою жизнь, мои воспоминания, и я сам уже затруднялся сказать, где нахожусь.

А. Марченко *

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ КАК ВСЕ»

Пересылка в Перми, еще один этап — и вот к середине ноября я в Соликамске на управленческой пересылке. Чтобы одолеть тысячи две километров, ушло два месяца, в среднем получается по 30—35 км в день. Везли бы меня в кибитке, с двумя жандармами, доехал бы я до места раза в три-четыре скорее. Да пешком этапом дошел бы за это же время!

Слава Богу, конец этапного путешествия, из Соликамска отправят только в лагерь.

Но в Соликамске меня тормознули еще на полтора месяца: на ближайшие этапы я не попал, а потом пришлось ждать, пока станут уральские реки. Весной и осенью в лесные лагеря — на Красный Берег, на Ныроб — пути нет.

Вообще, по тюремному медицинскому заключению («работоспособен, запрещены работы, связанные с высотой, и на лесоповале»), меня должны бы оставить в самом Соликамске — сразу за пересылкой и находится здесь лагерь строгого режима. Здесь работы строительные, а в лесу, известное дело, — лесоповал. В Соликамске и условия лучше, и кормежка, а раз так — это не для меня.

Ожидание на Соликамской пересылке, такой же перенаселенной и грязной, как Кировская, было все же веселее переносить. Одно то, что это уже конец пути, а другое — ээки здесь

* Анатолий Тихонович Марченко (1938—1986) — писатель, автор книг «Мои показания» (1967), «От Тарусы до Чуны» (1975), «Живи как все» (1989). Лауреат премии Сахарова «За свободу мысли» (1988). Умер в 1986 г. в тюрьме, объявив бессрочную голодовку с требованием освободить всех узников совести — политзаключенных.

ведут себя иначе. Ведь никто не знает, не угодит ли он в один лагерь с соседом, значит, надо держаться с ним более терпимо и не наглеть.

В нарушение общих тюремных правил, здесь не существовало ни подъема, ни отбоя. Круглые сутки в камере шла картежная игра. Играли, почти не таясь от надзирателей. Ночью устраивались с картами на верхних нарах, поближе к лампочке, которая слабо светила из ниши в стене над входной дверью.

Играли на все: от новенькой одежды, денег, продуктов до всякого старья. Тут можно было проследить за везением. Кто-то начинает играть, имея в своем распоряжении не более как пару поношенных носков или застиранный носовой платок, — через несколько часов он становится обладателем несметного количества тряпья, денег и жратвы. Сегодня ты видишь франта в шелковой рубашке, приличном костюме и с мешком добра. Он демонстративно отказывается от тюремной баланды и заказывает у тюремной obsługi запрещенный чай, анашу и даже морфий, не говоря уж о продуктах. Завтра он будет сидеть на голых нарах, в затасканных лагерных штанах и куртке тридцать третьего срока носки, в которых, как говорят зэки, уже семерых похоронили.

Один из заядлых игроков, Жора, особенно мне запомнился. Я его застал в камере в немыслимом рванье. Несколько раз он пытался отыгаться и садился с разными компаниями, не знаю, что он мог предложить партнерам. Но ему не везло. После каждого проигрыша, отлежавшись часа три молчком на нарах, он выходил на середину камеры, прислонялся плечом к стояку и пел вполголоса старинные русские романсы. У него был приятный голос, и пел он самозабвенно, совершенно отключаясь от окружающей обстановки. В камере становилось непривычно тихо, даже картежная игра прерывалась. На того, кто осмеливался нарушить тишину, прикрикивали.

Жора почти никогда не пел по чьей-либо просьбе, а только когда у него возникало желание. Он не выжидал тишины и мог начать в разгар спора и общего гвалта в камере. Однажды он проигрался, как обычно, и стал пробираться на свое место на верхних нарах, чтобы молча пережить проигрыш. Кто-то с издевкой обратился к нему:

— Ну, Жорик, а теперь спой!

— С таким настроением не до пения, — беззлобно и равнодушно ответил он, падая лицом в замусоленный бушлат вместо подушки.

Вот еще один игрок — экземпляр, типичный для уголовного мира. Он роскошно одет и со всеми разговаривает свысока. Другие играющие обращаются к нему за посредничеством в спорах. А он поддерживает свой авторитет частыми рассказа-

ми о том, как он где-то в камере во время игры одному выбил глаз, другому поломал руку, кого-то загнал под нары. И все это — отстаивая справедливость и картежный закон.

Дня через три после моего появления затолкали в камеру очередной этап из Перми. Вечером наш фронт уговорил посидеть за картишками новичка. Просидели они почти до утра и кончили дракой. Новичок не то «справедливо» обыграл франта, не то как-то сжульничал. Они крепко начали спорить, доказывая каждый свою правоту. Обычно картежники в таких условиях просят кого-нибудь третьего рассудить их. Эти же ни к кому не обращались, брань становилась все яростнее и оскорбительнее. В конце концов новичок сильным ударом ноги сбросил франта с нар на пол. Пол бетонный, а тот летел со второго яруса. Здорово ударившись, так, что и встать не мог сразу, он больше не спорил, а молчком забился в угол на нижних нарах и там отсиживался пару дней, не вылезая даже на opravку.

Новичок тоже недолго проходил в королях, на следующий же день проигрался до нитки. А когда я уходил на этап, то эти двое уже жили душа в душу, хотя и были оба камерными «крахами» (ничтожествами, ничего не имеющими нищими).

Кроме картежной игры, на пересылке вовсю идет торговля. Зэки продают хозобслуге все, что имеют при себе или на себе: все равно в лагере свое не наденешь, а казенное тем более нечего жалеть. Зэки из хозобслужбы в доле с надзирателями и приносят в камеру запрещенный чай, анашу и водку. Цены соответствуют степени дефицита: при мне один сокамерник отдал новенькое пальто (рублей девяносто — сто в магазине) за семь пачек чая; приличный ненашенный костюм стоил четыре-пять пачек, брюки или рубашка шли всего за пару пачек. А пачка чая в магазине около лагеря стоит тридцать восемь или сорок восемь копеек; неплохой барыш и у надзирателей, и у обслуги!

Ну, а что делать в камере мне? Я не играю, не торгую. Писчей бумаги нет ни у меня и ни у кого из сокамерников. Книги ни одной, библиотеки на пересылке нет. Хоть берись поневоле за карты!

Я догадался отправить письмо в Москву — на всякий случай, чтоб дошло, подписал его первой пришедшей на ум фамилией: в этом пересыльном шалмане авось не разберут, чье. И вот через две недели получаю сразу несколько писем (первые письма и телеграммы из Москвы дожидались меня еще в Перми) и бандеролей. А в бандеролях — книжки, бумага, шариковые ручки (тут же в кабинете цензора и в его присутствии зэк из обслуги предлагает мне за них две пачки чая — но чай мне не нужен, а ручки нужны), в каждой бандероли по плитке шоколада — это запрещено, но благодушный цензор, поворчав, от-

дает их мне. И мыло, завернутое в старую газету «Вечерняя Москва», — я сразу понял, что это неспроста.

Вечером пью кипяток с шоколадом. Книжки пошли по камере нарахват. А я просматриваю «Вечерку». Так и есть: вот сообщение о суде над демонстрантами. Лариса, Павел и Костя получили ссылку, Дремлюга и Делоне — лагерь. Это известие от друзей и о друзьях немного успокоило меня: лагерь все же миновал троих. Но и ссылка — не мед; а уж дорога, если отправят этапом! Я особенно беспокоился о Ларисе: как-то она перенесет этап, как-то ей удастся устроиться в ссылке, куда ей «повезет» попасть? Среди осужденных она была единственной женщиной. Тогда еще никто не предполагал, что Наташе Горбаневской суждено несколько лет провести в психушке.

О мужчинах я меньше волновался: полезно почувствовать на собственной шкуре все тяготы арестантского быта, да и твердость духа проверяется здесь основательней.

Теперь у меня в камере было занятие. Я читал и перечитывал несколько присланных книжек, хоть они и были ерундовыми (я так и просил в письме: лишь бы чтиво, жаль, если хорошие книги пропадут). Зато я взялся за другое.

Еще в Перми мне отдали телеграмму от Л. З. Она заканчивалась так: «Вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем», Конечно, Л. З. имел в виду необходимость самообразования, профессиональной учебы. Но пока это неосуществимо, нет ни книг, ни плана, ни представления о том, как и чем надо заниматься. Зато в избытке то, чего мне не доставало на воле и чего не будет в лагере, — времени. И вот я стал обдумывать и развивать планы повести, потом второй, третьей. Сюжеты трех повестей переплетались, расходились, наполнялись деталями, их герои, выдуманные мной, постепенно приобретали биографии, портретные черты, изменялись, притирались друг к другу и к жизненной обстановке. Каждый день я как будто смотрел фильм — по выбору или отрывки из всех трех. Было ужасно интересно, наперед зная судьбу героя, наблюдать его в разных ситуациях — он-то своей судьбы не знает. Но я стал путаться, наткаться на проблемы и неувязки — надо было записывать, хоть шифром, хоть план развития сюжета.

Я успел составить в Перми схематические, недетализированные планы двух повестей и записал их условными фразами. Но во время внезапного шмона камеры мои тетрадки исчезли. Я кинулся добывать их — где там! «Какие тетрадки? Пропали? Да кому оно нужно, ваше бумагомарание?» — отвечал мне на мои претензии заместитель начальника тюрьмы. Пришлось примириться с потерей.

Ладно же! В Соликамске, получив бумагу и ручки, я начал все заново. Исписал несколько тетрадок — опять так же, услов-

ными, одному мне понятными фразами. Хотя в этих фразах не было ничего похожего на криминал, я знал, что все равно при шмоне тетрадки отберут, и старался придумать для них зачатки похитрее. Но на всякий случай — записанное запомнить, заучить. Советский писатель, не надейся на бумагу, на письменность! Лучше всего освоить бы тебе гусельный лад и сочинять «по былинам сего времени». Так ведь и гуслей нет, а были бы — отберут проклятые шмональщики!

Пока я в камере крутил свои фильмы, наступила середина декабря. Реки стали, и нас собрали на этап на Ныроб.

Этап собрали немалый: человек сто пятьдесят на строгий и на особый. Повезут нас машинами, по зимней гладкой дороге езды часов семь. По североуральскому декабрьскому морозцу недолго и обморозиться, и нам велят надеть на себя всю выданную одежду: от подштанников до телогреек, а поверх бушлаты. Каждый зек превратился в неповоротливую толстую ватную куклу. Конвоиры одеты в полушубки и сверху еще в огромные тулупы, которые тянутся по земле. Тоже как куклы, только силуэт другой.

На машину — огромный трехосный «Урал» с высоко нашитыми бортами — приходилось человек по сорок зек, да еще передняя часть кузова отгорожена деревянным щитом — для трех-четырёх конвоиров и собаки. Казалось, нам никак не поместиться, но конвой опытный: нам приказали всем встать в кузове на ноги, построившись по шесть человек. Затем объявляют: «Слушай команду, всем поднять руки вверх, считаю до трех, по команде «три» всем сесть, не опуская рук». И точно: с поднятыми вверх руками мы более или менее благополучно сели на пол кузова. Но опустить руки теперь оказалось проблемой. Каждый стал ворочаться, толкать соседей, сжиматься всем туловищем в комок и как-то втискивать руки. Этим конвой уже не интересуется. Мы сидим к нему спинами, нам запрещено оборачиваться в его сторону, придерживаться за борта руками.

От Соликамска до Ныроба дорога идет сплошной тайгой. Очень красиво кругом. Тайга одета снегом, на елях он лежит особенно толстыми шапками. Когда машины поднимаются на вершину сопки, то видно огромное пространство вокруг, и все тайга и тайга.

По дороге проезжаем Чердынь. С интересом рассматриваю знаменитый поселок: здесь в ссылке были Мандельштамы, я как раз прочел в Москве мемуары Надежды Яковлевны. Кто бы знал эту Чердынь, если бы не Осип Эмильевич? Жилые домишки — а кругом тайга! Но нет-нет да и попадет старый дом кирпичной кладки, и им залюбуешься. Старые дома построены из добротного красного кирпича, даже дворовые постройки тоже

кирпичные. Видно, до революции жили в них купцы-лесопрмышленники или богатые охотники.

Из такого же кирпича сложена красивая, но запущенная и обшарпанная церковь. Чердынь стоит на берегу Вишеры. Переезжаем ее по льду.

В Ныроб приезжаем в сумерках, зимой они здесь наступают очень рано. В самом Ныробе находятся две зоны: строгого и особого режима. Пока ждем запуска в зону, мимо проходят колонны зэков в полосатой робе. Все полосато: бушлаты, телогрейки, брюки, куртки, шапки.

Особый работает на лесобирже и готовит лес к сплаву. На лесоповале и на сплаве их не используют из опасения побегов.

После шмона нас проводят краем зоны в отдельно огороженный барак: он и ШИЗО, и внутрилагерная пересылка. Отсюда отправляют на дальние таежные командировки. Но наутро я узнал, что меня в тайгу не отправят, оставляют здесь, в самом Ныробе. Другие завидовали: буду жить, можно сказать, в столице!

Меня вызывают в штаб к начальнику лагеря для «знакомства».

— Как вас сюда направили с таким сроком? — недоумевает он.

— Мне не объясняли и у меня не спрашивали.

— Год сроку, да пока доехал, остается всего семь месяцев!

Начальник просматривает мои бумаги и натывается на медицинскую справку об ограничениях в труде:

— И зачем присылают таких! Мне волосы нужны, у меня лесоповал. Куда я вас поставлю?

Я молчу. К начальнику из угла подходит офицер и что-то шепчет, низко наклонившись над самым столом. Начальник слушает внимательно, поглядывая на меня с любопытством.

Больше не задавал он мне вопросов.

В этот же день состоялось еще одно знакомство — с кумом, старшим лейтенантом Антоновым. Кум зовет — иди, не моги отказаться. Разговор был тягучий, противный и угрожающий. «Ты не надейся, Марченко, здесь отсидеться. Тебе сидеть да сидеть, сгниешь в лагере. От меня на свободу не выйдешь, если не одумаешься. Здесь не Москва, помни!..» — и тому подобное. Я сказал:

— Вы мне прямо скажите, что вам от меня надо?

— Я прямо и говорю. Не понимаешь? Думай, думай, пока время есть. А надумаешь — приходи. Вместе напишем, я помогу.

— Что я хотел, то без вас написал.

— Смотри, Марченко, пожалеешь.

Меня, можно сказать, «честно» предупредили. Но откуда ждать удара?

Разговор оставил очень неприятное впечатление. В лагере всякое бывает. Подрались двое зэков, и один другому всадил нож в спину. Или конвой пристрелит «при попытке к бегству». Кирпич ли на голову свалится. Или сожгут сортир и обвинят меня в поджоге зоны. Ходи и оглядывайся, и жди каждую минуту какой-нибудь провокации. Так и чокнуться недолго. И я решил выбросить эти мысли из головы.

И без того мое положение в лагере было непростым. Меня определили в строительную бригаду — это была работа более легкая и более удобная, чем основная работа в лагере, лесоповал. «Лесников» возят на делянки и обратно машинами, дорога занимает в один конец часа полтора, да шмон, да ожидание, да машины, бывает, ломаются. Поломается машина в дороге — жди на морозе в открытом кузове, пока починят или пригонят другую. Другой раз «лесники» приезжают в зону часа в три-четыре утра. А утром в семь опять должны быть на разводе.

А наша бригада, четырнадцать человек, работала в поселке, в пяти минутах хода от жилой зоны. Уже одно это было великим счастьем. Сюда, договорившись с начальством, попадали «на отдых» заслуженные «лесники», несколько лет безропотно пахавшие в лесу. Или отличившиеся стукачи и проныры. А меня назначили к ним прямо с этапа. Это было непонятно, подозрительно, и бригадники косились на меня с недоверием, прощупывали: за какие заслуги и для какой цели попал я в их бригаду.

Не успел я здесь прижиться, как меня перевели в другую бригаду, тоже строительную, тоже без дальних поездок на работу. Но эти заработали свою «льготу» совсем другим способом: здесь все были долгосрочники, «тяжеловесы» со сроками от десяти до пятнадцати лет, т. е. с максимальными «исключительными» мерами наказания. Это бывшие смертники, которым заменили впоследствии расстрел лагерем или тюрьмой. Сроки получены ими за особо опасные преступления: убийства и изнасилования при отягчающих обстоятельствах, разбой и грабежи. Большинство бригадников переведены после половины срока со спеца, и, когда наша колонна встречалась с колонной «полосатых», в обе стороны летели слова приветствий, происходил запрещенный обмен информацией, несмотря на окрики конвоя. Эту мою новую бригаду в лес не водили из-за того, что долгосрочники считаются — и не зря — склонными к побегу. Для них была оборудована рабочая зона с усиленной охраной, обнесенная сплошным дощатым забором высотой в два метра и двумя рядами колючей проволоки, со сторожевыми вышками и автоматчиками на них. Кроме обычного пересчета при разводе и съеме, бригаду считали и пересчитывали, впуская в рабочую

зону, проверяли по личным карточкам во время работы, и, если начальнику конвоя покажется, что кого-то недостает, выстраивают всю бригаду, считают по пятеркам, сверяют с личными карточками.

И вот к этим «тяжеловесам» кидают меня — со сроком год (а к этому времени до конца оставалось чуть больше шести месяцев) за какое-то там нарушение паспортных правил. К тому же, меня перевели вместе с поваром из моей первой бригады Германом Андреевым — известным всему лагерю и за его пределами провокатором, «штатным свидетелем» на всех лагерных процессах. Он был наркоман и потому на крючке у начальства. Конечно, бригадники считали, что к ним специально заслали осведомителей режима и оперчасти. Подумали бы лучше, какой из глухого стукач! Да и зачем засылать новых, когда своих стукачей в бригаде хватает? Впрочем, это иногда делается кумом для проверки работы стукачей, как говорится, над каждым шпионом должен быть тоже шпион. И насчет Германа у меня были свои догадки — неспроста его присоединили ко мне при переводе. Эта моя догадка впоследствии подтвердилась. Но об этом потом.

Я решил все соображения и объяснения держать при себе — тем более что впрямую никто ничего не говорил мне. Оправдания ничего не дадут, а излишняя откровенность просто опасна. И я никому ничего не рассказывал о себе, кроме того, что написано в приговоре. Чтобы не быть втянутым в обычный эковский треп, брал с собой на работу книгу, газеты, тетрадь (вообще-то это не разрешается, и если на шмоне найдут, то отберут: «Не в библиотеку идешь!»), но зэк, когда ему что надо, пронесет). Времени на чтение хватало. Нас выводили на работу утром, когда температура была ниже пятидесяти: пятьдесят шесть — пятьдесят семь градусов. Мы торопливо топали на объект и, как только нам открывали ворота, наперегонки бежали в курилку. Поскорей растапливали печь и час-полтора грелись, толпясь около нее, а потом расползались по углам и проводили время кто как умел. Начальство смотрит на это сквозь пальцы: был бы день не сактирован, был бы записан выход бригады на работу, а уж месячный план и норму из эков так и так выжмут в другие дни.

Вот я сижу в курилке на своем законном месте — его уж никто не занимает, — читаю. В другом углу собралась картежная компания, Здесь, как и на пересылке, тоже играют на всё: казенную одежду, деньги, посылку от родных, будущий ларек. Кто-то шустрит: ищет, как бы через вольного достать водку, самогон или одеколон.

Деньги в лагере, конечно, запрещены, но они есть у многих. Добываются они нехитрой почтовой операцией: заработанные

деньги зэк переводит с лицевого счета родным и одновременно тайно сообщает им адрес местного вольного, с которым он уже договорился. Родные пересылают их обратно в Ныроб по указанному адресу, а уж вольный сумеет передать их зэку или купить, что тот закажет. Конечно, за комиссию отчисляется соответствующая доля.

Я тоже мог бы воспользоваться этой разработанной методикой, но мой срок можно было дотянуть и на казенных харчах.

В политлагере такие операции почти невозможны: начальство строго следит, чтобы у заключенного не было связей с вольными. А в уголовном лагере строгостей меньше, возможно даже, что администрация знает о таких каналах — либо сама в доле, либо контролирует их, чтобы держать бразды в своих руках.

За деньги можно купить всё, и не только продукты, выпивку, наркотики, но и откупиться от работы: плати бригаде наличными рублей пятнадцать на водку и на чай — и можешь месяц не работать, тебе бригадир поставит все выходы, а бригадники сделают за тебя норму.

Была у заключенных Ныроба еще одна отдушина — женщины. Вот, говорят, «мне сидеть неинтересно, я там бывал, ничего нового не увижу». Нет, каждый срок что-нибудь новенькое выдает. С подпольной проституцией в лагере я в Ныробе познакомился впервые. До Ныроба я только слышал все это с чужих слов и не всему верил. Здесь этой своей самой древней профессией промышляли тунеядки, высланные из Москвы и Ленинграда. Хотя среди заключенных и солдат большой голод на женщин, нельзя сказать, чтобы дело приносило им большой доход. Расплачивались с ними кто чем богат: когда деньгами, когда тряпками, а когда договаривались и за черпак лагерной каши. Так что женщины занимались этим скорее из любви к искусству и чтобы быть, как говорится, при деле, не терять квалификации.

Правда, несколько тунеядок обслуживали офицеров и начальство — эти жили получше, были недоступны для солдат и заключенных, на своих менее удачливых товарок смотрели свысока. Офицерские жены люто их ненавидели, крыли последними словами прилюдно на улицах поселка, но те не оставались в долгу, тоже за словом в карман не лезли — а необходимый словарный запас был у них побогаче, чем у законных.

Для колонны зэков подобные сцены заменяли театр.

Но как же могли происходить свидания тунеядок с зэками, отделенными от воли запреткам, вышками и автоматчиками?

Рабочие объекты и лесные делянки охраняются только во время работы, после съема заключенных уходит и охрана. И вот зэки в рабочее время строят в рабочей зоне тайник, бун-

кер, и сообщают об этом тунеядкам по тайной почте. Ночью дамы свободно проходят в зону оцепления, заселяют бункер и живут там по месяцу и больше, не выходя на свет Божий даже по нужде: в бункере имеется параша, которую вытаскивают и опоражнивают сами эски. Сюда им приносят пищу и выпивку.

Обычно тунеядки объединялись по три-четыре в компанию и обслуживали постоянно одну бригаду. На каждой делянке имеется свой бункер со своими дамами, и ни одна из них не забредет в чужую зону влияния. Если такое случится, то это считается «изменой» и вызывает бурные склоки и баталии.

Устройству бункера эски отдают много сил и изобретательности. Внутри сколачиваются нары, снаружи тщательно маскируют от посторонних глаз. Чтобы конвойная собака не учуяла, обсыпают вокруг махоркой, хлоркой, поливают бензином и т. д.

В нашей особо строго охраняемой бригаде тоже был свой бордель. Первые несколько дней, когда бригадники меня еще хорошенько не знали, они всячески скрывали это от меня. Вначале им это легко удавалось, так как я вообще ничем в их жизни не интересовался. К тому же они знали, что я очень плохо слышу, и вполголоса переговаривались и обсуждали насущные вопросы этой стороны жизни бригады, не опасаясь, что я могу подслушать. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, а уж живого человека тем более. Сначала я догадался, а потом и увидел все воочию.

Курилка у нас состояла из двух проходных комнат. В дальней, большей из них, под полом эски оборудовали еще одну комнату. И там жила тунеядка. Временами, когда в бригаде появлялись наличные деньги, жила не одна, а несколько.

У нас тунеядкам жилось лучше, чем в лесу: ночью они могли безопасно выйти на свежий воздух или хотя бы вылезти из подполья и находиться в комнате. У нас даже жили гастролерши — из самой Чердыни.

В подполье провели скрытый электропровод, и там было и освещение, и отопление: электропечкой служил самодельный «козел».

Наш объект был — строительство гаража. Стены, потолок уже были, и теперь мы долбили в этой коробке ямы на месте будущих стоянок для машин. Бригадники решили построить здесь новый капитальный бункер-бардак. Выкопали рядом со строящейся ямой для машин другую большую яму, забетонировали крышу. Вход сделали в яме через нишу, предназначенную для инструмента; заднюю стенку ниши — бетонную плиту — укрепили на специально приваренных шарнирах. Она была очень тяжелой и плотно закрывалась изнутри, ее невозможно было открыть снаружи, разве что взорвать.

Новый бункер был просторнее прежнего. Там были настоящие нары человек на четырех, столик и даже пара скамеек. Провели туда скрытый электрокабель и оборудовали свет и отопление. Имелась там и электроплитка.

В строительстве этого бункера я принимал непосредственное участие. При мне он и начал «работать».

Наш бардак не найти было и с собаками. И хотя в нашей бригаде, как и в других, хватало стукачей, никто не заложил тайник и прятавшихся там женщин: естественная тяга мужчины к женщине пересиливала и страх, и прочие шкурные интересы. Начальство нюхом чуяло баб в зоне, но, сколько ни искали, ни разу так и не нашли.

Существовали забавные принципы оплаты услуг. Когда у кого-нибудь в бригаде были деньги, дамам платили по рублю за визит. Тогда доступ к ним имел только тот, кто имел рубль или хоть что-нибудь для оплаты. Я видел, как два приятеля спускались в бункер, имея на расчет всего лишь пару застиранных носков, то есть по одному на брата. Им хватило и этого.

Но когда зэкам платить было нечем, тунеядки оказывались в безвыходном положении: им даже поесть на воле было негде и не на что. Здесь хоть черпак каши или баланды найдется. А так как пища идет из общего бригадного котла, то в этот критический период каждый имеет право наведаться в бункер.

Эти женщины никогда не были трезвыми. В бункере всегда была какая-нибудь выпивка: водка, самогон, брага, одеколон, тормозная жидкость...

Наши жрицы любви пьяны, грязны, одеты в немыслимое тряпье, потрепаны настолько, что не определишь их возраст (на самом деле возрастной диапазон довольно велик: от девятнадцати-двадцати до пятидесяти и даже выше, как говорится, «от пионерок до пенсионерок»). Они так непривлекательны, что иногда только что спустившийся в бункер зэк тут же вылезает обратно, мотая головой: «Нет, не могу, ничего не получается!»

И все-таки на их внимание претендуют не только заключенные, но и солдаты охраны. Тунеядки, очевидно, из солидарности с зэками, люто ненавидят охранников и допускают их только при посредничестве зэков.

Два солдата из нашего конвоя посещали наш старый бункер тайно друг от друга и от остальных. Однажды я присутствовал при такой сцене: вся бригада уговаривала тунеядку «дать» менту, то есть солдату. Она его только что выгнала из бункера, и он приплелся в бригаду жаловаться. На нее не действовали никакие уговоры, и только угроза, что он, обозлившись, выдаст и ее, и бункер, сломила ее гордость.

(Я забыл сказать, что наши тунеядки нередко вылезали из бункеров и ошивались среди зэков, зимой переодетые в зэков-

скую мужскую одежду — ватные брюки, бушлат, шапку — и неотличимые от мужиков. Так что разговоры и выяснения отношений происходили и при мне в курилке. Бункер же служил для иной, главной цели, то есть как отдельный кабинет.)

Знаю, найдутся такие, кто с брезгливостью прочтет эти страницы, презрительно обронит: «Уголовщина! Что с них взять?» Но вот что читаем о политических: «Под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная во двор, девка проведена была другим часовым в арестантские комнаты. Тем же порядком на следующее утро девку вывели из острога... После этого несколько раз удалось повторить ту же проделку... Сколько было благодарностей от арестантов!..»

Эти арестанты — не уголовники, это каторжане-декабристы. Устроила для них «разговение» жена декабриста Анненкова — наняла девку, подкупила водовоза и часовых, не с брезгливостью и презрением, а с пониманием нужд человеческой природы. И так же рассказывает об этом эпизоде М. М. Попов, сотрудник III Отделения: «Большая... часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требовавшая женщин. Жены долго думали, как бы помочь этому горю...» (Воспоминания Полины Анненковой.— Красноярск, 1977.— С. 291).

Что касается самих тунеядок, то это люди «дна», опустившиеся, выбитые из жизни создания. На мой взгляд, у них произошёл необратимый распад личности. Искать корни этого явления — дело социологов, психологов, медиков. Я далек от мысли приписать вину за существование «дна» нашему общественному устройству. Политико-экономическими причинами объясняют всё социологи-марксисты, поэтому они вынуждены утверждать, что «дно» порождено капиталистическим строем, а у нас этого явления нет. Как же, нет! Дальние провинциальные городки и поселки наполнены «тунеядцами» и «тунеядками» — своих хватает, и еще сосланные из столиц. У них нет семьи, нет пристанища — и не будет, они не ищут его, оно им не нужно. У них нет имущества: всё, что есть сегодня,— на них. У них одна цель — найти, что выпить, чем оглушить себя. В Чуне их можно безошибочно отыскать в любой день на пустыре около магазина: напившись, они валяются здесь — мужчины и женщины, старые и молодые, высланные и местные — на слое битого стекла и пробок, а проспавшись, едва поднявшись на ноги, снова бредут к магазину в надежде раздобыть выпивку. Больше им ничего не надо. До них тоже здесь никому нет дела.

В больших городах они, вероятно, не так заметны. А в столицах и городах, посещаемых иностранцами, их и вовсе не видно: милиция выселяет их, используя закон о тунеядстве, о бро-

дьячиестве, о паспортных правилах. И вот какая-нибудь заезжая знаменитость вроде Мохаммеда Али в восторге сообщает миру: «Я был поражен тем, что в СССР нигде не встретил ни проституток, ни нищих». Если сам Мохаммед Али не встретил, — о! — значит, их действительно нет (как и агентов секретной службы, которых он тоже «не встретил», — зато, я думаю, они его и встретили, и проводили). Для кого вещают наши пропагандисты? Неужели я больше поверю залетному гостю, чем собственным глазам?!

Бог с ним, с Мохаммедом Али, — ему ведь, в общем, наплевать на нашу страну: погостил и укатил. Опасно, что мы сами — наша пресса, наши ученые, наши власти — нарочно закрываем глаза на язвы собственного общества, не исследуем их и не лечим, а прячем под парадной одеждой фестивалей и олимпиад, прикрываем хвастливой газетной трескотней. Но принимайтесь: из-под роскошного наряда смердит!

Зима 1969 года была холодная. У нас в Ныробе каждое утро было минус пятьдесят шесть — пятьдесят семь градусов. Лариса писала мне из Чуны, что у них там тоже всю зиму день начинается с минус пятидесяти восьми градусов. Прочел я в первом письме: «Поселок Чуна Иркутской области». А что за Чуна — Чума? Солагерники мне рассказали: место проклятое, и правда чума; от Тайшета до Братска — лагеря, лагеря, лагерь. Так это ж туда меня везли в 1961 году, да не довезли, политлагерь оттуда перевели в Мордовию. Сейчас в Чуне, да и в ближней окрестности, да и вблизи трассы Тайшет — Братск лагерей не видно. Но пришлось мне в 1971 году лететь в Чуну из Братска самолетиком местной авиалинии, и я узнал сверху ясно обозначенные квадраты зон с вышками по углам. Просто отодвинули их подальше от глаз. А в тайге около Чуны, в десяти минутах ходу, — заброшенные лагерные узкоколейки, прорубленные зэками просеки, в самой Чуне — памятники лагерной архитектуры: клуб, выстроенный заключенными по типовому лагерному проекту, такие же я видел в Караганде, на Урале, в Мордовии; баня с выложенной по фронтому датой «1957»; бараки лагерные есть еще, но их постепенно сносят, не оставляют почему-то потомкам в качестве исторического экспоната. И полно здесь бывших лагерников-«западников» — украинцев, литовцев, русских. Этот участок БАМа — «магистрала века» — проложен руками отечественных заключенных и пленных японцев. «А по бокам-то все косточки русские» и прочие, мы ведь интернационалисты.

Хотя в эти морозы мы работали мало, но все же достаточно для того, чтобы с объекта в зону прийти грязными и мокрыми. А переодеться мне было не во что — спецовку не выдали: «Получишь, когда придет следующий этап». Ждал я, ждал, месяца

полтора ждал — не выдают. На мои и бригадира просьбы и требования офицер — начальник отряда просто не обращал внимания.

— Пока мне не выдадут спецовку, не буду работать! — заявил я наконец.

— Бу-удешь! Посажу в карцер как отказника!

На другой день я перестал работать. Выхожу со всеми на объект — и либо сижу в курилке, либо, если погода помягче, расчищу себе в снегу тропинку и гуляю. Бригадир не гнал меня на работу, он знал, что я таким путем добиваюсь «законных прав». Я был уверен, что он ставит мне в табеле отказы, и ждал, когда начальство на это прореагирует. И вдруг узнаю: бригадир ставит мне рабочие дни. Это значит, что в конце месяца мне начислят такой же заработок, как и другим бригадникам, я урву денежки с тех, кто работает.

Пришлось мне объясняться с бригадиром:

— Ставь мне прогулы, я ж не работаю!

— Не могу: я еще никого не помогал устроить в карцер!

Дворецкий не был похож на других бригадиров-уголовников. Его поставили на эту должность как специалиста-строителя, он тяготился ею, стеснялся заставлять работать заключенных, не угождал начальству. Недолго он и продержался в бригадирах — при мне же его заменили другим, более пригодным — Сапожниковым.

— Так не ты посадишь, а начальник отряда!

— Я ему не помощник. Я такой же зэк, как и ты. Сегодня я бугор, а завтра pošлют носилки таскать вместе с тобой!

Есть такое неписаное зэковское правило: не хочешь работать — не выходи из зоны на объект, оставайся в жилой. Тогда тебя посадит в карцер начальство, а бригадир сохранит свой авторитет перед зэками. Я не хотел дать законный повод для репрессий. Выходить на объект я обязан, так как одет «по сезону», телогрейку, ватные штаны, шапку получил еще в Соликамске. Но, не получив спецовки, имею право не работать. И без Дворецкого найдется кто-нибудь, кто доложит о моем саботаже отрядному.

И точно: еще через пару дней отрядный явился к нам в курилку. Он собрал бригаду и стал мне вычитывать:

— Работать не хотите! Отлыниваете! Вы, Марченко, злостный нарушитель режима!

— Сами вы злостный нарушитель режима, два месяца не выдаете спецовку!

— Вот теперь я тебя в карцер посажу за оскорбление. Тоже мне, интеллигент нашелся — спецовку ему подавай.

Он не посадил меня ни завтра, ни послезавтра. Зато он стал науськивать на меня некоторых бригадников: мол, я обдираю

бригаду. Когда я с ним спорил при всех — сочувствие было на моей стороне: все видели справедливость моих требований и что я, отказываясь работать, не скрываю этого, не прячусь за их спины. Вообще при любом споре с начальством эски всегда на стороне эска. Но после этого объяснения нашлись такие, кто не только враждебно посматривал на меня, но и угрожал расправой; а начальство, мол, за тебя не заступится. Как-то один из эсков кинулся на меня с молотком в руках, в ответ я поднял лопату. Дело не дошло до развязки, вмешались остальные и уgomонили нас.

Лишь через две недели отрядный все же упек меня в карцер на семь суток. В постановлении говорилось, что я «одет полностью». После карцера выдали мне спецовку. За что же, спрашивается, я сидел неделю? Да с кого спросишь?

Тем временем проходила зима, а с нею и срок шел к концу. С кумом Антоновым у меня не было не только стычек, но и вообще встреч; но его угроза висела надо мной, как топор. Было несколько мелких стычек с начальником КВЧ, майором, когда мне прибыли две книжные бандероли. Он не хотел мне их отдавать:

— Вас сюда прислали срок отбывать, а не книжки читать. Мало вам лагерной библиотеки!

— Мало.

— Книжки со свободы отдавать не будем.

— Почему?

— Почему, почему! Грамотные сильно стали все, права свои знаете, как что не по вас — только и слышишь: почему, за что, на каких основаниях?

— Ну, а все же почему нельзя книжки получать с воли?

— Знаем, как в лагере книжки читают: начинают с Флобера, а потом онанизмом занимаются!

Хотел я спросить начальника культурно-воспитательной части: сам-то он читал ли этого писателя, проверил ли на себе его воздействие? Но не решился вести бой на незнакомой мне местности: я Флобера не читал. И потому спросил о другом:

— А Ленина читать в лагере можно?

Майор, помолчав, спокойно ответил:

— Ленина — это мы подумаем.

Все же отдал он мне мои бандероли, поскольку там был не Флобер, а что-то, на его взгляд, более безопасное.

Весной я снова угодил в карцер, и повод был аналогичный первому: я отказался выходить на работу, на этот раз не выходя и в рабочую зону. Мы в это время заливали гудроном крышу гаража, приходилось таскать носилки по узенькому скользкому трапу без перил и ограждений на пятиметровую высоту. Бывало, что с трапа срывались и здоровые парни, у меня же голо-

вокружение, «запрещена работа на высоте». Когда я сказал об этом отрядному, он съязвил: «Подумаешь, высота! Не в космос тебя запускают!» Другой работы мне не дали.

Когда я слетел-таки с трапа вместе с носилками, то решил, что, чем покалечиться на лагерной работе, лучше уж остаток срока отсидеть в карцере, пусть и на штрафном пайке. Мне к этому времени оставалось до конца всего два с половиной месяца.

20 мая кончились мои пятнадцать суток отсидки. Если я снова не выйду на работу, меня опять посадят. Но в промежутке я успею в зоне помыться с мылом (в Ныробе в карцере отбирали и мыло, и зубную щетку: «Это вам не санаторий!») и получить письма, накопившиеся за две недели.

Однако в зону меня не выпустили: объявили, что отправят на этап в другой лагерь.

Вот тебе на! За два месяца до конца срока — в новый лагерь! Что-то это не к добру, подумал я. Мне даже вещи не дали собрать, принесли прямо на вахту собранный в бараке без меня узелок. Проверяю — нет главного для меня: моих тетрадок с записями. Было у меня их четыре, а отдают одну, в которой мои выписки из Герцена, Короленко, Успенского и других книг. Те три, в которых мои собственные записи, восстановленные после пермского шмона планы задуманных повестей, снова остались в руках главных оценщиков худлитературы.

Каши они из этих записок никакой не сварят: «Случай на выемке», «Пиковая дама» — что дадут им такие записи? Ничего ровным счетом. Впрочем, одно им полезно и приятно: то, что у меня этих тетрадок не будет.

Потом, уже на воле, у меня еще трижды отбирали на обысках все, что я успевал написать: планы, черновики. Неужели все это лежит где-нибудь в хранилище КГБ в ячейке на букву «М»? Нет, наверное, сожгли в специальном крематории для рукописей, предварительно вынеся резолюцию: «Материалы могут быть использованы для написания антисоветских произведений» — именно такое заключение предъявили мне в КГБ Москвы в 1974 году. Кто же эти эксперты? Литературоведы — кандидаты и доктора наук? Или рядовые «литературоведы в штатском»? Вот интересно бы это узнать!

Владимир Максимов стыдил меня и ругал за то, что я не умею работать, как полагается советскому писателю: писать надо, говорил он, сразу в нескольких экземплярах — и сразу прятать написанное в разных местах. Он, Максимов, только так и пишет. Что-то отберут, но хоть один экземпляр останется.

Не это ли имел в виду Л. З. в своей телеграмме: «...вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем»? То есть, как говорит Солженицын, писателем-подпольщиком.

Учусь этому, учусь. По правде говоря, этому научиться все же проще, чем научиться писать.

Меня и еще четырех эков отправили на машине в Валай — это, как говорили, самый паршивый из всех ныробских лагерей.

Действительно, и сам дальний таежный поселок, и лагерь, куда нас привезли, вызвали уныние одним своим видом: что дома в поселке, что бараки в зоне — ветхие, гнилые, осевшие в землю по самые окна. Если кто идет мимо барака, то из окна видны одни ноги. Кажется, подуей ветер посильнее, толкни крайний домишко, и все постройки свалятся друг за дружкой, как выстроенные в ряд костяшки домино. И эти постройки стоят среди сплошной тайги, откуда идет лес на новостройки по всей стране! То ли люди здесь живут ленивые, то ли чувствуют себя временными жителями. Зона в это время года — в мае — утопала в грязи настолько, что ни машина, ни даже трактор гусеничный не могли в нее въехать. Даже дрова для бани и столовой сваливали снаружи возле вахты, и каждый ээк, возвращаясь с работы, должен был прихватить чурку и оттащить на место. Ээки путешествовали между бараками по узким дощатым настилам, и не всегда им удавалось преодолеть без потерь грязевую преграду: бывало, оставляли в топи обувку, вытаскивать ее приходилось руками. Оттаявшие помойки и сортиры распространяли по всей зоне страшное зловоние.

Здесь я увидел остроумное приспособление для колки дров. Помню, когда мне в больничной зоне в Мордовии приходилось топить печи, я мучился, пытаюсь расколоть чурку дров: хоть зубами грызи ее, топора-то в зоне «нэ положено». На Валае в зоне топор есть, вернее, не топор, а колун без топорща. Но взять его в руки одному мужику нельзя: он приварен тупой стороной к большой и тяжелой железной платформе. Бери полено и бей его об колун! Можно подавать заявку в бюро рационализации и изобретений.

На Валае я столкнулся с явлением, знакомым мне еще по Карлагу. Мы, новички, пришли первый раз в столовую на ужин. Все столы заняты, нам с нашими мисками приткнуться негде. Смотрим, один стол почти пустой, сидят за ним трое-четверо. Сели мы за этот стол, едим; другие ээки, здешние старожилы, глядят на нас, пересмеиваются. Наконец, подходит один к нам:

— Вы, парни, за этот стол не садитесь: он для педерастов.

Вот оно что! Среди этой бесправной, униженной массы есть самые низкие, своя каста «неприкасаемых». Так было и в Карлаге. Педерасты (но не все, а именно пассивные; активные ходят в героях) — самая забитая, самая бесправная часть лагерного населения, с ними каждый ээк может сделать все, что угодно: выгнать из столовой, сбросить с нар, заставить работать

задарма на бригаду. Большинство этих бедняг — молодые ребята, некоторые стали педерастами еще в колонии для малолетних. Свое унижение они воспринимают как законное, пожаловаться им некому...

Но продолжить наблюдения лагерного быта на новом месте мне не пришлось. Через неделю после прибытия меня вызвали в штаб, и прокурор из Перми Камаев предъявил мне две казенные бумаги: по ходатайству Антонова, ныробского кума, против меня возбуждено уголовное дело по статье 190-1; вторая бумага — постановление об аресте, о взятии меня под стражу. Как будто я и так в зоне не под стражей! Нет — теперь меня будут держать в следственной камере при карцере.

Ну, так Антонов слов на ветер не бросает! Первое, что я сделал, — заявил и устно, и письменно, что Антонов намеренно сфабриковал дело, что он обещал мне это еще в первый же день в Ныробе.

— Марченко, подумайте, что вы говорите! — Камаев старается держаться «интеллигентно», разъясняет, опровергает меня без окриков. Он прокурор, он объективен, он не из лагеря, а «со стороны». Это человек лет тридцати — тридцати пяти, аккуратный, белозубый, приветливый, его даже шокирует моя враждебность.

— Зачем Антонову или мне фабриковать на вас дело? У нас есть закон, мы всегда действуем по закону...

— Да, да, лет тридцать назад миллионы соотечественников были все шпионы и диверсанты — по закону, знаю.

— Что вы знаете?! Зря при советской власти никого не сажали, не расстреливали. Заварил Хрущев кашу с реабилитацией, а теперь партия расхлебывай!

— И это говорит прокурор!

— Скажете, и вас ни за что посадили? Не занимались бы писаниной, сюда не попали бы!

— Между прочим, у меня обвинение не за писанину, а за нарушение паспортных правил.

— Мало ли что в обвинении. Книжки писать тоже с умом надо. Писатель! Восемь классов образования!

— У вашего основоположника соцреализма, помнится, и того меньше.

— Что вы себя с Горьким сравниваете! Он такую школу жизни прошел — настоящие университеты!

— В вашем Уголовном кодексе эти университеты теперь квалифицируются соответствующей статьей: бродяжничество.

— Марченко, Марченко, сами вы себя выдаете: «ваш Горький», «ваш кодекс», — передразнивает меня Камаев. — Сами-то вы, значит, не наш!

— Так в этом что ли мое преступление? «Наш» — «не наш»? Это какая же статья?

— Знаете законы, сразу видно,— Камаев переходит на сугубо официальный тон.— Оперуполномоченный Антонов получил сигналы, что вы систематически занимаетесь распространением клеветы и измышлений, порочащих наш строй. Можете ознакомиться, — он вынимает из папки несколько бумажек и протягивает мне.

Это «объяснения» заключенных из Ныроба. В каждом говорится, что Марченко на рабочем объекте и в жилой зоне распространял клевету на наш советский строй и на нашу партию. Таких «улик» можно получить не три, а тридцать три, сколько угодно.

В уголовном лагере, и на работе, и в жилой зоне, идет непрерывный пустейший треп. Зэки без конца спорят на все темы, в том числе и на политические. Здесь можно услышать что угодно: от сведений, составляющих государственную тайну, и до живых картинок об интимных отношениях между членами правительства или Политбюро. У каждого, конечно, самая «достоверная информация». Попробуйте усомниться! Лагерная полемика не знает удержу, и в пылу спора из-за пустяка то и дело в ход идут кулаки. Лучше всего не ввязываться в эти диспуты. Даже когда спорящие обращаются к вам как к арбитру, остерегайтесь! Вы знаете, что все они несут чушь, но если попытаете им противоречить, опровергать их, то они объединятся против вас. Только что они готовы были друг другу перервать глотку. Сейчас они сообща перервут ее вам!

Эта картина знакома мне еще по Карлагу, по пятидесятым годам. Здесь, в Ныробе, в конце шестидесятых, я наблюдал и слышал то же самое. Иногда спорящие обращались ко мне. Я обычно отмахивался или говорил, что не знаю. На это непременно следовал ответ:

— Е... в рот, а еще читает все время!

Вот я лежу в бараке на своей кровати, читаю. В проходе несколько зэков спорят до хрипоты, со взаимными оскорбительными выпадами. Один из них трясет мою кровать за спинку:

— Глухой, ну вот ты скажи, ведь в натуре Ленин был педерастом?

Что сказать на это?

У меня не раз, бывало, возникала мысль: уж не провокация ли это? Да только я слишком хорошо знал лагерь и его обитателей: такой треп обычен везде и всегда в тюрьмах и лагерях.

— Глухой, ты вот до х... читаешь. Скажи, ведь точно, что Фурцеву все правительство е...?

Меня выручает сосед справа, Виктор:

— Да кому она там нужна? Она только в газетах такая красивая да молодая! А Брежневу девочек приводят! Комсомолок!

— Слушай,— говорю я тому, кто спрашивал,— ты вот болта-

ешь от нечего делать, что тебе в башку взбредет, а когда тебя возьмут за жопу, то будешь валить на любого, лишь бы самому отвертеться!

— А у меня образования всего лишь десять классов! Сейчас за болтовню сажают только с высшим образованием! — и это с полной убежденностью, что так оно и есть на самом деле.

Доказывать и рассказывать, что посадить могут любого, независимо от образования? Что я сидел с такими, у кого образование пять-шесть классов и кто угодил в политлагерь по 70-й статье за анекдоты? Вот как раз и будет с моей стороны агитация, пропаганда, клевета, измышления — весь букет хоть на 190-1, хоть и на 70-ю.

Если учесть, что уголовный лагерь живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», — то в такой атмосфере сфабриковать обвинение по статье 190-1 оперу ничего не стоит. Всегда он может подобрать нескольких провокаторов, которые, кто за посылку, кто за свидание или досрочное освобождение, дадут любые показания на кого угодно. Главное, из-за безответственного трепачества почти каждый зэк у кума на крючке, каждого есть чем шантажировать. Это было проделано Антоновым при фабрикации моего обвинения, о чем мне позднее скажут сами зэки.

Липовое мое дело, состряпанное Антоновым, оказывается непробиваемым: масса «свидетельских» показаний: «Марченко неоднократно говорил», «всегда клеветал», «я сам слышал», — а других доказательств не требуется. Статья 190-1, предусматривающая как письменные, так и устные «измышления», позволяет судить за слово, за звук, не оставивший материального следа. Так что, друг, если двое говорят, что ты пьян, иди и ложись спать!

Конечно, при низком уровне общей и юридической культуры Антонова и его свидетелей (какое там низкий — нулевой! со знаком минус!) в деле повсюду торчат «ослиные уши», а Камаев мог бы их заметить. Свидетельские показания не стыкуются между собой, то есть не подкрепляют друг друга. Один свидетель показывает, что Марченко такого-то числа января месяца говорил то-то и то-то, а другой сообщает о другом высказывании и уже в другое время. И как они помнят в мае, какого числа и что именно сказал я в январе? Большинство показаний носит общий оценочный характер: «клеветал», «измышлял», «порочил». А те, которые содержат конкретный «материал», поневоле вызывают у меня смех. Вот показания: «Марченко утверждал, что Пастернак в «Докторе Живаго» правильно изобразил советских женщин, что у них ноги кривые и чулки перекручены». Мозги перекручены у этого парня или у Антонова, который, наверное, ему диктовал. Ни с кем в лагере я не говорил ни о Пастернаке, ни о Синявском, тем более не повторял газетную чушь.

А свидетеля этого я помню: недавно он с пеной у рта доказывал соседу, что в Соединенных Штатах язык американский, а английский — это в Англии, и дураку ясно.

Я указываю Камаеву на несуразность в показаниях.

— Что же, все вас оговаривают?

— Может, и не все, только в дело попали нужные Антонову свидетельства.

— Вы хотите сказать, что были и другие? Марченко, в дело вносятся все свидетельские показания, все протоколы нумеруются. Таков закон,— важно говорит Камаев.

Я объяснил Камаеву и то, что насчет «Доктора Живаго» мне приписывают ерунду — я как раз недавно читал роман, помню, что там есть и чего нет. А вот свидетель, конечно, не читал и несет Бог весть что от моего имени.

Когда месяца полтора спустя я знакомился со своим делом,— стал искать там эти показания и не нашел.

— Где же они? — спрашиваю Камаева.

— На месте, конечно, где им быть. Да зачем вам, вы же их хорошо помните.

Снова листаю дело — их нет. Нет и других показаний, будто я «восхвалял американскую технику и клеветнически утверждал, что американцы переплюнут наших и первыми будут на Луне». Когда мы говорили об этом с Камаевым, я сказал, что, хотя показания эти ложные, я действительно высокого мнения об американской технике и думаю, что они первыми высадятся на Луне. Разговор был в мае-июне. А ко времени знакомства с делом, в конце июля, как раз американские космонавты прошли по лунной поверхности. И вот я не нахожу в деле и этого протокола. Где же он?

— Найдем, найдем, сейчас найдем,— бормочет прокурор, листая дело и косясь на присутствующего здесь московского адвоката, Дину Исааковну Каминскую, а я уже по лицу его вижу: знает он, что ничего не найдет.— Нет. Значит, таких показаний не было. Вы что-то перепутали, Марченко!

Вот так. «Таков закон».

Между прочим, пока я сидел в следственной камере на Валяе, мне пришлось узнать Камаева еще в одном воплощении. Зэки в карцере и ПКТ пронюхали, что здесь прокурор по надзору, и стали требовать его посещения: были у них жалобы. Каждый день я слышал крики: «Прокурора сюда! Зови прокурора!» — и в ответ могучую матерщину надзирателей. А однажды в коридоре раздался голос самого Камаева (пришел-таки!):

— А! Раз... вашу мать, прокурора вам?!

Камаев показал класс матерной ругани не ниже самих зэков и надзирателей.

Продержав недели две в следственной камере, меня отпра-

вили в Соликамск — до Ныроба на грузовике, а от Ныроба до места везли в «воронке» под двумя запорами: «воронок» заперт, да еще тесный бокс, куда меня затолкали, тоже на задвижке с замком. В боксе темно, ни щелочки. По остановке, по тому, как идет машина, потом снова остановилась, догадываюсь, что въехали на паром. Значит, Чердынь. Будем переправляться через Вишеру.

Неприятное ощущение охватывает при переправе через реку вот таким макаром: запертым в «воронке», да еще в отдельном боксе. Я слышал, будто по инструкции МВД при переправе двери камеры в «воронках» должны быть открыты на случай аварии. Это только слухи — про существование такой инструкции. Есть она или это выдумка, не знаю.

Сидеть в «воронке» запертым в тесном боксе, обшитом железом, очень неприятно. Так и представляешь себя в этом железном ящике падающим вместе с машиной с парома в реку. Кто ездил в наших «воронках», тот знает, что такое здешние запоры и замки, задвижки. Их и в нормальных условиях открыть или закрыть проблема, конвоир долго возится, пока защелкнет замок. А уж в суматохе-то, да под угрозой гибели самого конвоира — не надейся, что тебя откроют, если машина скатится с парома в воду.

На память приходят рассказы заключенных, как такие вот «воронки» с зэками тонули и все зэки гибли.

Вспомнишь все трагедии, что тебе пришлось слышать о судьбе эковской: то машина при переезде зимой через реку ушла под лед вместе с конвоем и зэками, то где-то под Свердловском загорелся вагонзак и конвой выскочил, а эков так и не выпустили, опасаясь, что разбегутся, все они заживо сгорели. Правда это все или фантазии — попробуй узнай! Ведь если такое и произойдет — ни одна газета об этом нам не сообщит.

В Соликамске, как в каждом порядочном городе, есть, кроме пересылки, своя тюрьма. Она расположена в бывшем монастыре. Поснимали только маковки со всех строений.

Поместили меня вначале одного в тройник, а на четвертый или пятый день ко мне поселили молодого парня лет двадцати двух. Он вошел с таким затравленным видом, пугливо посматривая на меня, что я посчитал его чокнутым. После он мне открылся, и мне стала понятна его настороженность: начальник режима сказал ему, что в наказание за драку посадит к такому лагерному тигру, который его живьем съест и косточек не оставит.

— Он мне такого наговорил, что я здесь две ночи не спал, боялся тебя,— говорил сокамерник, теперь уже посмеиваясь.— У тебя, мол, пять судимостей и все тяжелые, с убийствами!

Пару раз меня вызывали и водили к Камаеву. Самим делом он мало интересовался. Любил он поговорить «без записей в протокол», просто так. А тема у него одна: зачем писал, зачем суешь нос, куда никто не просит?! И вывод один: свободы мне не видать.

В какой-то день меня вызывают из камеры, опять заталкивают в бокс «воронка» — куда, зачем везут, неизвестно. Но путь недолог. Привезли на вокзал, прямо к вагонзаку. Как обычно, все камеры битком набиты, а меня, прямо как короля, помещают одного в тройник. Правда, такой тройник — сверху решетки железная дверь с глазком — в вагонзаке служит карцером для особенно беспокойных пассажиров. Зато один! Впрочем, вначале нас четверо: я и трое конвоиров. Велят раздеться догола и производят шмон по всем правилам: «Присядь! Раздвинь ягодицы! Подними яйца!» Прощупывают, раньше чем вернуть, всю одежду, разламывают хлебную пайку. Что за честь, куда везут, уж не за границу ли? Чтоб не вывез буржуям в заднице бутылку «Столичной»?

Нет, всего только в Пермь. Здесь сверхбдительность продолжается. У вагона всех заключенных выстраивают в колонну — впереди малосрочники, сзади, под носом у овчарок и конвойных, — особо опасные рецидивисты в полосатых робах. На удивление всей колонне, меня ставят в хвосте, позади «полосатых», и конвоир приковывает меня к себе наручниками: один защелкивает на моей руке, а второй — на своей.

То ли меня сверх меры боятся — как смертника, которому нечего терять, — то ли сверх меры берегут. Для чего?

А вот для чего. В Перми меня из тюрьмы снова повезли куда-то. Привезли, осматриваюсь: ходят мимо одни в белых халатах, другие в пижамах. Ясно — психушка. Взяли без вещей — значит, пока на экспертизу. Посмотрим, что это за процедура; четвертый раз я под судом, а на психэкспертизу попадаю впервые.

В большом кабинете мне предлагают сесть за стол, за которым сидят уже пять-шесть врачей — мужчин и женщин. За моей спиной переминаются двое: тюремный офицер и какой-то тип в штатском.

Беседа со мной ведет женщина средних лет. Она задает примитивно-провокационные вопросы: «Знаете ли вы, где сейчас находитесь?», «Почему вы здесь?», «Считаете ли вы себя больным или здоровым?»

Я отвечаю резко: меня раздражает и слащавый тон, и топтание типа в штатском, и игра во врачебную объективность, в которую хотят втянуть и меня. Я убежден, что если решено упечь меня в психушку, то и упекут с благословения врачей, а если хотят отправить в лагерь, так и на сто процентов чокнутого от-

правят именно в лагерь. Зачем же мне участвовать в их игре? Я решил вести свою игру, контрольную:

— Я отказываюсь беседовать с вами, так как вы все равно напишете то заключение, которого от вас потребуют.

— Если вы не отвечаете на наши вопросы, значит, вы больны, вы душевнобольной.

— По указке сверху вы напишете, что я болен, даже если я буду отвечать.

— Вы что, считаете себя таким знаменитым и великим, что вашу судьбу решают «сверху»?

— Точно, так и считаю. Можете отметить сразу две мании: величия и преследования.

— Послушайте, я ведь не следователь, я врач. Со следователем можете не разговаривать, если не хотите. Но мы, врачи, не имеем никакого отношения к вашему делу!

— А какое «дело» у вас в руках? — Я показываю на толстую папку, которую она листает. — И почему здесь находятся эти люди? — киваю я назад, на офицера и штатского.

Хоть я и заявил, что отказываюсь отвечать, женщина продолжает задавать вопросы (заглядывая в папку): «Как вы относитесь к событиям в ЧССР?», «Какого вы мнения о жизни на Западе?», «Есть ли, по-вашему, в Советском Союзе свобода печати?»

— Скажите, вы каждому обследуемому задаете такие вопросы? И как влияет ответ на выводы экспертизы? Например, я скажу, что в СССР есть свобода печати,— может, после этого вы посчитаете меня психом, я и спорить не буду!

— Читаете ли вы газеты? — меняет тему эксперт. — А книги? Каких писателей любите?

— Герцена, Щедрина, Успенского, Гоголя, Достоевского...

— Почему же вам нравятся только писатели прошлого века?

— Да нет, я люблю и современных.

— Кого? — вскидывается она.

— На этот вопрос я не отвечаю: об этом идет речь в моем деле. (Кроме «восхваления» Пастернака, мои «свидетели» приписывали мне также пропаганду среди них Солженицына и... Аксенова. Каюсь, Аксенова я до того не читал, знать не знал, что за «криминальный» автор. Спасибо куму Антонову, после лагеря прочел; хороший писатель, вот только чем он Антонову не угодил? Или уже был в ГБ на учете?)

В июле, знакомясь с делом, я узнал заключение экспертизы: личность психопатическая, полностью вменяем. Таким образом, мой эксперимент подтвердил гипотезу: как бы я себя ни вел, решение было вынесено заранее. Уж я ли не косил на психа и шизика, а вот, пожалуйста: вменяем, пожалуйста в лагерь!

После экспертизы просидел я в Перми еще недели две. Между прочим, мой сокамерник рассказал мне забавную историю о себе.

У него тоже не первая судимость. За что были прежние, не знаю, а на этот раз его обвиняли в использовании казенного материала на солидную сумму для левых работ — он работал художником-оформителем при клубе. И так, у него были судимости и впереди маячил срок, а на его следователе висело нераскрытое преступление — ограбление магазина. И вот следователь решил по-хорошему договориться с моим сокамерником: тот берет на себя ограбление, а следователь обеспечивает ему (через знакомства в суде) минимальное наказание.

— Сначала я послал его на х... — говорил мой сокамерник, — а после до меня дошло, что я могу его вые... Когда ограбили магазин, я был в командировке, и у меня все бумаги были чинчинарем. Следователь этого не знал.

На следующем допросе следователь опять ему предложил ту же сделку. Парень для виду поломался, потом выдвинул добавочные условия: принеси поллитровку и закусить — и беру магазин; делом больше или меньше — все одно в лагерь!

В тот же день следователь снова вызвал его к себе; когда конвойный ушел, достал из портфеля бутылку водки, колбасу, сыр, конфеты, курицу и заготовленные уже протоколы допросов. Парень выпил водку и подмахнул все протоколы, не глядя. А по дороге в камеру прикинулся более пьяным, чем был. Его сразу в карцер, вызвали врача, тот засвидетельствовал опьянение. Прибежали опер и начальник режима: где водку брал?! Он все и рассказал, как было. Из карцера его наутро перевели в мою камеру. Следователя своего он больше не видел, дали ему другого.

Я вспомнил похожую лагерную историю. Там сейчас идет активная агитация, чтобы заключенные добровольно признавали свои не раскрытые преступления. Висят плакаты «Явка с повинной служит смягчению наказания», зэки широко оповещаются о случаях, когда какой-то по окончании срока снова попал под суд за не раскрытое ранее преступление и получил новый срок — сознался бы вовремя, отсидел бы все разом. Все-таки эта агитация мало действует: большинство преступников надеется на свою счастливую звезду. Но вот один наш заключенный в Ныробе решил «сознаться»: он узнал, что его сосед по барaku взял на себя чужое дело, тоже ограбление магазина. А это было как раз его, первого, преступление, оставшееся нераскрытым. Тогда он явился «с повинной» к Антонову, написал все, что требуется, был похвален и поощрен лагерными наградами: то ли внеочередной посылкой, то ли дополнительными двумя рублями на ларек. Но никакого разбирательства дела не последо-

вало: оно ведь уже списано на другого. Таким образом наш заключенный, «вставший на путь исправления», без всякого риска «очистил свою совесть».

К концу следствия отправили меня из пермской тюрьмы через Соликамск обратно в Ныроб — для проведения очных ставок и завершения прочих формальностей. То есть куда и зачем отправили, я, конечно, узнал, только прибыв на место: заключенного, хотя бы и подследственного, переставляют, как предмет, не уведомляя о цели. Везли по-прежнему «с почестями» — из Соликамска в Ныроб самолетом, со спецлетчиком. Самолетик маленький, трехместный, так что, кроме летчика и меня рядом с ним, поместился только один конвоир — зато не рядовой, а офицер. Перед взлетом заковали мне за спиной руки в наручники, да еще привязали их моим же ремнем к сиденью.

— Да не собираюсь я прыгать без парашюта,— пошутил я.

— Ничего! Так спокойнее!

Никто мне не мешал осматривать тайгу под крылом самолета. Крыло было совсем рядом, и я видел, как оно вибрировало то ли от работы двигателя, то ли от встречного потока воздуха. Летим низко, все внизу отлично видно. Вот пролетаем какую-то реку, она петляет и извивается под нами, то отсвечивая, как зеркало, то, наоборот, темной лентой на фоне окружающей зелени. А вдоль ее берегов видны нагромождения леса, приготовленного для сплава, но почему-то брошенного и гниющего здесь годами. Обычная картина на всех таежных сплавных реках — то же можно наблюдать, например, на реке Чуне около поселка Октябрьский. Только с самолета обзор шире, поэтому впечатление более мрачное.

В Ныробе начался спектакль очных ставок. Одни вызывали у меня горечь и даже жалость к моим «свидетелям», другие были настолько нелепыми, что смешили и меня, и других участников. По поведению свидетелей я безошибочно определял, кто из них стопроцентный провокатор, а кто запутался в сетях Антонова.

Андреев, Сапожников, Николаев — ээки, продавшиеся Антонову, кто за что. Они ведут себя развязно. Своих «показаний», записанных на допросах, они не помнят, но вовсе этим не смущаются. Камаев читает им их протоколы:

— Свидетель, это вы показывали на допросе?

— Точно, точно. Это самое я и говорил.

Как козырная карта идет у них Сапожников: у него значится образование десять классов. Такой свидетель выглядит приличнее. Он тужится, пыжится, пытается что-то вытащить из своей черепной коробки, но ничего не находит. Беспомощно смотрит на Камаева и Антонова, ожидая подсказки.

— Ну,— не выдерживает Антонов,— говорил Марченко на

работе и в бараке, что за границей жизненный уровень выше, чем в Советском Союзе?

— Да, да,— с готовностью, обрадованно подхватил Сапожников,— я вспомнил это. Он много раз говорил так, что там живут лучше, чем у нас. Я его одергивал, пробовал не раз переубедить, но он продолжал клеветать.

— А где, я говорил, лучше живут — в Эфиопии? — спрашиваю я.

— Какая разница,— неуверенно отвечает Сапожников, лаячески уставившись на Антонова.

— Марченко, вы неправильно себя ведете! — одергивает меня Камаев.— Повернитесь лицом ко мне, не оборачивайтесь к свидетелю! Вопросы можете задавать только через меня. Сапожников, продолжайте!

Но Сапожников больше ничего не может вспомнить. Тогда он предлагает:

— Вы пишите все, как надо, а я подпишу.

Иногда Камаев или Антонов, пользуясь моей глухотой, на-таскивают свидетелей шепотом, так что я ничего не слышу, а только догадываюсь по движению губ, что они суфлируют. Чаще всего они читают по протоколу, и свидетель согласно кивает головой.

В один из таких моментов я не выдержал, поднялся со стула и вышел в коридор. Я сказал Камаеву, что участвовать в таких очных ставках не буду.

Вслед за мной в коридор выскочил Антонов. Он схватил меня за воротник куртки и, накручивая воротник на руку, второй рукой бил кулаком под ребра. Я уже задышался, так как воротник куртки здорово затягивался на моей шее. У меня появилось большое желание ткнуть Антонову в глаз пальцем, ударить его ногой — словом, отбиваться, а не терпеть пассивно его издевательства. Слава Богу, я не успел этого сделать. В коридор вышел Камаев. Он быстро подошел к нам:

— Ладно, хватит с него, оставь!

Антонов отпустил меня и стал толкать в кабинет, шипя мне в ухо угрожающе: «Попробуй шумни! Только попробуй шумнуть!»

Он вызвал сюда же двух надзирателей, и те стояли наготове в дверях.

— Сейчас как напаялим на тебя рубашку, так зассышь-засе-решь! — еще не отдышавшись, утирая пот платком, орал на меня Антонов.— Будешь как миленький не только слушать, но и подпишешь все сам!

Даже сегодня я не могу спокойно вспоминать об этом.

А Камаев улыбается: «Марченко, учтите, никто вас не трогал, не душил».

Очные ставки продолжали идти тем же порядком. Я в них

никакого участия не принимал, теперь даже сам старался ничего не слушать, что было не так уж трудно. Видя мое полное безучастие и внешнее безразличие, Камаев, да и Антонов старались заводить меня посторонними разговорами, не по протоколу:

— Нет, Марченко, надо быть умнее. Книгу написал — а какой тебе прок? Слава где-то, а сам ты здесь, в лагере, и сидеть будешь, пока не сгниешь. Подумаешь, назвал одного-другого. Кто этого боится? Пожалуйста, вот о нас пусть хоть Би-би-си передает, хоть даже «Свобода». Ты наши фамилии знаешь, их мы не скрываем.

К этой теме они возвращались не раз:

— Можешь о нас передавать хоть в ООН, мы этого не боимся!

Так и вижу этих «верных сынов Отечества» прикидывающими к транзистору в ожидании, что вражеские голоса не забудут и их имена.

Это своеобразное тщеславие очень характерно для низшей администрации. Лариса рассказывает, что начальник Чунской милиции так же набивался на известность:

— Думаете, я боюсь, если вы передадите обо мне «Голосу Америки»? Я этого не боюсь. Моя фамилия Владимиров.

(Тогда же он спрашивал: «А кого вы больше не любите: милицию или КГБ?») И с удовольствием услышал, что к милиции Лариса относится вполне лояльно, уважает ее функции. Видно, оценка политической ссыльной все же нужна была ему для самоуважения.)

После целой череды зэков из колоды вытаскивают козырно-го туза: состоится опознание и очная ставка с вольнонаемным Рыбалко.

— Пожалуйста, это человек вольный, от Антонова не зависит. Он тоже дает показания против вас,— торжествуя, сообщает Камаев.

— Я никакого Рыбалко не знаю, в глаза не видел.

— Зато он вас знает очень хорошо, вы в этом убедитесь.

Опознание обставлено по всем правилам: присутствуют трое понятых (зэки), Камаев как прокурор руководит процедурой. В каком качестве участвует в ней Антонов, я не понимаю, но он хлопчет, все организует. В конце кабинета стоят три стула, на двух из них уже сидят два зэка, Антонов велит мне сесть на свободный стул. Из нас троих Рыбалко должен узнать Марченко и все рассказать об этом зловещем типе.

Антонов выходит, чтобы ввести Рыбалко. Я поднимаюсь и говорю: «Прошу пока не вводить свидетеля».

— А в чем дело? — удивляется Камаев.

— Я хочу пересесть на другое место,— заявляю Камаеву.

— Пересаживайтесь,— Камаев изображает беспристрастность, а может, не в курсе игры Антонова в этом случае.

Я меняюсь местами с одним из зэков. Потом предлагаю ему же:

— Давай, земляк, поменяемся на время игры обувкой.

Зэк довольно охотно и весело соглашается, и мы переобуваемся: я — в его тапочки, он — в мои сапоги. Второго, справа от себя, прошу:

— Подержи, пожалуйста, в руках мой «домик» (шапку-ушанку).

После этого говорю Камаеву:

— Я готов.

Камаев кивает надзирателю, и тот открывает дверь. Первым входит человек среднего роста, чернявый, в вольной одежде. Я его действительно не могу припомнить, ручаюсь, что никогда не видел. За ним появляется Антонов. Он намеренно не смотрит в мою сторону, стоит к нам троим спиной, лицом к Камаеву: демонстрирует свое безразличие. В зубах у него сигарета.

Камаев объясняет Рыбалко его обязанности.

— Вам все понятно, свидетель Рыбалко?

— Да, я все понял.

— Теперь повернитесь лицом к трем заключенным и укажите, кто из них занимался распространением клеветы в адрес партии и правительства. Опознайте среди этих трех Марченко.

Рыбалко поворачивается в нашу сторону и сразу, ни секунды не помедлив, указывает пальцем на того зэка, с кем я только что поменялся местами и обувью.

— Вот это Марченко. Я его узнаю. Это он говорил, что...

И понес Рыбалко повторять, что записано в протоколах его допроса: когда он, мастер, приходил на объект, то слышал среди заключенных споры на политические темы. Один из заключенных, а именно вот этот, Марченко (он снова показывает на моего соседа), всегда клеветал на советскую власть, превозносил заграничный образ жизни, утверждал, что в нашей стране отсутствует свобода слова, печати, собраний. Однажды Марченко стал называть нашу помощь чехословацкому народу оккупацией. Тогда мы с ним сцепились так, что нас еле растащили другие заключенные.

И еще он клеветал, что в вооруженном конфликте с Китаем на острове Даманском виновато советское правительство.

— Рыбалко, всмотритесь внимательней,— настораживает его Камаев,— не ошибаетесь ли вы? Действительно ли это Марченко, а не другой кто из трех?

Рыбалко воспринимает это предостережение как намек, чтоб он уверенней подтвердил. Он еще более рьяно подтверждает:

— Да, да, это он — Марченко, я его отлично помню!

— Может, вы ошибаетесь, Рыбалко? Посмотрите повнимательней! Действительно ли вы узнали Марченко?

И Рыбалко старается:

— Как я могу ошибиться, я ему чуть в морду не дал, когда он клеветал! Я его на всю жизнь запомнил и никогда не забуду!

— Как мне теперь доказать, что я не верблюд? — вполголоса проговорил тот зэк, на которого так нагло-уверенно пер Рыбалко.

Тут Антонов повернул голову в нашу сторону. Увидев, что я сижу не с краю, а посередине, и Рыбалко тычет пальцем не в меня, он побагровел и лишился дара речи. Сигарета запрыгала у него на губе.

— Я не Марченко.— Мой сосед, видно, решил кончить игру.— Вот Марченко! — И он указал на меня.

Рыбалко растерянно моргал и непонимающе смотрел на Антонова.

— Вот так и срок наматывают,— сказал зэк справа,— и знать не будешь, за что!

— Да,— заговорил, наконец, Камаев,— ошиблись вы, Рыбалко! Указали на другого. Не узнали Марченко!

Теперь только Рыбалко окончательно понял свой промах! И он не придумал ничего другого, как под смех и понятых, и моих соседей затараторить: «Да-да, я сейчас его узнал по голосу! Это он!»

— Как же ты узнал мой голос, если я просидел все это время молча?

— Узнал я его, узнал!

Камаев кричал на всех, чтоб прекратили смех и не мешали работать. Я потребовал, чтоб он сейчас же составил протокол об опознании, и ему пришлось записать: Рыбалко не узнал Марченко, указал на другого человека.

Это был единственный документ, который подписал и я.

Под конец мой сосед справа добавил еще одну деталь. Он порывался что-то сказать, когда только ввели Рыбалко, но Камаев шикнул на него. Теперь он сделал заявление:

— Какое это опознание, если я хорошо знаю Рыбалко и он меня знает по фамилии и в лицо? Он был у нас начальником конвоя и каждый день водил на работу.

Я спросил Камаева:

— Ну, так фабрикует Антонов дело или нет?

— Вас Рыбалко не узнал, при чем тут Антонов?! — ответил прокурор.

По дороге в камеру надзиратель меня подбадривал: «Выгнать тебя теперь, у Антонова ни х... не вышло!»

А в коридоре ШИЗО выпалил дежурному офицеру и надзирателю весело:

— Вот он их вые...! Прямо кино!

Некоторые ведут себя на очной ставке не так нагло, как Рыбалко или Сапожников, вид у них затравленный, они не глядят ни на меня, ни на Антонова с Камаевым, на их вопросы отвечают нехотя, через силу, озлобленно, как лают: «Ну говорил!», «Не помню я, может, и так»... Ясно, эти попались Антонову на крючок — то ли из-за собственного трепа, то ли еще за какую провинность. Провокаторы вроде Андреева или Сапожникова помогли им стать лжесвидетелями, и, хотя они не устояли, удовольствия от того, что врут мне в глаза, не получают никакого. Вроде даже приходится мне их пожалеть.

Но врут все. Не знаю, возможно ли в это поверить: нет *ни одного* правдивого слова, показания. Ни одного.

Мне, конечно, не удастся доказать это суду, я и не надеюсь. Но того хуже: мои друзья, вероятно, решат, что я вел себя в лагере опрометчиво и неосторожно, вряд ли они поймут, что все дело, от первого до последнего слова,— беззастенчивая ложь. Ведь в основе обвинения лежит то, что я действительно думаю, что соответствует моим взглядам и мнениям. Да, я знаю, в США уровень жизни несравнимо выше, чем в СССР. Да, я думаю, что мы сильно отстали в развитии техники. Да, я вижу: у нас нет свободы слова и печати, собраний — тем более. Да, я считаю «братскую помощь» Чехословакии в 1968 году оккупацией, агрессией, как ее определяет международное право.

Только в лагере я никому, ничего, никогда об этом не говорил.

Вот на очной ставке мой сосед по кровати. Он москвич, бывший таксист, а нынче классический уголовник: пьяница и наркоман, готовый украсть у товарища по несчастью последний рубль на картежную игру, откровенный стукач — частый посетитель кабинета Антонова. Помню, орет он на весь барак о чехах и словаках: «Да их, блядей, всех до одного передушить надо! Мы их освободили, а они против нас! Х... ли с ними возиться? Пустить тысячу бульдозеров и сровнять все с землей! Все с корнем под гусеницы!»

За эти кроважидные призывы никого под суд не отдадут. Именно такие «патриоты»-уголовники и составляют фундамент нашего идеологического единства.

Правду говоря, большинство в бараке разделяет его «критику справа», а остальные просто не проявляют интереса к событиям, происходящим дальше, чем за двести метров от их задницы.

Зимой и весной 1969 года первое, что я читал в газетах, были сообщения о Чехословакии. Судьба этой страны стала для меня такой же близкой, как и судьба моего народа. Но поделиться в лагере своими переживаниями мне было не с кем. Прочитав

газету, я уходил из барака, прогуливался позади него по моей индивидуальной тропинке и переживал наедине. В барак возвращался по сигналу «отбой», чтобы сразу лечь и не видеть и не слышать окружающей мерзости.

Этот самый наркоман свидетельствует: «Марченко называл ввод советских войск в ЧССР оккупацией, я старался его переубедить, но он продолжал клеветать». Как похоже на правду! Да стал ли бы я излагать этому подонку свои взгляды не только на политику КПСС, а и на вчерашний обед в лагерной столовой?

Однако как мне опровергать такие показания? Мол, я не такой, я не против политики партии, я все думаю правильно, как полагается советскому человеку. Этого я не сделаю.

Вот я у Камаева оспариваю показания таксиста.

— Вы же сами, Марченко, писали это в письме о Чехословакии,— ехидно замечает Камаев.

При знакомстве с делом Дина Исааковна, мой адвокат, читая вместе со мной эти показания, смотрит на меня выжидающе, что я скажу.

— Дина Исааковна, это такая же ложь, как и все остальное.

И она осторожно мне намекает:

— Анатолий, может быть, вы все же говорили что-нибудь подобное? Не так, как здесь выражено, но по существу...

Трудно поверить, что все, все вранье. Тем более что Дина Исааковна тоже, наверное, знает мое открытое письмо в «Руде право» и другие газеты.

Если ваши взгляды не такие, каких сегодня требует «линия КПСС»,— вы попадаете в порочный круг. Советские руководители твердят всему миру: «В СССР за убеждения никого не преследуют, советский закон признает право гражданина иметь любые убеждения». Но никому о них не заикайся! Два собеседника — это два свидетеля, что ты вел агитацию, пропаганду, клеветал, подрывал и совершал прочие «противозаконные деяния».

Предположим, я согласился с правилами игры и держу свои мысли при себе, для себя. Тогда я враг не только вредный, но и коварный, трусливый. «Голосует за, а сам *против*»,— как говорил покойный Иосиф Виссарионович. Как опознать такого коварного врага и обезвредить его? Вообще-то для этого все средства хороши, но в разные периоды истории СССР преимущество отдавалось то одним, то другим. Ленин с Дзержинским предпочитали провокацию: ну ясно же, что попы, либеральная интеллигенция, бывшие офицеры — все это люди чуждые, враги в потенции, так вызвать их, заставить пойти на такие поступки или заявления, за которые прилично будет расстрелять, отправить на Соловки. Сталинская когорта не затрудняла себя подыскиванием или созданием поводов — уничтожала против-

ную мысль в зародыше и даже раньше, вместе с ее воображаемым потенциальным родителем.

Нынче восстановлена ленинская законность, но кое-что полезное переняли от более ранних времен творческого марксизма.

На воле в 1968 году почему-то сочли неудобным судить меня за открыто высказанное мое отношение к нескольким важным проблемам — «у нас за убеждения не судят». Мое ныробское начальство узнает о них каким-то потусторонним образом — с помощью телепатии, службы информации КГБ, внутренний голос им сообщает, заодно тот же внутренний голос внушает им дать мне статью 190-1. Ну, так раз все известно, что я держу в голове своей,— провокация, фальшивка сойдет! Не отопрусь же я от своих взглядов.

Так или иначе, ни одно преступление у нас не должно остаться безнаказанным.

Так что со свободой убеждений дело обстоит в точности по новейшему анекдоту: «Товарищ юрист, скажите, имею ли я право...» — «Имеете, товарищ». — «Позвольте, вы же не знаете, о чем речь. Имею ли я право на...» — «Имеете право, имеете». — «Пожалуйста, послушайте меня. Могу ли я...» — «А! Нет, не можете». Вот так: право имеете, но не можете.

Забавная деталь в моем деле: никто не свидетельствует, будто я высказывался о тюрьмах и лагерях. Получается, я им вкручивал насчет какой-то Чехословакии с ее чехословацким языком, насчет свободы слова (притом, кажется, не матерного), насчет неведомого Пастернака — Аксенова и даже не заикнулся о том, что им ближе всего: о штрафном пайке и карцере, о самоубийцах и беглецах... Вот где могла быть почва для пропаганды. Нет, информацию об этих моих высказываниях Антонов с Камаевым не доверили даже самым верным своим стукачам и провокаторам.

...А каков уровень, какова форма приписываемых мне «измышлений»? «Коммунисты выпили из меня всю кровь! — будто бы кричал я в карцере.— Не буду работать на коммунистов!» Оба выкрика квалифицируются как «клеветнические лозунги». Надо сказать, и то и другое довольно часто орут в лагере, в карцере, в тюрьме, это обычная формула выражения недовольства; повод может быть любой: не дали (отобрали!) курево, перевели в другую бригаду, отняли на шмоне теплые носки, не удалось достать морфий... Естественно, на такие вопли (плюс матерщина) никто не обращает внимания. Но когда надо было с чего-нибудь начать мое дело, Антонов извлек из своих мозгов единственный известный ему, прочно там засевший «лозунг»: «Коммунисты выпили из меня всю кровь!» Унизительно доказывать, что я не произносил этих слов.

Какую же позицию может занять здесь адвокат, мой защитник на суде? Ладно, я буду монотонно повторять: «Это ложь. И это ложь. Ничего этого не было». Я-то знаю, что дело фальшивое. И свидетели знают, и обвинитель. Адвокат должен опровергнуть обвинение фактами — здесь фактов нет и быть не может, одни слова с обеих сторон: «было» — «не было». В каком положении окажется мой адвокат перед этой бандой? И я решил на суде отказаться от защитника, чтобы не ставить Дину Исааковну в дурацкое положение. Буду вести свою защиту сам, все равно исход суда предрешен.

Суд «открытый». Чуть ли не показательный: в будний день в помещении библиотеки, где он происходит, полным-полно эзков вперемешку с надзирателями и офицерами.

Я не ждал на суде ничего нового, приготовился услышать то, что уже читал в протоколах и слышал на очных ставках. Но я ошибся, переоценил срепетированность спектакля, переоценил старательность режиссера. Судебное разбирательство принесло мне несколько приятных для меня неожиданностей.

Провалился эпизод с выкрикиванием в карцере «клеветнических лозунгов». В деле он выглядел так: четыре свидетеля — дневальный ШИЗО эзк Седов, два надзирателя и эзк Дмитриенко, ремонтировавший печи в коридоре, — написали четыре заявления, что такого-то числа заключенный Марченко всякий раз, как открывали кормушку, выкрикивал в нее эти самые «лозунги».

Ни одного из них я не видел на очной ставке. И вот на суде вызывают Дмитриенко. Я помню его заявление и жду соответствующих показаний.

— Свидетель Дмитриенко, вы знаете подсудимого Марченко?

— Нет, я его вижу впервые.

— Как?! А ваше заявление?!

— Да, я написал заявление по указанию Антонова. Я слышал эти выкрики, но не знал, кто кричал. Антонов сказал: «Кричал Марченко, так и пиши». Теперь я знаю, что это был не Марченко, а другой заключенный, из другой камеры. Если суд меня спросит, я назову этого человека: он присутствует здесь, в зале...

Нет, прокурор не хочет узнать имя настоящего «виновного». И судья и заседатели не задают Дмитриенко этого вопроса. Мог бы спросить я, но не стану я навлекать неприятности на голову неизвестного мне эзка, хоть бы он вопил, что не коммунисты, а я сам выпил его кровь.

— Свидетель Дмитриенко, кто еще вместе с вами слышал эти лозунги? — спрашивает судья.

— Вместе с оперуполномоченным Антоновым меня убеждал показать на Марченко дневальный, заключенный Седов.

Он тоже написал такое же заявление. Недавно Седов помилован по представлению администрации и уже освобожден из лагеря...

Седов помилован! Он отсиживал в ПКТ (и дневалил там) за систематические и злостные нарушения, его шестимесячный срок отсидки еще не кончился, — а он уже выпущен не только из ПКТ, но и из лагеря. Заслужил! Какую же характеристику написал ему Антонов на помилование?

Я прошу суд точно занести в протокол показания Дмитриенко. И еще я просил вызвать свидетелями тех заключенных, которые вместе со мной сидели в карцере. В деле нет их показаний — значит, Антонов либо поленился, либо не сумел обработать их.

— Кого именно? — спрашивает судья Хреновский. — Назовите фамилии.

— Я не знаю их по фамилиям.

— Ну, подсудимый, как же мы сможем найти ваших свидетелей?

— Найдете легко: по журналу, где регистрируются все заключенные в ПКТ и в ШИЗО — и фамилия, и день, и час, даже минуты.

Суд решает удовлетворить мое ходатайство. Пока что до завтра объявляется перерыв, и меня уводят в камеру. Здесь я вечером снова вижу Дмитриенко: он раздает ужин в кормушку. До этих пор мне не удавалось увидеть раздатчика — он опасливо отходил от моей кормушки, сунув мне в руки миску, я видел только его руку, которая моментально отдергивалась. Теперь я понимаю, Дмитриенко знал, что в камере сидит Марченко — тот самый, на кого он написал донос, к тому же ложный! Как бы этот Марченко из мести не выколол ему глаза или не плеснул в лицо горячей баландой! Это старый лагерный способ отомстить врагу. А сегодня Дмитриенко увидел, что «тот самый Марченко» вовсе не тот, и, значит, мы уже не враги. Он стоит у кормушки и улыбается:

— Прости, земляк, я же вправду не знал, Седов, подлюга, и кум впутали меня: «Марченко и Марченко, пиши, что Марченко...»

Коридорный торопит его, захлопывает кормушку, и уже через дверь я слышу:

— Седов-то знал, он за помиловку куму продался!

В этот вечер у меня было отличное настроение: Дмитриенко испортил им представление. К тому же у меня в руках небывалая передача: жареная курица, виноград, пирожные, огромная сочная груша. Все это привезла мне из Москвы молодая адвокатесса, приехавшая на суд вместо Дины Исааковны. Я отказался от ее помощи, как решил заранее. Постарался объяснить ей мои

причины. Мне было очень перед ней неловко, она летела ради меня в такую даль — получается, чтобы передать мне курицу и грушу. Но чувство неловкости не испортило мне аппетита.

Передали мне передачу прямо в суде, и я под конвоем возвращался в камеру, торжественно неся авоську с торчащими из нее куриными ногами, а виноград и грушу, чтобы не помять, я положил на самый верх. Навстречу нам попался старшина, который вез меня на суд из Соликамска и злобно издевался надо мной всю дорогу: не дал есть, оправиться заставил на виду у народа, при этом он еще страшно матерился. Старшина, толстый, как боров, моментально углядел необычные здесь предметы: курицу, грушу, виноград. Глаза у него округлились:

— Ни х...! Откуда это у тебя?

— Суд преподнес.

— На каком праве?! Не положено!

— Вез без обеда, так не спрашивал про право, а увидел у зэка курицу, права вспомнил?

— Не давай ему занести передачу! — отдал старшина распоряжение конвойному. — Я сейчас скажу, чтоб ее обратно забрала. Придержи его, пока я сбегая!

— Пошел ты! — обозлился конвойный. — У себя в Соликамске командуй!

И он отвел меня в камеру.

На всякий случай я съел все, что мог осилить, пока не отняли. Правило зэка: хватай, что тебе досталось, и не выпускай из рук. Лагерные правила и привычки так крепко въедаются в натуру, что сказываются и на воле.

Помню, в 1967 году после десяти лет лагерей освободился Леонид Рендель. Московские знакомые устроили встречу, ужин был со всякими вкусными вещами. Кто-то обратился к нему:

— Леня, как ты думаешь?..

Готовясь ответить серьезно и обстоятельно, Рендель тщательно облизал ложку с двух сторон — *отшлифовал*, полагерному, — и сунул ее в верхний карман новенького, сегодня впервые надетого костюма. Зэк носит ложку всегда при себе, в единственном кармане лагерной робы.

В другой раз я, выходя через контрольный пост в большом московском гастрономе самообслуживания, совершенно автоматически поднял руки вверх, подставляя бока под привычное ощупывание, как на шмоне в предзоннике. Публика вокруг замерла, а я даже не сразу понял, в чем дело.

А когда мы с Ларисой регистрировали наш брак в московском загсе, разыгралась комическая сцена. Свидетелями у нас были Люда Алексеева и Коля Вильяме — он отсидел свой срок еще при Сталине. Распорядительница с лентой через плечо торжественно приглашает нас:

— Проходите вперед, по одному, пожалуйста.

И вот впереди шествует жених, то есть я, а в затылок ему бредет свидетель, кандидат наук Вильяме,— и оба взяли руки назад! Картина под названием «Прогулка заключенных»...

...На следующий день в суд привели «моих» свидетелей — тех, кто сидел со мной в карцере. Их прошло человек двадцать. Я едва мог их вспомнить, там ведь в камере состав каждый день меняется. Ни один из них не подтвердил, что я что бы то ни было кричал там:

— Этот глухой-то? Да он и к кормушке при мне ни разу не подходил.

Двадцать человек в одной камере со мной не слышали от меня никаких выкриков. А Седов в коридоре слышал!

После показаний этих свидетелей и Дмитриенко суд должен был усомниться в достоверности всего остального: ведь Дмитриенко ясно сказал, что Антонов велел ему написать на Марченко. Но этого, конечно, не будет. Хорошо, хоть эпизод с дурачками «лозунгами» провалился.

Среди вызванных свидетелей, моих сокамерников, вдруг появляется один, которого я раньше никогда не видел, ручаюсь: очень изможденный, типичное восточное лицо, узбек, что ли; я бы запомнил, если бы видел. Фамилии его я не расслышал. Неожиданное сразустораживает: наверное, Антонов сунул своего человека в общую массу. Я спешу заявить:

— С этим человеком я не был в одной камере и никогда его не видел.

— Я сам скажу! Не надо за меня говорить! — перебивает свидетель.

С минуту мы бестолково препираемся, я — свое: «Никогда не видел», он — свое, с легким восточным акцентом: «Я сам скажу!»

Наконец судья прерывает нас, начинает спрашивать свидетеля. Еще одинстораживающий момент: образование у него среднее техническое плюс вечерний университет марксизма-ленинизма. «Уж этот скажет!» — думаю.

— По какой статье осуждены? — спрашивает судья.

— Сто девяностая — первая, срок три года.

«Что-что? — чуть не закричал я вслух.— И такой здесь нашелся! Коллега, откуда ты и за что?»

Прокурор тоже оживился. Он даже обратился к новому свидетелю с речью-призывом:

— Ваши показания будут очень ценны для суда.

— Я постараюсь. Я все понимаю,— соглашается тот.— Я сижу в карцере постоянно, так как отказываюсь работать. А работать отказываюсь, потому что не в состоянии справиться физически. И я решил лучше сидеть на голодном пайке в кар-

цере, чем на полуголодном надорваться на работе. Таким образом, я был в карцере и тогда, когда там был Марченко, которому приписывают выкрики,— я этих выкриков не слышал...

— Свидетель, почему вы говорите «приписывают»?

— Не я один говорю, весь лагерь говорит. И надзиратели тоже.

— Суду ясно, что вы ничего не можете сказать по существу дела...

— Могу сказать. По существу дела говорю: выкрики — по существу, да? Я в лагере таких выкриков наслушался, повторить боюсь. Не от Марченко, я Марченко не видел. От всех. Сначала я пробовал останавливать их, так меня оскорбляли, обзывали коммунистом и комсомольцем — в ругательном смысле. Даже били.

— Свидетель, это все к делу не относится. Идите.

Я не все разбирал, что говорил этот парень: он торопился успеть сказать побольше, пока его не оборвали. Так и не пришлось узнать его фамилию.

Эй, приятель! Где ты? Досидел ли до конца срока в карцере? Пригодилось ли тебе твое марксистское образование?

И других свидетелей я часто не слышу. Ни слова не разобрал из показаний молоденького парнишки — солдата срочной службы, присланного служить в лагере. Он стоял совсем рядом со мной, я видел, как он едва шевелил губами. Отвечал он, опустив голову, глядя себе в ноги. Вот бедняга!

Многие другие держатся так же. Но немало и таких, кто ораторствует с удовольствием, хотя и без особого мастерства:

— Да, клеветал. Не помню, что именно говорил, но клеветал, это точно.

— Ложно утверждал, что в ЧССР танками задавили свободу, а какую свободу, не сказал.

— Я пытался Марченко переубедить, но он со мной не соглашался.

Эта фраза в единственной редакции присутствует в показаниях всех «запрограммированных» свидетелей. И еще все они повторяют: «Клеветал, но никогда не навязывал своих взглядов»,— это странное словосочетание, вряд ли понятное тем, кто его здесь произносит, вполне понятно мне. Оно обозначает, что мне велено дать именно сто девяностую — первую, никак не выше. И то слава Богу.

Свидетелей прошло столько, что их показаний хватит на каждый проведенный мной в Ныробе день. Такого-то числа клеветал, такого-то заявлял, такого-то выкрикивал. Словом, болтал без умолку, рта не закрывал. Притом, единодушная характеристика рисует меня как человека мрачного, замкнутого, недоверчивого, неразговорчивого.

На том, собственно, и конец. Барабанную речь прокурора, если б и хотел, я не мог бы повторить. Как и на всех известных мне у нас политических процессах, она состоит из набора бес-содержательных газетных штампов: «Под руководством коммунистической партии», «строительство коммунистического общества», «идейно-политическое единство», «идеологические диверсии Запада», «несколько отщепенцев» и тому подобная дребедень.

Примечательно было лишь обращение прокурора к специфической аудитории: «Хотя каждый из вас отбывает здесь справедливое наказание, все вы здесь люди советские и показали это своим отношением к поведению Марченко. Что же, как говорится, в семье не без урода...»

Я защищал себя без азарта — бесполезное дело. Но все же не упустил, кажется, ничего: ни свидетельства Дмитриенко, ни показаний моих сокамерников, ни провала Рыбалко на опознании. Говорил я и о существе обвинения, о произвольном толковании понятия «заведомо ложные измышления». Судья Хреновский несколько раз останавливал меня, но все же я договорил, закончив тем же, с чего начал: «Дело сфабриковано Антоновым и Камаевым».

Приговор был: два года лагерей строгого режима. Мягче, чем я ожидал. Могли дать максимум, три года, а дали на год меньше, могли признать особо опасным рецидивистом и отправить на спец, к «полосатикам». Да что я говорю! Могли бы, если бы им приказали, дать с тем же успехом 70-ю, срок до семи лет. Хозяева проявили милость и гуманность. Не благодарить ли их за это?

Если бы без суда, без этой комедии, в которой тебе отведена роль и ты поневоле, нехотя вживаешься в нее, включаешься в игру,— если бы так просто, от фени, спускалось тебе на голову предопределение: «Отсиди два года! А тебе три, тебе все семь — по щучьему веленью, по моему хотенью!» Право, это было бы не так обидно и не так унижительно.

В моем приговоре, в части обоснования, сказано, что моя вина подтверждается свидетелями — дальше перечислены все, кто что ни говорил, даже и Рыбалко: его показания тоже «подтверждают». Что касается моих сокамерников, то их показания «не опровергают вины» — так как они могли и не слышать «клеветнических лозунгов», которые выкрикивал Марченко.

Дмитриенко в приговоре вообще не упомянут — как бы его и не было.

Так для чего было устраивать всю эту говорильню?

Черт побери, мне-то зачем нужно все это?!

И все-таки я добиваюсь, чтобы мне показали протоколы суда. По закону полагается всем участникам процесса, и обвиняемо-

му тоже, подписать протоколы — обычно их подписывают, не читая, обвиняемый даже не знает, что он подписывает. Потом подает апелляцию, мол, то-то и то-то суд рассмотрел неправильно, и получает ответ: «Материалы дела не содержат оснований для пересмотра». А он эти материалы подписал не глядя!

Я не собираюсь подавать на пересмотр, но все же требую: — Я хочу ознакомиться с протоколами.

— Зачем вам? — ворчит судья Хреновский. — Вы же все слышали. Или вам что-то неясно?

А соликамский старшина здесь же, в зале суда, набрасывается на меня с матами и чуть ли не с кулаками: ему неохота торчать, дожидаясь меня, в этой дыре еще день-два.

В протоколах я обнаружил то, что и ожидал. Все записано кое-как, небрежно, перевернуто все, что только можно перевернуть; это обычно, девчонки-секретарши сами не понимают, что пишут. Но вот показаний Дмитриенко нет вообще, даже его имя не упоминается — это намеренное искажение исходит, конечно, не от секретарши.

К явному неудовольствию Хреновского, я дополняю протоколы показаниями Дмитриенко, подписываю сам и предлагаю подписать судье мои дополнения.

Нет, мне кажется, психологию человека в моем положении можно понять. Но психология поведения государства в таких случаях для меня всегда загадочна.

Вот, например, в 30—40-е годы миллионы людей гонят в лагерь или прямым ходом в могилы. Гонят без разбора, чуть ли не без учета. Но перед тем колоссальная армия следователей и их подручных по всей стране выколачивает из арестованных: «Подпиши да подпиши показания! Подпиши, что ты шпион!» Зачем? Для открытых процессов нужны были десятки, а это ж из миллионов старались выбить. В конце концов, подписал — не подписал, одна судьба: какая-то тройка, пятерка, три нуля — и всех гуртом на Колыму, на Воркуту, в Норильск или к стенке. Это сколько ж бумаги перевели, сколько следовательских человеко-часов, сколько им зарплаты переплатили за двадцать лет! И кормить их, следователей, надо было все ж таки калорийно, чтоб хватало силы бить по зубам. Да и на арестованных за время такого «следствия» какой-никакой казенный харч шел — безо всякой отдачи. Зачем? Не могу понять.

Нынешние политические суды менее разорительны, поскольку их меньше число. Но тоже пустые траты: за одного меня Камаеву три месяца зарплата шла? Шла. Возили меня из Вала в Соликамск, в Пермь, в Соликамск снова, в Ныроб, обратно, опять в Ныроб на суд, еще раз в Соликамск: то машиной, то поездом, то даже на самолет пришлось разоряться. Конвою плата и корми его. А сколько зэков сорвали с работы, дергая

свидетелями то на следствие, то на суд, то на очные ставки! Небось квартальные планы из-за меня недовыполнили, влетел я лагерю в копеечку. А дали бы срок сразу, без суда-следствия, без всей этой волокиты,— глядишь, какой я ни работник, хоть собственное содержание (включая охрану, амортизацию колючей проволоки и прочее), хоть эти траты оправдал бы.

С первого дня обвинения и до конца, до приговора, все, все участники дела — и я, и Антонов, и прокурор, и судья, и свидетели, и те, кто дал указание,— все знают, что плетут бесполезный узор, не имеющий к жизни, к реальности никакого отношения. И все-таки каждый старается сплести свою часть покрасивее, поискуснее.

По полтора года продержали под следствием Орлова, Гинзбурга, Щаранского — для чего? И к лету 1978 года следователи за полуторагодовую зарплату не накопали больше, чем было у них в феврале 1977-го: фальшивые доносы Петрова — Агатова и Липавского повторены в наших газетных сообщениях о судах даже теми же самыми словами.

Мне приходит в голову, что смысл всех этих действий, всех этих следствий и судов тот же, что в каких-нибудь ритуальных плясках,— символический смысл. Повторение слов «клевета», «измышления», «шпионская деятельность» и тому подобных нужно вроде заклинания «сгинь, сгинь, пропади». Прокурор шаманит, а все прочее — необходимые декорации. Вот только не знаю, бывают ли при обычном шаманстве человеческие жертвоприношения.

Вечером мне в окошко камеры через решетку влетела записка — мелко-мелко исписанный тетрадный листок, туго скатанный в пулю. Там говорилось, что на Рыбалко было заведено уголовное дело за хищения стройматериалов с объекта и Антонов обещал закрыть дело за плату — показания против меня.

Многих других свидетелей Антонов ловил так же: не дашь показаний на Марченко — сам пойдешь под суд, на тебя хватает материалов. Другим говорил: «Марченко сам во всем признался, а ты его покрываешь, будем тебя за это судить. Вся зона это знает».

Нового для меня в записке ничего не было, но приятна была доброжелательность кого-то, мне не известного, после того падения и подлости, которые я видел на суде.

Я долго в тот вечер проторчал у окна. Барак ШИЗО стоял на бугре, и из окна хорошо видно было пространство за запреткой. За деревянным забором с карнизом из колючей проволоки — запретка по ту сторону: мотки проволоки, скрученные большими кольцами, проволока, настеленная низко над землей замысловатыми узорами, с навешенными на ней пустыми консервными банками. Дальше забор из колючей проволоки, за которым

бегают на цепях сторожевые псы. Метрах в двадцати от псов находился старый полуразрушенный сарай, вокруг него и над ним резвились, носились воробьи. Они, конечно, здорово шумели и чирикали при этом, но звуков я не слышал, только догадывался.

Галки не носились, вели себя очень важно и деловито. Они расхаживали по крыше и то и дело вертели головами. А высоко над сараем, в чистом предзакатном небе кружил не спеша большой каплун. На высоте трудно было разобрать цвет его оперения, но я видел, как он часто вертит головой, видно, высматривая добычу под собой. Иногда он камнем падал к земле неподалеку от сарая. Но не всегда долетал до земли, а чаще где-нибудь на полпути неожиданно распускал свои широкие крылья и начинал делать плавные круги. Постепенно он снова набирал высоту. И пока он ее набирал, я успевал хорошо рассмотреть его окраску: он был темно-коричневого цвета, скорее даже бурого, и вдоль темных крыльев ярко вырисовывалась светло-желтая полоска.

Ночью я не спал. Не Бог весть какой срок мне отвалили — всего два года. Этот срок меня не пугал нисколько (или мне только казалось так): ведь в 1967-м я готовился к худшей участи. Во всяком случае, мне казалось, что, если бы я получил не два года, а семь по 70-й, но не по ложным обвинениям, а за книгу, за открытые письма — за то, что я на самом деле совершил, — мне было бы легче, не было бы ощущения подавленности и угнетенности, как сейчас. Помимо унижения из-за всем очевидного вранья, которое невозможно опровергнуть, я чувствовал безысходность своего положения, полную свою зависимость от невидимого хозяина. Захочет — отпустят меня через два года, а нет — снова дадут такую же «говорильную» статью, 190-1 или 70-ю, на тех же основаниях: «Он говорил», «он утверждал», «он клеветал».

В какие-то моменты этой ночью я так и думал, что конца моему сроку не будет, станут мотать мне нервы, добавляя каждый раз то два, то три года в надежде добиться-таки от меня отречения, опровержения моей книги, моей позиции. И это чувство неуверенности не оставляло меня все следующие два года заключения.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
<i>А. Пшенин. Жертвы репрессий</i>	7
<i>Э. Касперович. На грани жизни и смерти</i>	8
<i>Н. Плешкова. История нашей жизни</i>	42
<i>Г. Мельников. Из воспоминаний</i>	58
<i>В. Дементьев. Невольники двадцатого века</i>	77
<i>Н. Терпиловская. Через все испытания</i>	109
<i>Е. Мочилин. Судьба и жизнь</i>	121
<i>Ф. Лисовский. Повесть о детстве</i>	128
<i>Ф. Лореш. Тимшер и другие</i>	141
<i>Н. Радзевский. Пережитое</i>	150
<i>А. Домбровский. Нас выслали на Урал</i>	154
<i>Н. Малышев. Не дай Бог такого никому</i>	155
<i>А. Вебер. На реке Гремячей</i>	156
Письма Федора Алексеевича Евсеева	158
<i>С. Сметанин. Там были разные люди</i>	174
<i>В. Докукин. Они возвращаются из забвения</i>	176
<i>Г. Великанова. Судьба инженера</i>	179
<i>Н. Борисов. Еще раз о первостроителях КЦБК</i>	181
<i>Д. Красик. Дочь врага народа</i>	183
<i>Г. Селиванов. Черные начинают и...</i>	188
<i>Л. Разгон. Бунт на борту...</i>	192
<i>В. Буковский. Из книги «И возвращается ветер...»</i>	208
<i>А. Марченко. Из книги «Живи как все»</i>	230

Подписано в печать 13.10.2000. Формат 84×108^{1/32}.

Бумага ВХИ. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 14,28.

Тираж 3000 экз. Заказ № 3078.

Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».

614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

